

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Литература
Грузия

11

1980

10.335
128



10.335
1980



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ ✓

- ГИВИ ГЕГЕЧКОРИ. Стихи. Перевод Юнны
Мориц 3
- ГЕНО КАЛАНДИА. Стихи. Переводы В. Куп-
риянова и Н. Горохова 73

ПРОЗА ✓

- РЕЗО ЧХЕИДЗЕ, СУЛИКО ЖГЕНТИ. Секретарь
райкома. Киноповесть. Продолжение. 19
- НАТЕЛА КАРАШВИЛИ. Тогда я буду жить... (Ис-
тория одной болезни) 59
- АЛЕКСЕЙ ГОГУА. На повороте. Повесть. Пе-
ревод с абхазского Сергея Шевелева 80
- АЛЕКСАНДР КАЛАНДАДЗЕ. Нейшневская клятва.
Роман. Продолжение. Перевод Аллы Перим 106

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

- ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Тот, кто строит.
Очерк 122

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ ✓

- Сотвори добро! Беседа с писателем Ч. Амирэд-
жиби. Беседу вел Эдуард Елигулашвили 133

11

1980

ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Дней свя- зующая нить	142
НУГЗАР ЦХОВРЕБОВ. «Поэтические интегралы» и вопросы сравнительного литературоведения	157
ВЛАДИМИР ШУБИН. К портрету Нины Чавчава- дзе	166

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. БЛОКА

СТАНИСЛАВ ЛАКОБА. «Голубое имя—Блок...»	170
АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЕВСКИЙ. Живая точность тайн	181
РОМАН ТИМЕНЧИК. Об одном посетителе Алек- сандра Блока	194

РЕЦЕНЗИИ

АЛЛА МАРЧЕНКО. Обретение синтеза	196
ДМИТРИЙ КУМСИШВИЛИ. Книга издана в Мо- скве	200
ВИКТОР ГОФМАН. Собственный голос	204

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ. «Фантастический ка- бачок»	208
---	-----

ИСКУССТВО

НАТИА АМИРЭДЖИБИ. «Пастораль» Отара Иоселиани	213
Памяти Иосифа Нонешвили	219
ХРОНИКА	221
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА	223

Шелковица

И когда выплываю на свет из глубокого сна,
И ракушки видений в рассудке поют полупьяном, —
Сквозь туман я пытаюсь ей голосом крикнуть

стеклянным:

«Не угасни, останься, шелковица, радость моя!..»
Возвратить! Удержать за крыло этот рокот листвы, —
Но зачем?

Разве знает шелковица, синяя птица,
Что в грозу ее молния ищет, чтоб насмерть вонзиться,
Если деревце это в моем не останется сне?
Ей бы лучше остаться в моих сновиденьях навек,
Лучше б ей не пытаться из них возвращаться
в реальность.

Если ей не противна моя вековая банальность,
Лучше б гостьей осталась шуметь в сновиденьях моих!..

Я во сне ее вижу растущей на черном холме
У железной дороги на маленькой станции пыльной.
Солнце там золотится, и дождь серебрится обильный,
И шелковица долго дрожит,
когда поезд бежит.

Эта гордая нищенка разве чего-нибудь просит?
Просто тень перед нею, как шапка, лежит на земле...

Я — наивный дурак, потому что, когда она плачет,
Эти пыльные слезы роняя на станции в грязь, —
Я от жалости к ней, от ее безутешной обиды
Горько плачу, слезами любви обливаясь во сне.
Кто поверит слезам,

кто сегодня поверит слезам,
Кто поверит слезам на исходе двадцатого века?!
Плакать — это же так унижительно для человека!
Это действие непозволительно — даже во сне.
Я и сам поражен!

Но прервать не могу этот сон...

Нестерпимым огнем полыхает река нефтяная.
Это солнце идет на закат, в глубину окуная
Догорающий день,



06.10.50.40

202.01.10.33

с наслаждением ныряющий в тень.
И, быть может, сейчас в этой красной и синей реке
Рыбы тихие-тихие рыбьими плачут слезами?..
Но откуда мне знать,

где наплаканы слезы глазами
И где просто речная вода шелестит, как слеза?

А шелковица гнется к земле, словно ягоду ищет,
Вправо тычется, влево, как будто она — человек,
Потерявший нечаянно горсточку тутовых ягод,
Чтобы вновь подобрать, обтереть от землицы и
съесть.

Как впервые вскарабкался я на шелковицу эту?
И с каких же я пор себя помню стоящим на ней?
И когда же впервые вкусил я плодов ее синих?
Что мне нужно? Что нужно мне все-таки там, наверху?
О, зачем я хоть раз не задумался крепко над этим?..

Ты — бедняга, шелковица! Мимо летят поезда
С раздрающим скрежетом, грохотом, лязгом и ревом.
Справедливости ради — в венце бы стояла терновом
Иль хотя бы в короне заката над кроной твоей!
Но на ком уцелеет корона, а также венец?
Ветры времени то и другое срывают небрежно,
И швыряют, и катят со звоном по гальке прибрежной,
И безжалостно топят, и тычут на самое дно.

Это деревце выросло возле железной ограды,
Но совсем не кладбищенской, а станционной и звонкой
Не могильная — эта шелковица, не гробовая.
И шелковица эта не любит заигрывать с ветром.
И она, между прочим, совсем не его идеал.
Он, крылатый, порывистый ветер, стремится в просторы
За своим идеалом он гонится неукротимо.
А шелковицу он тербит невзначай, для забавы,
Мимолетом ворвется и треплет — без нежности к ней

Что ему от шелковицы?.. Разве мечта — вот такая?..



А шелковица нежности любит и ждет ветерка.
Ветерок — это детство, наивное прошлое ветра.
И шелковица сразу становится легкой и светлой,
Словно речка незримая
 плавно течет меж ветвей...

Но как выглядит жалко она, когда падает свет
Из открытых дверей станционной обшарпанной будки!
Как ныряет в лохмотья
 под взглядом бесстыдным и жутким,
Прикрывая руками свою обнаженную грудь!

Удивленье, печаль и терпенье, души моей крик —
Ты, шелковица, синяя птица моих сновидений!
Ты — мольба,
 ты — тишайшее из безответных творений,
Дождь, смывающий дымную копоть и гарь поездов, —
Чтоб хотя бы закат на мгновенье зажег над тобою
Нимб лучистый,
 венец золотой,
 твой немеркнувший знак!..

В час, когда выплываю на свет из глубокого сна,
И ракушки видений в рассудке поют полупьяном, —
Сквозь туман я пытаюсь ей голосом крикнуть
 стеклянным:

«Не угасни, останься, шелковица, радость моя!..»
Но шелковица тает, как сон, исчезая во мгле —
Со своею печалью, терпеньем и вечной виною,
Чтобы снова и снова во сне шелестеть надо мною,
Чтобы сниться, и сниться, и сниться —
 до смерти моей!

И покуда я жив, это деревце — будет живое,
И когда я умру, это деревце тоже умрет...

Шопен. Концерт ми-минор

Я тобой обладал — до истаянья нежного,
 до потери сознания,
 до чаши забвенья!..
И разбуженный ангел блаженства безбрежного
 плащ лиловых небес
 колыхал на колене...

Я летал, я видал — как столетия плавали,
как несли меня крылья,
несли меня крылья —
над фиалками звезд,
и в душе моей плакали
хлопья легкой печали и звездчатой пыли.

Бескорыстный, бесплотный
апостол безмолвия
и крупица великой астральной империи,
был я с миром в ладу —
я отринул все подлое,
все, что корчится в низости,
в высокомерии!

Жизнь была не убогим чередованием
наших дней и ночей,
наших встреч суетливых,
и совсем не была она полным собранием
нашей памяти скорбной
и лиц несчастливых,

поколений печальных и мук, вопиющих
о земном, золотом
божестве преходящем...

Я, счастливый, летел среди плодов негниющих,
я, счастливый, летел
среди созвездий, поющих
о бессмертье, —
и видел я дух свой летящим!

О, мгновенье священного прикосновенья
к тайне светлой печали среди мрака кромешного, —
до потери сознания,
до чаши забвенья
я тобой обладал —
до истаянья нежного!..

Я отдался тебе, как пришедший на исповедь, —
преклонил пред тобою
главу и колени.

И поэтому всеми своими регистрами —
до потери сознания,
до чаши забвенья!..

Пьеса в сопровождении флейты и валторны



Через лет, примерно, триста
Или меньше вполовину
Вдруг спохватятся артисты —
Как живуч сюжет старинный!

Вот и встретимся тогда мы
На подмостках, на сосновых,
Чтобы слезы старой драмы!
В голосах звенели новых.

Вот и встретимся на вечер —
В новых лицах новой масти,
Но нещадно будут жечь их
Наше солнце, наши страсти.

Двое вылезут из кожи,
Воплощаясь в нас упорно.
Вот их шепоту и дрожи
Вторят флейта и валторна!..

Затаенно дышит ярус.
Шаг, случайное движенье —
И крылатое, как парус,
Невозможно скрыть волнение!

Все сойдутся в этой пьесе —
Наши дьяволы и боги,
Все, кто с нами куролесил,
Враждовал, делил тревоги.

Смех и слезы попеременно —
Проживем свое повторно!
А когда во тьме кромешной
Смолкнет флейта и валторна, —

Вот тогда взмахнут крылами
Птицы огненных безмолвий

И заплещутся над нами
В жаркой мгле, в родильне молний!



Словно мост проходим гулкой —
Дрожь прохватит наши души,
Но подхватит две фигурки
Вальс крылатый, вальс воздушный!

Во плоти чужой, но кровной,
Я воскресну от обиды —
Что истерся в жизни, словно
Чемодан, выдавший виды.

И любовный треугольник
Я сочту теперь за счастье —
Пусть иных веков любовник
Знает силу нашей страсти!

Всем троим придется туго
В этом диком урагане,
Мы оспорим друг у друга
Боль одну, одно желанье!

Я скажу — и содрогнешься:
Не окончится сраженье,
Если ты не улыбнешься
Мне, как белый куст сирени...

На грядущие ошибки
Глянь улыбкою былого, —
И алхимией улыбки
Будешь снова жить и снова!..

Не стыдись провинциальных
Платиц узких и привычек,
Дырок в туфельках хрустальных, —
Будь собою без кавычек!

Вероятно, издалече —
Где потомство ждет коварно! —
Наши тайны, наши речи
Прозвучат высокопарно.

Мы смешными станем быстро —
Быть тому, как я прикину,
Лет, примерно, через триста
Или меньше вполовину.



Баллада тревоги

О, мой клен, оживленный побегом,
Горькой веткой надежды упорной, —
Зеленей меж землею и небом,
Воцарись над весною просторной.
Я бы коз отгонял бесконечно,
Охранял твоих листьев несметность!..
После жизни моей скоротечной —
Что же будет с тобой, моя светлость?

Речка, днем на спине плывущая,
Вниз лицом плывущая ночью!
Вдруг лавина ударит ползущая,
Корни треснут — и берег в клочья?
Я бы вместе с тобою вечно
Пил из облачных вымен сладость!..
После жизни моей скоротечной —
Что же будет с тобой, моя радость?

О, с надеждой глядящая крепость,
Ты не будешь обманута мною!
Громыкает какая свирепость
За твоею зубчатой стеною?..
Я пройду к тебе, к цели конечной,
Только этой тропинкою млечной
(Мимо — прочих тропинок истертость!).
После жизни моей скоротечной —
Что же будет с тобой, моя гордость?!

* * *

Я засыпал удивительно рано,
жил я внизу,
ниже ветра, тумана,
ниже каштана,
домов и дороги, —
видел я только идущие ноги...

Я засыпал удивительно рано,
по вечерам,
когда солнце обманно
тлеет на стенах,
ныряя как в лаз —
в каждую прорезь улыбчивых глаз.

Я засыпал удивительно рано.
И снились мне белые свечи каштана,
И облаки белые, и воробьи,
И платья туман — розовее тумана,
И плечи, которые хрупче стакана,
И эти фонтаны волос на плечах...

И очень я был высоко,
несказанно!
И ветра был выше,
и выше каштана —
был где-то я там,
где совсем высоко,
и облака выше,
и выше всего...

Песня

Жизнь твоя — трепыханье бабочки
Под высоким куполом храма...
Ты боишься исчезновенья,
Растворенья, небытия,
Ты боишься бесследно кануть
И во мраке развоплотиться.
Крышку гроба, в который ляжешь,
Хочешь видеть упертой в вечность,
Прямо в купол незримой жизни.
И душа твоя ввысь стремится,
Как живая колонна храма —
К капители с резьбой воздушной!..

Чтоб отринуть веянье смерти,
Страх бесследного исчезновенья,
Чтобы вырваться всей душою
И спастись от смертного тленья, —

Ты воюешь со всем переходящим,
Ты сражаешься — с помощью пеня! —
Ты поешь, призывая мгновенье,
Когда тело твое затрепещет
В полноте светового блаженства.
И своею же собственной песней
Ободряешь дрожащую душу!..
Как дитя, которое с криком
Входит, бедное, в темную спальню,
Этим криком себя ободряя!..



Картина

О, варвар нежнейший, младенец Ираклий,
топчущий все, что лежит под ногами!
К кому твои крылышки тянутся сами?..
Та, кто глядит на тебя с высоты —
неуязвимая дочь Красоты,
свет ее тайный струится веками!

Земное — в объятьях, в плену неземного,
кистью и маслом, кистью и маслом
душу затеплило в лике прекрасном.
Этот создатель увлекся опасным,
стал неподвластным хароновой тени, —
он отделился от смертных, он — гений!

О, варвар нежнейший, младенец Ираклий,
ты чью это руку хватаешь ручонкой,
испуганно слушая хохот мой звонкий?
Искрится окно и поет, как тростинка, —
не только ли что подошла флорентинка
взглянуть на просторы, на синьку с зеленкой?

Ты что говоришь этой гордой супруге,
жене гражданина Франческо Джоконда,
как видишь, у нас постоянно живущей?
Улыбка ее — колыханье речное,
сиянье прохлады, под солнцем плывущей
меж двух берегов — неземным и земным...

Не на тебя она смотрит, Ираклий, —
а только туда, где играют на лютне,
туда, где играют на лютне так сладко!
Когда улыбнулась она этим людям,
певец заливался над струнами лютен,
и шут извивался, танцуя вприсядку.

Улыбкой двусмысленной дом освещая,
тайной дыша и воров совращая
этой улыбкой, похищенной дважды, —
что она делает с нами такое?..

Ангел соблазна? Ангел покоя?
Плен неземной? Утоление жажды?

О, кто назовет настоящее имя
улыбки, которая тайно крадется
четыреста лет
и плывет за губами?..

Четыреста лет золотится над нами
улыбчивый блик, соблазнительный, вкрадчивый —
и душу четыреста лет выворачивай —

нет имени этому блику, скользящему
четыреста лет
искушеньем улыбчивым!

Четыреста лет — ее платью, струящему
из двух рукавов
два тумана, две млечности,
две белые речки на бархате вечности...

Сбитый ритм

Вот тогда твоя кровь станет жидкой,
Вот тогда твоя жизнь станет пыткой,
Когда рыцарь души — твоя память! —
Отступиться решит и отпрянуть.
И когда улетучится облаком
Сила, дивная светом и обликом,
Сотворенная тобой мифология,
Без которой мы — твари убогие,
Без которой судьба — вроде яблок,
Водянистых, бессолнечных, дряблых.

Вот тогда твоя кровь станет жидкой,
Вот тогда твоя жизнь станет пыткой, —
Когда время от времени ярость
Не ворвется, рыча, как вривалась,
Помешав твоему благолепию,
Как собака, гремящая цепью.
И не сможешь достойно, как ныне,
Петь в ярме своей тяжелой гордыни.
И когда на пути твоём дальнем
Только прошлое станет реальным,
А грядущее — сущим обманом,
Пустотой попеременно с туманом.

Вот тогда твоя кровь станет жидкой,
Вот тогда твоя жизнь станет пыткой, —
Когда не станет человека, у которого
Спросишь время и подумает: «Как здорово,
Что бегущие часы и отстающие
Сверил, глядя на часы его не врущие!»
И когда твои уши, как серую,
Склеит штампа убожество серое.
И когда твои ключи, как ни зтискивай,
Ни к чему не подойдут — не заискивай!
И когда не будешь ты в состоянье
Разбудить ничей огонь и сиянье.
И когда из рукава... словно голубь —
Эта голая рука — словно в прорубь —
Не метнется к твоему изголовью,
Чтобы негой разбудить и любовью.

Вот тогда твоя кровь станет жидкой,
Вот тогда твоя жизнь станет пыткой,
Когда взглядом (как в лед — ледорубом!)
Ты не справишься с черствым и грубым.
И когда на просторы живые
Не сумеешь взглянуть, как впервые, —
Как ребенок, четыре квартала
Пробежавший, чтоб зреть генерала!
И когда прекратишь по крупице
Собирать свое счастье, как птицы.
И когда осознаешь, как вредно
Горевать, что исчезнешь бесследно!..
Когда пятница будет — лишь пятницей,

И в сознание вернется строка,
чтоб лететь в синеве,
Как цепочка летит журавлей
на таинственном платье японки...

Умоляю тебя!
Умоляю тебя!
Не теряй
Дара божьего,
Дара святого — еще удивляться!..
Где исчез позолоченный город,
В глазах отраженный?
Если в горле застряли слова, —
выдувай их, как листья,
Как застрявшие листья из труб выдувают дожди.
Собери золотую охапку —
и брось на алтарь
лучезарного утра!

И поезду ринься вдогонку,
и на крыльях лети,
и настигни его на лету!..

Кошкой выгнется мост,
позолоченный утренним солнцем.
Рыбы радости звонко забьются,
заплещут в реке,
в золотистой реке глубочайшего
самозабвенья.

Бедный мозг, твой сегодняшний мозг —
это стертые звенья.

Вспомни!
Вспомни!
Когда на рассвете ушел второпях; —
не оставил ли дома ты крылья свои,
не забыл ли ты крылья?..

Пчела

Вниз — пятак со звоном катится,
Вниз — ползет глухая лестница
Заводного эскалатора..
Вниз — бежит за ними жизнь.

Юность — козырь козырей! —
Бита зрелостью твоей.



На втором или четвертом
Этаже родильни местной
Сорок лет тому назад
Головою вниз — на простынь
Ты упал, на свет родился —
Головою вниз, в слезах.

С той поры твое призвание —
Бесконечное борение
За свое существование,
За высокую судьбу.
Ты все ищешь оправдание,
И оно — твое желание:
Хоть на йоту, на мгновение
Свет продлить и озарение,
И урезать меру черствости,
Равнодушия и мертвости.

Ты в подсказках не нуждаешься —
Сам прекрасно догадаешься
О причине беспричинного
Смеха горького, картинного,
Слез горючих, слез отчаянных,
Беспричинных слез нечаянных...

И с придавленными крыльями,
И с расправленными крыльями,
И у черных дней в неволе,
И у светлых в ореоле —
Ты, счастливый, слезы льешь
Нескончаемой печали.

Каждый день уходишь в вечность,
Чтобы вновь и вновь оттуда
Ежедневно возвращаться
Вестником своей мечты, —
Ею созданный и явленный,
Ты — гонец ее, направленный,
Чтоб незримые и зримые
Грани мира отразить!..

Когда ночь руками черными
Душит жаркие постели, —
С чем сравнятся муки совести?
В зале сельского суда
Лжесвидетель так вот мается,
Чтобы в подлости раскаяться!
Кровь гудит, как провода.

Ночь предаст тебя всегда!..
Ночь предаст тебя всегда!..

Ты отводишь взгляд беспомощный
От своей строки беспомощной
И глаза ей, как покойнице,
Закрываешь, спать ложаешься...
Когда ужас поражения —
Крепче самоутверждения,
Ты зываешь к детству нежному,
Чтобы вплыть в него, как в сон.

117.276

Издали воспоминание —
Речки высохшей дыхание,
Русло, полное шуршащею,
Вдаль текущею листвою...
В темноте на спинке стула
Белая висит рубашка.
И со всех сторон так тяжело
Давит спальни узкий мрак!

О, бессонница, — твой жадный,
Беспощадный, кровный враг!

И куда лететь? На грани
Поздней ночи, ранней рани —
Чьи глаза сверкнут зарею,
Чтоб и ты проснуться мог?
И какое расстоянье —
Между смертью и рождением?
И с какой же — на какую
Ты ступеньку стал во тьме?..

И куда ты? И откуда?
Где ты был? И где ты будешь?

Кто ответит? Кто посветит
В этой жуткой темноте?



Фокус в том, что жизнь — задачник,
Где в конце — ответа нету,
Чтобы сверить, кто — отличник,
А кто — двоечник отпетый?..

Но теперь яснее ясного,
Что печали сын и радости,
Безо всякого сомнения,
Ты иначе жить не мог —
Только так, таким вот образом,
Ты, печали сын и радости,
Мог дожить в печали, в радости —
До сегодняшнего дня.

Потому что все нетленное
Родила пчела-вселенная, —
Твою душу в том числе!
И влила в свои творения
Темный, терпкий мед терпения, —
Чтоб душа твоя летучая
Не садилась в грязь вонючую
Суесловья и тщеты.

О, воистину бессмысленно
Убеждать тебя, что численно —
В мире больше ос прожорливых,
Чем святых кормилиц-пчел!

Перевод Юнны МОРИЦ

Резо ЧХЕИДЗЕ,
Сулико ЖГЕНТИ

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА

Киноповесть

— Прибывает! — закричал Шакро и обернулся к Георгию. — Едут!..

В конце платформы появился состав. Он приближался тихо и не спеша. Медленно проплыл мимо электровоз.

— Девятый! — воскликнул Георгий и побежал за вагоном.

В дверях вагона стояла седая пожилая женщина. Это была Тамар. За ней, улыбаясь, стояли Саломэ и Тамаз.

Наконец поезд остановился, и Георгий стремительно подбежал к матери, обнял ее, потом обернулся и, подождав Шакро, возбужденно заговорил:

— Познакомься, это моя мама... Это Саломэ, моя дочь... Тамаз, мой сын... А это Лела, невестка.

— Самые лучшие люди на свете — Торели! — слышался веселый голос, и на ступеньках вагона появился усатый мужчина с маленьким бочонком в руке.

— Карло?! — радостно удивился Георгий.

— А как же! — Карло обнял Георгия. — Только узнал, что тебе нужны люди, тотчас схватил вот этот бочонок, и вот я тут как тут! Иорам тоже с нами...

Продолжение. Начало в № 10.

Из вагона вышел еще один Торели — Иорам, поставил чемодан на землю и обнял брата.

Георгий отступил на шаг и, счастливый, обняв прибывших.

— Небось, приехали в гости!..

— Ни в коем случае! — заявил Карло, потом с пафосом добавил: — Орлы возвращаются в свои гнезда!

— Так пошли! — сказал Георгий.

Все подхватили багаж и направились к машине.

Тамар взяла сына под руку, поцеловала в щеку.

— Похудел ты, сынок, — огорченно заметила она. — Все в гостинице живешь?

— Нет, получил квартиру, — ответил Георгий. — Три комнаты с лоджией.

— А я предпочитаю гостиницу, — заявила Саломэ. Потом обернулась к отцу: — Папочка, а правда, ты — гроза всего района?

— А как же! — засмеялся Георгий и кивком головы показал на дрожавшие под ветром тополя. — Видишь, как все дрожит?

— Ты молодец! — в тон ему ответила Саломэ. — Даже ветер организовать можешь!

— Как у тебя с учебой? — спросил Георгий.

— В следующий четверг у нас дипломный спектакль.

— А дальше?

— А дальше кончится детство. — Саломэ грустно улыбнулась. Потом вернулась к прежнему разговору: — Многих снимал?

— С чего ты взяла? — нахмурился Георгий.

Прохожие с любопытством смотрели на них. Особенно привлекала их внимание Саломэ. Они подошли к «Волге» и стали складывать багаж.

— Все не уместится, — сказала Тамар.

— Мы возьмем такси. — Карло позвал ближайшую машину.

Георгий, сидя в кресле, усталый и счастливый, молча наблюдал за тем, как женщины разбирали багаж. Каждая вещь, каждый предмет, извлеченный из чемодана, наполняли квартиру удивительным покоем и миром. Поставив бочонок на стул, Карло через резиновый шланг переливал вино в бутылки.

16 1935040
512 0110333

— Ты только погляди, что за вино! Это же всем винам вино! — восторгался Карло. — Какой запах!.. Для чего больному врач и лекарства?.. Напой его этим благословенным вином и можешь рвать бюллетень на клочки... Георгий, попробуешь?

— Непременно, во время ужина, — сказал Георгий и повернулся к Тамазу. — Ты молодец, что приехал...

— А как же! — удивился Карло. — Здесь ведь его родина.

— Красивый край, — сказала Лела.

— Красивый... — задумчиво повторил Георгий и добавил: — Только вот жаль, что в этом красивом краю больше покинутых сел, чем заселенных.

— Лично я отсюда уезжать не намерен, — твердо заявил Карло. — В каком еще районе у меня двоюродный брат — секретарь райкома?! Только узнал, что Георгий зовет всех Торели, не мешкал ни секунды. Ты мудрец, брат мой, мудрец! Так и должно поступать — собирать вокруг себя своих...

— Ты твердо решил остаться здесь? — спросил Георгий.

— Твердо! — заявил Карло. — Разве тебе не нужны специалисты по вину?

— Мне больше нужны виноградари, — сказал Георгий.

— Разумеется, но виноградари нужны, чтоб выращивать виноград, а виноград — для того, чтоб получать вино. Я, брат, придам этому делу такой масштаб... У тебя будут покупать вино в Донецке, Нижнем Тагиле... Есть у меня дружок, Вася Соколов!..

Карло подхватил пустой бочонок и вышел из комнаты.

— Веселый человек наш дядя, — улыбнулся Тамаз.

— Когда во время ужина я предложу ему вернуться в Тбилиси, он станет грустным, — мрачно проговорил Георгий.

— Отец... — нерешительно начал Тамаз. — Мы приехали всего на два-три дня...

— Что, не понравилось? — глухим голосом спросил Георгий.

— Не в этом дело. Я вырос в городе. Здесь я не выдержу...

— В этом моя вина... — недовольно заметил отец.

— Пусть другие сюда приезжают и живут. Почему непременно я?..

— А почему непременно другие? — прервал его Георгий.

— Борьба поколений продолжается! — послышался веселый глос Саломэ. Она стояла в дверях в белом платье.

— Ты уходишь? — спросил ее Георгий.

— Пройдусь немного.—Саломэ достала из-под кровати белые туфли, надела их. — Хочу посмотреть, какая она, земля моих предков.

— Может быть, посмотришь наш театр? — посоветовал Георгий.

— Хороший у вас театр? — заинтересовалась Саломэ.

Георгий не сразу нашелся, что ответить.

— Как сказать... — начал он нерешительно. — Здание отличное, но... — Потом решительно добавил: — Пойдем вместе, посмотрим.

Остановившись у театра, Саломэ молча смотрела на красивое, современное здание. Георгий исподволь наблюдал за дочерью. Потом распахнул двери и сказал ей:

— А теперь посмотрим, какой он внутри.

В фойе развешивали на стенах фотографии артистов. Делом этим заправляла миловидная молодая женщина, главный режиссер театра Нино Деметрадзе...

— Милости прошу, батона Георгий.

— Здравствуйте! — Георгий пожал Нино руку и представил Саломэ. — Знакомьтесь, моя дочь... Через неделю получит диплом актрисы...

— Учитесь на актерском? — поинтересовалась Нино.

— Да.

— Заканчивает, — пояснил Георгий, — в следующий четверг у них дипломный спектакль.

Нино посмотрела сначала на Георгия, потом перевела взгляд на Саломэ и, словно читая мысли Георгия, спросила:

— Куда получаете назначение?

— Не знаю! — Саломэ пожала плечами. — В какой-нибудь район, наверное...

Нино открыла дверь, ведущую в партер.

— Входите, посмотрите зал и сцену.

Они долго стояли на сцене, уставленной декорациями. Здесь кроме них были еще два старых актера — мужчина и женщина.

— Прежде это было невзрачное здание, — рассказывала Нино. — Но зато ставили такие спектакли, что сюда тянулись из окрестных сел.

— Да, хорошая у нас была труппа, — вступила в разговор старая актриса. — В середине партера, помню, стояла печь, вокруг нее мы репетировали.

— Потом мужчины ушли на войну, — добавил старый актер. — Ушло нас двадцать три человека, вернулось шесть...

— Роли мужчин тогда исполняли женщины, — печально улыбнулась седая актриса. — И в жизни было так же, все мужские заботы легли на наши плечи.

— А теперь как? — спросил Георгий.

— И теперь нам не очень-то сладко живется, — с грустью заметила актриса. — Какой же театр без молодежи, а молодые, закончив институт, остаются в городе.

— Теперь у нас замечательный театр, — сказал старый актер. — С отоплением, движущейся сценой, рампой... И все-таки это не театр. Театр делают прежде всего артисты!..

— Скоро у нас, я уверена, будет новая актриса. — Нино обняла Саломэ за плечи.

Саломэ бросила взгляд на отца и, прочитав в глазах его невысказанную мольбу, растерянно пробормотала:

— Да, конечно, если меня сюда направят.

— Об этом уже позаботимся мы, — обнадежила ее Нино.

— А может быть, приедете к нам всем курсом? — сказал Георгий. — Будет у вас свой собственный театр. И с квартирами все устроим.

— Не знаю... — Саломэ задумалась. — На нашем курсе двадцать шесть человек. Мы были бы рады быть вместе...

Георгий повернулся к Нино:

— Хорошо бы вам встретиться с ними, поговорить.

Кстати, посмотрите их дипломную работу.

— Отлично, — ответила Нино. — Завтра же поеду в Тбилиси.

06.1935.02.01
202.2010033

В поле рядом с «Шевроле» стояли синие «Жигули». В «Шевроле» сидел работник местной нефтебазы Дмитрий Хмиададзе. Рядом с машиной стоял Торнике Сепертеладзе с двумя сеттерами на привязи.

— Ты присмотри за делом, — сказал Сетуридзе бригадиру, не спуская глаз с машин. — Конец квартала, надо позаботиться о плане.

— План выполним, — обещал бригадир.

— План нужно не только выполнить, но и пере-
выполнить. Это закон нашего треста. — Подойдя к Беглару, он спросил тихо: — Гурам согласился?

— Он в машине, — ответил Мжавия. — Отказывался, да я пристал в одну душу.

Сетуридзе ускорил шаг и подошел к машине, сеттер с черными пятнами встретил его, повизгивая, как старого знакомого.

Из «Жигулей» вышел Гурам Глонти, Лаврентий Тарибегашвили остался сидеть в машине.

— Мераб, может, в этот раз поохотимся на уток? — нерешительно предложил Гурам.

— Поначалу посмотрим на эту грешную землю сверху, а потом можем и на уток поохотиться, — весело ответил Мераб и похлопал Гурама по плечу. — Ты ведь знаешь, я привык к царской охоте!

— Теперь не время для такой охоты, — помрачнел Гурам. — Узнают, не одобрят...

— Кто не одобрит? — с вызовом спросил Сетуридзе. — Георгий Торели?.. Знаешь, что скажу тебе? Я никогда не жил в страхе перед кем бы то ни было, и не буду жить.. — Сетуридзе заметил Лаврентия и обратился к нему: — А ты чего нос повесил?

— Он у нас сейчас генерал без армии, — засмеялся Сепертеладзе. — Вчера бюро вынесло постановление на десять лет закрыть лес.

— Как закрыть? — удивился Сетуридзе.

— Добился Георгий Торели своего, — вздохнул Лаврентий и зло покачал головой. — Запретили вырубать лес целых десять лет!..

— Если в лесу не рубить деревья, для чего такой лес?! — удивился Хмиададзе.



— Для многого... — проговорил Гурам Глonti. Если поредет лес, ветер здесь все загубит. И родники исчезнут.

— Чего вы злитесь на Георгия Торели, не пойму? Вот и Гурам за то, чтоб не вырубать лес. — Сетуридзе пальцем указал на Глonti. Потом серьезно спросил: — А не запретил ли Георгий Торели думать, а? — И развел руками. — Ну, слава богу, что не запретил! — Открыв дверцу машины, он резко крикнул: — По коням!..

После дождя необозримые просторы Вайо оживают сотнями различнейших звуков и голосов. С небесной лазури доносится крик иволги, из зарослей кустарника, шелкая, выпархивает дрозд, в зелени одиноко стоящего посреди поля дерева заливаается красногрудка. И, наконец, все это неоглядное пространство заполняется стрекотом цикад...

Приближавшийся откуда-то непонятный гул нарушил музыку Вайо. Гул стремительно нарастал. Щипавшая траву лань подняла голову. По полю, как чудовище, мчалась тень вертолета. Далекий гул перерос в оглушительный грохот. Лань прыжком сорвалась с места, и в тот же миг на землю обрушился град пуль. Один за другим раздалось несколько выстрелов, точно кровь, брызнул фонтан земли. В отчаянии закачались травы и цветы, задрожал кустарник под винтом вертолета.

В вертолете сидели охотники, прибывшие из карьера, и безостановочно палили в открытую дверцу. Только Мжавия сидел в сторонке, совершенно безразличный ко всему, и, казалось, дремал. Охваченные охотничьим азартом мужчины все палили и палили.

Внизу, среди тощего кустарника, подгоняемая инстинктом самосохранения, бежала лань. Сетуридзе стрелял из двустволки. Время от времени, когда лань скрывалась в кустарнике, он продолжал начатую с Гурамом Глonti беседу:

— Ладит с Торели эта сумасшедшая баба?

Гураму был неприятен вопрос, и он смолчал.

— С Александром она была на ножах, а с этим, видать, спелись... — сказал Хмиададзе.

— Как идут дела на полях Вайо? — решил сменить тему разговора Сетуридзе.

— Хорошо, — сдержанно ответил Гурам. — ^{06.19359210}Этим вопросом уже заинтересовались ЦК и Совет Министров.

— Удивительно, чего ради Торели затеял столь хлопотливое дело?! — пожал плечами Лаврентий. — Разве мало других забот в нашем районе у секретаря райкома?

— Чего ради? А для того, чтобы выслужиться, — процедил сквозь зубы Сепертеладзе.

— Это авантюра, не более, — разозлился Лаврентий. — На кого он надеется, с чьей помощью думает разбить виноградники. Скажем, и почва хороша, и лозу посадили. За ней-то уход нужен! Лоза не ячмень, чтоб сеять и собирать, сеять и собирать!

— Запомните мои слова: если Торели удастся развести виноградники в Вайо, тогда держись, он такие корни пустит, что его клещами отсюда не вырвешь, — сказал Сепертеладзе.

— Пусть что угодно делает, но нас оставит в покое! Взялся за испытанные кадры... За что меня снял, за что влепил тебе строгий выговор? За что?..

— Что поделаешь, в жизни всякое случается, — горько улыбаясь, развел руками Сетуридзе. Потом с затаенной злостью добавил: — Придет время, и с него спросят...

— Хм, знает, что Гиви Ванидзе твой шурин, и все-таки не испугался! — с удовлетворением воскликнул Лаврентий.

— Мераб, ты должен взяться за дело, — повернулся к Мерабу Сепертеладзе. — Поезжай в Тбилиси, скажи своему шурину, так, мол, и так, гибнет район, помогите...

— И поеду! — твердо пообещал Сетуридзе. — Сказать по совести, с кем, против кого борется сейчас Георгий Торели?.. С контрреволюционерами? Агентами империализма? С врагами народа? Нет! Он борется с нами, членами партии, руководящими товарищами, должностными лицами!

— А вдруг он сейчас видит нас?
Воцарилась гробовая тишина.

11935040
802-0110333

— Эх, теряем мы все, все блага теряем, будь он неладен!.. — Сетуридзе умолк, потом добавил с язвительной улыбкой: — А когда очень скоро выяснится, что район не выполняет плана, когда ухудшится в магазинах снабжение, когда ЦК и Совет Министров забросают жалобами, когда увидят, что история с полями Вайо — авантюра, что здесь незаконно тратят деньги на строительство дорог, что лес закрыт и огромный комбинат бездействует, вот тогда Гиви Ванидзе скажет там свое слово.

— Смотрите! Появилась! — крикнул Хмиададзе и выстрелил. Остальные последовали его примеру.

— Не уйдет! — гордо произнес Лаврентий. — До леса далеко!..

Сетуридзе повернулся к Гураму:

— Слышал я, в районе открывается материальная база для работ на Вайо. Скажи Торели, что он не найдет лучшего человека, чем Дмитрий Хмиададзе. Ты ведь и сам знаешь, что он подойдет для этой должности.

Гурам неопределенно пожал плечами.

— Слушай, я не узнаю тебя сегодня! — удивленно раскрыл глаза Сетуридзе. — Ты разве не тот самый Гурам Глonti, которого назначили председателем райисполкома по рекомендации Гиви Ванидзе?

Гурам молчал.

— Ну что же ты? — выдавил из себя улыбку Сетуридзе. — Не замолвишь слово за нашего Дмитрия?

— Скажу, — с такой же вымученной улыбкой ответил Гурам.

Сетуридзе облегченно вздохнул, похлопал Гурама по плечу:

— Скажи, что он человек знающий, пользующийся в народе авторитетом, мол...

— Скажу, все скажу, — пообещал Гурам.

— Если она будет продолжать так бежать, то и через границу перемахнет, — сказал кто-то.

Снова один за другим раздались выстрелы.

— Заговоренная она, что ли? — пробурчал Лаврентий.

— Никуда не годится работа ДОСААФа в районе, — засмеялся Сетуридзе и обернулся к Мжавия. — Беглар, давай, не то она скроется в лесу.

Беглар Мжавия оживился, подошел к открытой двери.

— Хватит вам баловаться, — проворчал он, потеснил охотников и деловито направил ружье на лань.

— Если бы он любил охоту, в Грузии не осталось бы никакой дичи, — заметил Хмиададзе.

— Беглар свое дело знает. — Сетуридзе похлопал Мжавия по плечу.

Беглар выстрелил и тотчас отошел от двери. Охотники бросились к окнам.

Внизу, у самой опушки, лежала убитая лань.

В кабинете заместителя председателя Совета Министров вместе с Георгием Торели собрались председатели райкомов соседних районов.

— ...Совет Министров принял во внимание соображения товарища Торели, мы уже вынесли соответствующее постановление по этому вопросу, — говорил заместитель председателя. — С проведением этого постановления в жизнь мы получим не только демографическое равновесие.... оно будет значительно способствовать закладке сплошных виноградников на полях Вайо. — Улыбаясь, он обвел всех взглядом. — Товарищ Торели готовится к бою. Кто сколько семей может послать в бывшие деревни?

Все молчали.

— Соседи, скажите же свое слово! — подбодрил собравшихся Георгий. — У вас людям тесно, а у нас больше свободных, пустующих земель.

— Это верно, но... — сомневаясь, начал молодой смуглый мужчина. — Мы не можем заставить людей переехать на новые места. Вообще-то желающие есть — у кого выросли дети, кто хочет отделиться...

— В нашем районе тоже есть желающие. Но они должны быть уверены, что там есть дороги, дома, — добавил мужчина в очках.

— Будет все это, — пообещал Георгий, — и дома, и дороги.

— Какой им выделите участок? — спросил высокий широкоплечий молодой человек.

— Сколько они имеют у вас? — спросил Георгий.

— У кого как... В некоторых деревнях — пятна-

дцать, в других — двадцать соток.

— У нас они получают участок в тридцать соток, — пообещал Георгий.

Слова эти произвели на всех огромное впечатление.

— В нашем районе желающих — пятьдесят две семьи, — объявил мужчина в очках. — Разумеется, если им понравятся места, которые вы им предлагаете.

— И у нас много, — добавил широкоплечий молодой мужчина. — Не меньше восьмидесяти семей.

— В нашем районе сто семей высказали желание переехать, — сказал сидевший в конце стола седой мужчина. — Но сперва они хотят посмотреть места, где им предстоит жить.

— Пусть приезжают, мы им все покажем.

— Разумеется, не посмотрев эти места, никто не переедет! — засмеялся мужчина в очках. — Пусть посмотрят все, взвесят, — потом обернулся к Георгию. — Теперь от вас зависит, как им понравятся ваши края.

Георгий задумчиво улыбался.

Заместитель председателя встал.

— Я думаю, все ясно, — сказал он. — Желающие есть, и это вселяет надежду, что в скором будущем оживут покинутые села.

Дорогу в горах не спеша преодолевали «ГАЗ-469» и «Нива». В первой машине сидел Георгий, во второй — Гурам Глonti. Вместе с ними ехали люди, прибывшие из соседних районов. С любопытством и вниманием смотрели они вокруг, пытаясь ничего не упустить из поля зрения.

Георгий, чуть повернувшись к спутникам, незаметно поглядывал на них, стараясь угадать, нравится им здесь или нет. Иногда один из спутников наклонялся вперед и что-то говорил сидевшему впереди старику в башлыке. Тот отвечал коротко или только кивал головой... Георгий напрягал слух, но в гуле машины ничего не мог разобрать.

— Дорогу вы хорошую провели, — наконец громко сказал старик.

Георгия обрадовали его слова.

— Дорогу мы проводим ко всем бывшим селам. Если вы надумаете здесь поселиться, то будет курсировать и рейсовый автобус, — поспешил сообщить Георгий.

Старик не ответил. Только кивнул головой. Потом снова громко сказал:

— Пастбищ много.

— Много! — снова оживился Георгий. — А за теми склонами — сенокосы.

— Поливаются? — спросил сидевший рядом лысый мужчина.

— Конечно, — ответил Георгий и с улыбкой добавил: — Да, пастбищ и сенокосов у нас много, вот с пастухами и косарями — беда.

Спутники молчали. Они вообще были очень сдержанны, боялись сказать лишнее слово.

Шофер остановил машину.

— Приехали! — объявил Георгий и вышел. За ним вышли остальные. Рядом остановилась и «Нива».

Старик снял башлык и подставил лицо ветру. Некоторое время стоял, закрыв глаза. Потом не спеша огляделся.

— Фруктовых деревьев достаточно, — говорил прибывшим Гурам Глonti. — Посмотрите на орех!.. В деревне два родника.

— И на поливку участков воды хватит, и на домашние нужды, — добавил Георгий.

Старик и его спутники все еще молча смотрели вокруг. Георгий, облокотившись на мшистую ограду, наблюдал за ними. Старик наклонился, взял немного земли, растер ее на ладони, потом повернулся к своим спутникам.

— Чего стоите? Пойдите, походите, оглядитесь!

Все разбрелись. Только Георгий продолжал стоять у ограды... Вокруг было тихо, слышался лишь стрекот кузнечиков... Подбежал Гурам, радостно сообщил:

— Вода им понравилась! Очень хвалили!

Георгию стало чуть легче на душе.

— Пусть попробуют фрукты, — посоветовал он, — и орехи...

Гурам побежал обратно. Георгий продолжал стоять у ограды, прикрыв глаза и подставив лицо солнцу. Услыхав шаги, он обернулся. На дороге стоял ослик с пе-

реметной сумой на спине. Из сумы выглядывали ягнята. Хозяин ослика удивленно озирался вокруг.

— Ого! — воскликнул он. — Гляди-ка, сколько тут народу! И в самом деле, словно живое село...

Георгия он не заметил, стеганул ослика и продолжил путь.

Снова прибежал Гурам, принёс новую весть:

— И фрукты им понравились. И орехи. Старик говорит, что постарел, а таких вкусных фруктов не ел.

Георгий благодарно улыбнулся Гураму. К тому времени возвратились старик и его спутники. Никто не проронил ни слова. Молча расселись по машинам. Водители включили моторы, и машины тронулись. Все молчали. Наконец Георгий прервал тягостное молчание:

— Ну что скажете, люди добрые?

Крестьяне переглянулись. Старик неопределенно развел руками.

— Здесь нет леса, — наконец выдавил он из себя. — Наш народ к лесу привычный.

— Были здесь леса, — с грустью заметил Георгий. — Враги вырубili и выжгли.

— С тех пор прошло шесть веков. Если бы позаботились вовремя, и сегодня здесь шумели бы леса, — сказал лысый.

— Ну вот, видимо, лесом придется заняться вам, — вздохнул Георгий.

Никто не ответил.

— Телевизор здесь работает? — поинтересовался мужчина в шляпе. — Кругом горы...

— Будет работать, — успокоил его Георгий. — Вон на той горе ставим ретранслятор.

— Когда это будет... — улыбнулся мужчина в шляпе.

— За день деревня не строится, — ворчливо заметил старик. — Хм.. И телевизор ему в эту же минуту понадобился!..

Долгое время никто не проронил ни слова.

— Не так-то легко сорваться с насиженного места, — сказал лысый.

— Здесь тоже ваша родина, — нахмурившись, проговорил Георгий, — грустно смотреть, как гибнут эти края...

Лысый хотел что-то сказать, но, встретившись со взглядом старика, умолк.

Наступили сумерки, когда они приехали в город. Перед зданием райкома Георгий и Гурам вышли из машин и попрощались с каждым за руку.

— Шестьдесят семей хотят переехать, — сказал вдруг старик. — Много нас стало, не шутка, в районе пятьдесят две матери-героини.

— Шестьдесят семей — это ведь целая деревня! — мечтательно произнес Георгий.

— Посмотрим! — задумчиво произнес старик. — Сейчас мы ничего не можем сказать. Мы должны обо всем увиденном рассказать дома. — Старик пожал плечами. — Посмотрим...

Остальные молчали. Понять что-либо по их задумчивым лицам было невозможно. Вновь зашумели моторы.

Георгий проводил машины задумчивым взором...

Автобус, урча, преодолевал подъем. Серпантином закрученная дорога тянулась все выше и выше. В автобусе сидели Тамар и Саломэ, за ними — двое: один — в пестром галстуке, маленький и щедушный, другой — огромный детина в папаче.

Автобус ехал мимо укрепленных заграждениями террас.

На первой ограде краской было выведено «ТГУ». На террасах орудовали лопатами и кирками студенты.

— Кто такие? — удивился верзила.

— Студенты из Тбилиси, — пояснила сидящая у окна молодуха. — Работают на восстановлении террас.

— Хм, чего не придумают от безделья! — засмеялся щедушный. — Это тоже, видать, начинание нашего нового секретаря.

— Конечно! Не я же придумал, — засмеялся второй.

— Оригинальничает, — процедил сквозь зубы щедушный. — Мол, о чем не подумали предыдущие секретари, думаю я.

— Говорят, будут заселять пустующие деревни, — сказала молодуха.



— Ну да, — повернулся к ней верзила. — Кто оставит отчий дом и переселится в эти пустые, разоренные края?!

— Лучше Георгию Торели оставить свою затею и присмотреть за своими деревнями, — с угрозой в голосе проговорил тщедушный. — Нечего парить ему в облаках, пускай спускается на землю.

— Снимут его... — убежденно произнес верзила.

— Да, этот вопрос уже решен, — подтвердил тщедушный.

Тамар сидела, как в воду опущенная. Каждое слово разило ее, как пуля. Саломэ, волнуясь за бабушку, решила было обернуться и прервать эту болтовню, но Тамар, поняв ее намерение, крепко ухватила за локоть.

— А как же! Неужто дадут ему на откуп наш район? — говорил верзила. — Теперь надумал развести виноградник на полях Вайо. Как? Каким образом?

— Эти поля Вайо и погубят его, — со злорадством усмехнулся тщедушный.

На Джавахетском плато автобус остановился, и Тамар и Саломэ вышли.

— Чепуху несли, — со злостью сказала Саломэ и проводила автобус недружелюбным взглядом.

— Что поделаешь, — вздохнула Тамар. — Врагов нет у того, кто лежит в земле.

— Они все враги... — начала было Саломэ, но Тамар снова остановила ее, дав понять, что ей неприятен этот разговор. Некоторое время они молча стояли на дороге.

— Красивая деревня, верно? — сказала вдруг Тамар.

Саломэ ничего особенного не видела.

— Красивая, — все-таки проговорила она.

— Это твоя родина, — сказала Тамар. — Отец твой родился здесь. И дедушка. И дед его деда.

В деревне сохранилось с десятков старых домов, обнесенных каменной оградой. На крыше базилики выросло дерево. Вдали виднелась полоса лесозащитного кустарника, а еще дальше — поля. Шумел ветер, неся издалека гул трактора.

— Холодно, — сказала Саломэ, завязала на Тамар шаль потуже и застегнула пуговицы на пальто.

— Здесь всегда дует западный ветер, — ^{вспомни-}ла Тамар. — И тогда дул, когда мы уезжали... Видишь дуб? Вон там? В летние вечера под ним ^{собиралась} вся деревня. Ему триста лет, говорили тогда.

Саломэ огляделась, дуба не увидела, лишь гуси щипали траву.

— Здравствуйте! — слышалось за их спиной.

Оглянувшись, они увидели женщину лет пятидесяти. Она вела за собой корову.

— Вы к кому? — спросила она.

Саломэ улыбнулась, пожала плечами:

— Мы так...

— Если ждете автобуса, в течение часа будет, — женщина прикрикнула на корову: — Ну, чего стала пошла!..

— Извините, а кто вы будете? — поинтересовалась Тамар.

— Гутниашвили я, — ответила женщина.

— Гутниашвили?... Разве здесь жили Гутниашвили? — удивилась Тамар.

— Да нет... Фамилия моего мужа — Мосидзе. Давид Мосидзе. В сороковом вышла за него замуж, а в сорок втором он ушел на фронт, одно письмо только и получила из Ржевска... Выростила сына, а теперь воспитываю пятерых внучат... Вот живу и все время жду, может, даст бог, вернется муж домой. К очагу родному. Правда, время прошло немалое, но ведь никто не сказал, что убили его. Почему же не считать его живым?

— Надо думать, что живой, а как же!.. — поддержала женщину Тамар.

— А внуки не могут выгонять корову? — спросил Саломэ.

— Эх! — горько усмехнулась женщина. — Разве они подойдут к корове близко? Не любят они это дело не интересуется их это. Сейчас даже курсы доярок открыли, а разве крестьянин должен нуждаться в этом? Или же неужто крестьянин должен покупать сыр и молоко в магазине? Наоборот, сам должен продавать...

— Когда-то это была большая деревня... — проговорила Тамар.

— Была, — согласилась женщина. — Теперь всего семь домов осталось... Все ищут легкой жизни и переселяются в долины и города.

— А вы не думаете уезжать? — спросила Саломэ.

— Ну что ты? — удивилась женщина. — Муж уехал отсюда, здесь мне и ждать его. Да сейчас и уходить-то нет смысла. В доме холодильник и телевизор. И автобус ходит. Наш новый секретарь райкома из здешних мест, оказывается. Обещает и воду провести... Что мне делать в долине, разве сравнится тамошний воздух со здешним?

Корова рванула, и женщина поспешила следом.

— Всего вам доброго! — крикнула она, обернувшись.

...Тамар и Саломэ прошли по деревне, Тамар остановилась перед одной из оград, рукой погладила камни.

— Наш?.. — у Саломэ от волнения прервался голос.

Тамар молча кивнула.

— Наш... — наконец произнесла она. — Входи.

Саломэ открыла дверь и обернулась к бабушке:

— А ты?

Тамар заколебалась, потом упрямо покачала головой.

— Я подожду тебя здесь.

Саломэ вступила в темень дома. Пошла вдоль стен. А Тамар шла вдоль ограды, лаская рукой мшистые камни, потом повернула обратно, остановилась... Скрипнула дверь. Из дома вышла Саломэ. В руке она держала медную миску.

— Вот, нашла.. На ней что-то написано...

Тамар взяла у нее миску, провела пальцем по надписи и, словно пальцем чувствуя надпись, произнесла:

— «Добро добром воздастся...»

— Добро добром воздастся... — повторила Саломэ.

Тамар погладила миску.

— Сколько я тогда искала ее, — с тихой радостью произнесла она. — Думала, потеряла в дороге... Это очень древняя вещь, реликвия нашей семьи...

Тамар повернулась и пошла прямо. Саломэ последовала за ней.

— Опорный столб цел? — спросила по пути Тамар.
— Да, — ответила Саломэ. — Какой красивый потолок!

— Трехступенчатый.. — с гордостью произнесла Тамар. — Такой потолок делали только Торели. А дымоход?

— Тоже видела. На нем солнечный орнамент. Куда мы идем?

Тамар остановилась, посмотрела на внучку.

— Загляну в церковь, — сказала она. Потом, улыбаясь, добавила: — Смотри, не проговоришься отцу.

— Не проговорюсь... — пообещала Саломэ.

...Тамар приоткрыла двери базилики, на ощупь подошла к фреске богоматери, зажгла свечу, потом — другую, третью... И зашептала:

— Богоматерь, святая дева Мария, помоги моему сыну Георгию...

На потолке дрожали испуганные тени, в окнах словно плакал ветер...

В кабинет почти ворвался Иорам и, не дав Георгию опомниться, накинулся на него:

— Виданное ли дело? Человек день и ночь работает, делает такое большое, нужное дело, а его собираются арестовать! Разве можно поступить так с Харитоном Цагурия!

Георгий снял очки, спокойно спросил:

— Кто такой Харитон Цагурия?

— Я тебе столько говорил о нем, но ты, конечно, не помнишь? — покачал головой Иорам. — Тот самый, что работает над созданием модели горного трактора.

— А-а, знаю...—вспомнил Георгий.—И что же? —

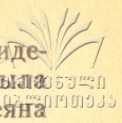
— Да то, что сейчас у него дома милиция. — Иорам налил воды, залпом осушил стакан. — Уже составляют акт, кто такой, почему работает нелегально, откуда у него металл и различные устройства.

— А что Харитон?

— Что Харитон. Надо знать его! Нет, я просто возмущен! — Иорам схватил Георгия за рукав. — Умоляю, поедem, помоги ему, пока не поздно.

— Поехали.

Машина остановилась перед тенистым двором. Георгий, Асмаг, Гурам и Иорам вышли из машины и на



05040
302 001033

правились прямо к калитке. Под деревьями они увидели три машины странной конструкции, четвертая была покрыта брезентом. Вокруг машин земля была усеяна спелыми яблоками, грушами и персиками. Перед домом за столом сидел молодой лейтенант милиции, перед ним стоял взъерошенный Харитон с молотком в одной руке и гаечным ключом — в другой.

— Итак, вы утверждаете, что работаете над конструкцией трактора нового типа? — спросил лейтенант милиции.

— Я ничего не утверждаю, — махнул рукой Харитон. — Посмотрите, сами убедитесь.

Лейтенант милиции обернулся и оглядел машины, потом снова повернулся к Харитону. — Ну вот, видите, как внимательно я все осмотрел, но не вижу ничего похожего на трактор. В конце концов признайтесь, что же вы все-таки делаете?

Харитон безнадежно вздохнул.

— Я выдумываю летающие тарелки...

При виде районного руководства лейтенант милиции вскочил на ноги, поздоровался, а Харитон вконец растерялся, но Иорам что-то шепнул ему, и Харитон тотчас успокоился.

— Составил акт? — спросила Аснат у лейтенанта. — И что же ты выяснил?

Лейтенанту не понравился иронический тон Аснат. Он собрал бумаги и стал оправдываться:

— Непонятные дела здесь творятся, товарищ секретарь. Я обязан разобраться в этой странной ситуации, что он делает и откуда он берет материалы...

— В этом мы сами разберемся, — со спокойной улыбкой сказал Георгий.

Лейтенант взял под козырек, потом взглядом велел двум милиционерам, рассматривающим машины, следовать за ним. Георгий подошел к странной машине, стоявшей возле дома, и стал разглядывать ее. Машина в самом деле была удивительна. По самой середине ее, словно ремень, перехватывала гусеница, по бокам висели странные колеса.

Георгий обернулся к Аснат и Гураму: .

— Какая странная машина! Видели вы когда-нибудь что-либо подобное?

— Где они могли видеть такое? — довольный, проговорил Харитон. — Они у меня впервые. Это, дорогие мои гости, предшественник будущего горного трактора.

— Это тоже тракторы? — Асमत протянула руку к другим машинам.

— Это уже пройденный этап, — устало произнес Харитон. — А это рабочая модель... Ну что, хороша?

Гости неопределенно пожали плечами.

— Так не поймешь, — сказал Иорам. — Еще многое надо доделать. К тому же — машина кустарная.

— Она сейчас похожа на человека в чужой одежде, — сказал Харитон. — Потому и кажется уродливой. Но когда все будет сделано по специальным чертежам и трактор пойдет по горам, вот тогда это будет зрелище!..

Гости не разделяли его оптимизма, Харитон почувствовал это.

— Не так уж обстоят дела, как вы думаете, — сказал он с обидой.

— Неужто вы знаете, что мы думаем? — засмеялся Георгий.

— Знаю, — отрезал Харитон. — Вы думаете, что я сумасшедший. — Он обернулся к дому и крикнул: — Мама! Ма-ма!

На зов выглянула старушка.

— Принеси-ка мой портфель! — сказал Харитон. Потом сорвал с дерева яблоко, надкусил и повернулся к гостям: — Вам, наверное, Иорам рассказывал обо мне. Я не сумасшедший и не просто какой-то бездельник. Я кандидат наук, двенадцать лет работаю над этой конструкцией.

— Почему в одиночку? — спросил Георгий. — В Тбилиси ведь есть соответствующие научно-исследовательские институты.

Харитон усмехнулся: — Я им так надоел, что они от меня как от черта открещиваются... Недавно я опубликовал статью в техническом журнале, и вот... — Харитон достал из портфеля бумажку и прочел несколько строк по-английски. — Вот что пишет мне ученый из Индии.

— Уже заказывает трактор? — улыбнулся Георгий.

— Угощайтесь, — предложила старушка. — Харитон, угощай гостей.

— Спасибо, — сказал Георгий и взял яблоко. Как вы думаете, на наших террасах такой трактор пройдет?

— Пройдет, — убежденно произнес Харитон. — У меня родилась сперва идея новой гусеницы, но этого было недостаточно. Тогда я придумал эти навесные колеса. Я долго наблюдал за козой. О, это большая стерва, должен вам сказать, захочет, может на дерево забраться. А что если использовать принцип движения парных копыт козы, подумал я — и вот вам. Этот трактор может наклоняться на шестьдесят градусов. Я сейчас, простите, не все скажу. Кое-что — моя тайна, до оформления патента, разумеется. — Харитон взглянул на часы, вытащил из кармана странный портсигар, нажал кнопку, и из него выскочила сигарета. С другой стороны появилось пламя. Харитон прикурил и с удовольствием затянулся.

— Можно? — спросил Гурам и протянул руку к портсигару.

— Извините, но у вас ничего не выйдет, — сказал Харитон. — В час портсигар выдает единственную сигарету, так он запрограммирован.

— Ваша конструкция? — спросил Георгий.

— Моя. Врач запретил мне много курить, вот я и придумал эту штуковину. Что хочешь с ней делай, не выдаст сигарету раньше времени. И система полива этого сада придумана мною. Вон там врыто в землю реле по регулировке влажности почвы. Как только земля начнет сохнуть, автоматически включается оросительная система.

— Слушайте, а этот дом тоже автоматический?

— Дом нет, — серьезно ответил Харитон. — А вот беседка — да.

— Как? — заинтересовался Георгий.

— Солнце любят все растения, — не спеша разъяснил Харитон. — Но природа наделила способностью поворачиваться к солнцу лишь подсолнух. Я механически придал эту способность беседке. Видите?.. Куда движется солнце, туда и поворачивается беседка. Поэтому-то у моего винограда максимальная сахаристость.

Гости удивленно озирались по сторонам. Георгий повернулся к Гураму и Асмат:

— Вы знали об этом?

— Слышал кое-что, — проговорил Гурам.

— Впервые вижу, — развела руками Асмат.

— Скажите, чем мы можем вам помочь? — спросил Георгий у Харитона.

Харитон задумался.

— В профилактике сельхозтехники пусть уступят мне один станок для выточки деталей, — сказал он наконец.

— Еще? — спросил Георгий.

— Понадобится немного металла...

— Будет, — пообещал Георгий. — Что еще?

Харитон переглянулся с Иорамом.

— Может быть, мне сможет помогать Иорам?.. В электричестве я не большой мастак.

— Поможет, я попрошу его как брата.

— Тогда следующей весной у нас будет трактор, — как ребенок оживился Харитон. — Клянусь вам, перепашу все эти горы, от начала до конца!..

Все было погружено в мерцающую рассветную синеву, когда машина въехала в Чокнари.

— Двенадцать лет здесь председателем Карло Галдавадзе, — сказал Гурам. — Прямо-таки возродил село. Если гость какой приезжал в район или делегация, Александре сюда всех возил...

В центре Чокнари возвышалось двухэтажное здание конторы, перед ней на заасфальтированной площади бил фонтан. Через всю площадь был протянут транспарант с надписью: «Пятилетке — наш ударный труд!». Завидев черную райкомовскую «Волгу», из конторы выбежал Карло Галдавадзе, подбежал к машине.

— Пожалуйста, товарищи, пожалуйста!.. — радушно пригласил он, но, заглянув в машину, увидел там только шофера и обескураженный спросил: — А товарищи Георгий и Гурам?

— Они сошли по дороге, — сказал Шакро, — мне велено дожидаться их здесь.

— По дороге?! — заволновался Карло. — Где именно?

— У поворота, возле лип, — объяснил Шакро.

Георгий и Гурам тем временем стояли во дворе колхозной фермы. Она являла собой жалкое зрелище. Тощие коровы лениво жевали жвачку.

— Основная ферма у них там, в центре, — объяснил Гурам, — а сюда у них, видать, руки не доходят.

— Конечно же, — вступила в разговор доярка, — показательная ферма там. Что вас привело сюда?

— Я вижу, что это не показательная ферма, — сказал Георгий. — Разве такую можно показывать?

— Да, да, — простодушно согласилась женщина.

— А поля вдоль дороги тоже показательные? — поинтересовался Георгий.

— А как же! Вблизи дороги все поля показательные, — подтвердила женщина.

— У них есть корова по кличке Камелия, рекордсменка по удою на всю республику, — стараясь сгладить безотрадное впечатление от фермы, сказал Гурам. — Она дает четыре тонны молока!.

— В самом деле четыре тонны?! — с удивлением обратился Георгий к женщине.

— Камелия? — замешкалась та. — Да, так говорят...

— Случайно, не их ли молоко добавляют к удою этой рекордсменки? — с улыбкой спросил Георгий, показывая на тощих коров.

Женщина совсем растерялась.

— Вообще-то удивительно, конечно, четыре тонны.

Потом Георгий и Гурам пошли по тропинке через кукурузное поле. Вдруг они услышали на противоположном краю поля громкий разговор. Георгий прибавил шаг.

Внизу, на склоне, раскинулся виноградник, там же поблизости виднелся питомник. Старик, сидя на корточках возле саженца, сердито отчитывал стоящего рядом парня.

— Ты меня будешь учить, как лозу прививать?

— Отчего же нет, — не уступал молодой. — Разве я неуч?

— Ступай, ступай отсюда и читай свои лекции кому-нибудь другому. В этом селе много дураков, которые в винограднике ничего не смыслят, — ворчал старик.

— Между прочим, четыре года профессора и академики учили меня именно этому делу, — не уступал молодой.

— А я вот шестьдесят лет у нее учусь! — Старик поднес к самому носу парня ком земли. — Шестьдесят лет!..

— Дядя Абесалом! — отпрянул парень.

— Что, плохой она учитель, а?! — Старик снова протянул к парню руку с землей. — Ты понюхай ее шестьдесят лет, а потом поговори со мной.

Парень разозлился.

— Я не разрешу тебе нарушать агроправила, не разрешу!..

— А мне твои разрешения не нужны, — отрезал старик и вернулся к саженцам.

— Не разрешу! — кричал парень. — Ты ведь просто упрямишься, и все!.. Во-первых, почве нужен ил..

— Во-вторых, убирайся отсюда, не то!.. — старик схватился за кол.

Парень, отбежав на достаточное расстояние, остановился, обернулся и крикнул:

— Я поставлю этот вопрос на правлении!

— Поставь! Поставь! — невозмутимо бормотал старик, вернувшись к прерванному занятию. — Собранья и разговоры — ваше дело, а виноградник — мое.

Парень безнадежно махнул рукой и ушел.

Старик, увлеченный своим делом, не заметил, как подошли к нему Георгий и Гурам.

— Здравствуй, дядя Абесалом!

На бодрое приветствие Гурама старик даже головы не поднял. Он продолжал работать и лишь буркнул в ответ:

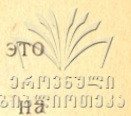
— Здравствуй!

— О чем вы тут спорили? — не замечая пренебрежения старика, продолжал Гурам.

Старик, не отрываясь от своего занятия, сурово спросил:

— Дело у вас какое? А то, знаешь, кто бездельем мается..

Гураму стало неловко, он бросил взгляд на Георгия, потом опять обратился к старику:



— Ты что, не узнал меня? Я Гурам Глonti, а это наш новый секретарь райкома.

Абесалом через плечо глянул на пришедших, на Георгии он задержал взгляд.

— Торели это ты, что ли? — спросил он.

— Да, я, — улыбнулся Георгий.

Абесалом встал, выпрямился и повернулся к ним лицом. Это был высокий, широкоплечий старик.

— Абесалом Девносидзе, — представил старика Гурам. — Прославленный виноградарь, великолепно знает свое дело. У него еще двое братьев — Баграт и Тариэл.

— С Багратом и Тариэлом я уже познакомился, — улыбнулся Георгий и спросил старика: — Кто был тот парень?

— Наш агроном, — ответил старик, — Резо Дави-тадзе.

— Здорово вы его отделали, — засмеялся Георгий.

— Да ну его, — усмехнулся в усы Абесалом, — такой дотошный, иначе от него не отвяжешься. — Неожиданно он обратился к Георгию: — На селе поговаривают о полях Вайо... Будто бы надумали лозу там сажать....

— Надумали, — подтвердил Георгий.

— Слово делом красно, а то говорить и галка умеет. — Абесалом недоверчиво покачал головой.

— Вы правы, — согласился Георгий и окинул взглядом виноградник. — Хороший у вас питомник, я вижу.

— Кому он нужен, — вздохнул Абесалом. — Виноградник труд любит, много труда. — Старик снова присел к лозе. — Нынче предпочитают даже ткемали — больше дохода дает.

— Сегодня с утра мы знакомимся с вашим селом, — сказал Георгий.

— Нравится? — с усмешкой спросил Абесалом.

— Как сказать... — неопределенно начал Георгий, потом откровенно признался: — Не нравится.

— Отчего же? — деланно удивился Абесалом. — У нашего председателя так все налажено, чтобы стороннему глазу понравилось, а что у нас на самом деле делается, это только мы знаем...

— Чего же вы такого председателя держите? — спросил Георгий.

— Как сказать... Одним именно такой и нравится, другие не хотят вмешиваться. — Абесалом посмотрел на Георгия. — Район его поддерживает.

— Ну, это раньше так было, нашу ошибку мы сами и исправим, — сказал Георгий и посмотрел Абесалому в глаза. — Как вы думаете, дядя Абесалом, кто из ваших был бы хорошим председателем?

— Подумать надо. — Абесалом задумался, потом поднял голову и засмеялся. — Пожалуй, лучше всех был бы Резо.

— Это тот, которого вы прогнали? — удивился Гурам.

— Ну да... — серьезно ответил старик. — Тот самый парень, который наемни пятками сверкал...

— Нас ждет интересное собрание, как я посмотрю, — проговорил Гурам Глonti.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕК ПРОВОДИТ БОРОЗДУ

Вечером в сельском клубе собралось все село.

В президиуме вместе с Георгием находилось все руководство района. В глубине сцены виднелась декорация — палуба крейсера и задернутое дуло пушки.

На трибуне стоял председатель колхоза Карло Галдавадзе. Он уже заканчивал свое выступление, зал слушал его равнодушно.

— Да, товарищи, нигде в районе в переводе на гектары не получено такого урожая зерновых, как на участке товарища Квачадзе. Нигде во всей республике не получено столько фруктов с каждого плодоносящего дерева, сколько собрала бригада товарища Читадзе. Мы гордимся тем, что наша корова Камелия установила всесоюзный рекорд по удою. Да, товарищи! Мы законно гордимся всеми этими достижениями...

— Только не слишком уж заноситесь, — прошептала Асмат Яшвили. — Не помешало бы немного поскромнее.

Галдавадзе никак не отреагировал на эту реплику.

— Разрешите мне, дорогие товарищи, — продолжал он патетически, — заверить от вашего имени район-



ное руководство в том, что наш колхоз и впредь будет вносить достойный вклад в дело дальнейшего возрождения народного хозяйства нашей республики...

Раздались жидкие аплодисменты. Галдавадзе сошел с трибуны, подошел к столу президиума и торжественно объявил:

— Товарищи! Собрание приветствуют дети!

Под звуки горна и дробь барабана зал заполнили дети. Они подбежали к членам президиума, преподнесли им цветы и под неумолчную дробь барабана покинули зал. Появление детей оживило скучающих людей в зале. Карло Галдавадзе зазвонил в колокольчик и довольный оглядел односельчан.

— Товарищи! После собрания силами местного драмкружка будет показан спектакль «Оптимистическая трагедия». А сейчас пора уже считать собрание...

— Не торопитесь... — прервал его Георгий, поднимаясь. — Да, товарищи, пора уже переходить к делу.. Что касается спектакля... я думаю, на сегодня хватит того, что мы уже видели... Мы побывали на ваших полях и в садах, на фермах и виноградниках... Я вижу, некоторые из вас покраснели...

Зал заметно ожил, кое-кто и в самом деле в смущении опустил голову.

— Кому нужно это очковтирательство, товарищи? — с упреком спросил Георгий. — Кому это выгодно? Государству? Колхозу? Лично вам?

— Да будь неладен тот, кто назвал наш колхоз показательным! — раздался из зала гневный голос.

— Вот дети нам цветы преподнесли! — продолжал Георгий. — Огромное им спасибо! Но цветы, товарищи, хороши в праздник. А мы не можем сказать, что у нас праздничное настроение. У села много болячек, и вы, вероятно, для того и пришли на собрание, чтобы поговорить о них. Болезнь не следует скрывать, ее надо вскрывать и лечить... Мы вместе со специалистами уже наметили некоторые мероприятия, а сегодня бюро районного комитета прибыло к вам, чтобы посоветоваться. Хочу вам сказать сейчас же: впредь руководство района не решит ни одного вопроса, не посоветовавшись с вами.

Я хочу сказать вам, что сегодня необходимо исправлять не отдельные недостатки или ошибки, а кру-

то повернуть к новым рубежам, к полной специализации хозяйства. Основной отраслью районного хозяйства должно стать виноградарство: вопрос этот досконально изучен специалистами и научно обоснован. Это, если хотите, историческая миссия нашего района. Да, да, не будем бояться таких слов. В ближайшем будущем в республике должно быть заготовлено миллион тонн промышленного винограда. Исторически Грузия страна виноделия, и это возлагает на нас особую ответственность. Разве не позор, что у нас за последнее время, буквально на глазах одного поколения, нашего поколения, вымерли, исчезли многие сорта винограда, а некоторые находятся на грани вымирания? Наши предки на протяжении сотен лет выводили эти сорта, лелеяли их, так неужели мы не должны сохранить, сберечь те дивные сорта, которыми может гордиться наша земля. Вспомните — маглара, чхавери, сашурави, джани, крахуна.

— Кларджули, аладастури, джавахетури... — раздалось из зала.

— Мискети, мтевандили, мекренчхи, махатура, — добавил мужчина с длинными усами.

— А бутко помните, люди? — спросил крепкий старик. — Хипатури? Мтредиспеха? Хариствала?

— Повнили? Шави ливанура? Броли?

Георгий подождал, пока зал успокоился, и продолжал:

— Товарищи, я хочу поговорить с вами об освоении полей Вайо. Мы, люди сегодняшнего поколения, должны вернуть к жизни эти земли... Здесь речь идет не об интересах одного села или одного района. Осваивая под виноградники обширные поля Вайо, мы сможем увеличить вклад нашей республики в развитие ценных специфических отраслей сельского хозяйства всей нашей страны.

Из-за кулис выглядывали готовые к спектаклю, загримированные актеры, внимательно слушавшие Георгия. В глубине кулис беспокойно ходил взволнованный режиссер.

Из первых рядов поднялся старик, повернулся к залу:

— Что может быть благороднее такого дела, как возвращение к жизни полей Вайо? Я слышал от своего

деда — на свадьбе царицы Тамар пили вино, полученное с виноградников на этих полях... Да если нам удастся вновь возродить там виноград!.. Но главное все же — это рабочая сила. Всех так и тянет в город. Молодые поступают в институты, иные идут в армию. Осталась лишь горсточка стариков, вроде меня. Скоро за нами придет старуха с косой, кому же тогда размахивать мотыгой?

— Вот если б на наших землях можно было использовать механизацию, тогда все было бы проще! — мечтательно произнес седоусый старик.

— А я вот считаю, что главное — специализация! Знаете, что погубило нас, а? Множество отраслей, вот что! К примеру, зачем нам рис, ни выращивать его не умеем, ни земля под него не пригодна!..

— Я вот на своей усадьбе виноградник должен вырубить, — заявил с вызовом бодрый старик. — Засею огурцами, посажу картофель, доходу больше, чем от винограда, да и забот меньше.

— Эх! — горько покачал головой другой старик. — Уж если Грузия говорит такое...

— Вы же знаете, что по сравнению с зерновыми виноградник требует в семнадцать раз больше трудовых затрат, — авторитетно объявил вставший со своего места человек в очках.

В зале зашумели.

— Дай бог тебе здоровья, напомнил!

— Без труда не вытянешь и рыбку из пруда!

— Смотри какой труд... То — двенадцать раз опрыскать, то — прополоть, то — ждать погоды, то — подрезать.

— Собрать, выжать и выпить!

— Кто это тут шутит?!

— Мужчины, перестаньте шутить! — раздался женский голос.

— Скоро уж рассветет, — зевнула старуха в черном.

— Давайте о деле, товарищи, о деле! — наконец поднялась Аснат Яшвили.

Внезапно из-за кулис появились готовые к спектаклю актеры. Появление вооруженных революционных матросов было настолько неожиданным, что все в зале

на мгновение замерли... «Моряки» заняли свободные места, заполнили и проходы между рядами.

— Что такое, товарищи, революция? — спросил бодрый старик.

— А ты что думал, Терентий? — крикнул с яруса человек в очках.

Карло Галдавадзе зазвонил в колокольчик.

В первом ряду встал длинноусый моряк с деревянным маузером за поясом.

— Мы за кулисами слышали ваш разговор, — спокойно начал он. — Одно для нас ясно: так больше продолжаться не может. Что происходит в деревне в конце концов?! Для чего обманывать себя и других?.. Мы за это боролись?.. Ради чего проливали кровь и пот? — Вдруг он повернулся к Галдавадзе: — Да прекрати ты трезвонить, когда человек говорит!..

— Хочешь говорить, выходи на трибуну, — ответил Галдавадзе, но звонить все же перестал.

— Пусть говорит, — заступился за длинноусого моряка коренастый «боцман».

— Он правду говорит, — вскочил на ноги второй «моряк» с серьгой в одном ухе. — Я жертвовал собой ради этой земли. И что получается?

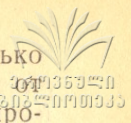
— Почему колхозник не должен получать столько же, сколько, скажем, шахтер или металлург? Разве он создает менее необходимую продукцию, или же труд его легче?

— Кого ты упрекаешь, Гедеон? — с обидой спросил Галдавадзе из президиума. — Что заслужил, то тебе и выписали...

— Брось ты эту демагогию, председатель! — снова загредел с места длинноусый «моряк». — Ни одному твоему действию нельзя найти оправдания.

Георгий встал, подождал, пока утихнет зал, потом сказал:

— Совершенно верно, нельзя больше жить по-старому. Необходимо положить конец показному благополучию, самообману. Здесь вот товарищ правду сказал — виноградник по сравнению с зерновыми требует гораздо больше труда. Да, это так, поэтому, естественно, труд, затрачиваемый на виноградники, должен хорошо оплачиваться. Решено ввести новый метод материальной заинтересованности: за выполнение плана на каж-



дом отдельном участке виноградари получают не только зарплату, но и в виде премии двадцать процентов урожая, а за перевыполнение плана — пятьдесят процентов!..

В зале вдруг воцарилась тишина.

— Что может быть лучше, но... но насколько подобное поощрение отвечает положениям колхозного устава? — с сомнением спросил бодрый старик.

— Мы думаем, что любая форма поощрения приемлема, если она выгодна и выигрышна.

Зал снова ожил, зашумел, люди спорили между собой, что-то подсчитывали, доказывали друг другу.

— Бригадир питомникового хозяйства просит слова, — громко объявил Григол.

— Ничего я не прошу, — заворчал Абесалом и так основательно устроился на стуле, словно никогда не собирался вставать с него.

— Абесалом, говори, народ ждет! — подстегивал его кто-то из зала.

— А чего ждет, что я, знаменитый певец, что ли?! — проворчал Абесалом, но все же поднялся со своего места, оглядел зал. — Здесь один умник выступал: мол, лозу вырублю и посею огурцы. Ну что говорить после такого? Лозу, как мы знаем, Ага-Мохамед-хан вырубал, и этот туда же... Недавно я читал в газете, наш ркацители в Америке посадили, в Болгарии. А тут свой, грузин, говорит такое! — Абесалом бросил на бодрого старика взгляд, полный гнева, потом, несколько успокоившись, продолжил: — «Лоза, возвращенная, словно дитя», поется в нашей песне. А разве воспитание ребенка нуждается в поощрении? И все-таки очень хорошо, что нелегкий труд виноградаря будет оценен по достоинству. Конечно, это очень большое, я бы сказал, народное дело -- оживить поля Вайо, а вы, услышав про это, даже не похлопали!.. Я лично так обрадован, что отсюда пойду не домой, а в питомник: когда необходимо, можно и при луне работать. Даю слово, что для полей Вайо недостатка в саженцах не будет.

Абесалом сел. И снова зашумел зал.

— Довольно, товарищи, хватит разговоров, — слышался чей-то голос. — Давайте разойдемся и приступим к делу.

— Погодите! — поднялся с места длинноусый «морьяк». — Вы вот сейчас же хотите схватиться с полями Вайо? Тем полям нет конца и края. Дело это требует хорошего руководителя.

— У нас же есть председатель! — раздался чей-то робкий голос.

— С сегодняшнего дня такой председатель нас не устраивает, — отрезал длинноусый.

— Что было — то было! — добавил второй «морьяк». — Отныне мы не хотим, чтобы такое повторилось.

Асमत встала и позвонила в колокольчик.

— Тогда, товарищи, разрешите поставить вопрос об избрании нового председателя колхоза, — сказала она. — У кого есть предложения?

На мгновение воцарилась тишина, в зале все замерли.

Но вот поднялся пожилой «морьяк», поднял высоко руку с винтовкой.

— У меня есть предложение!

— Говорите! — кивнул головой Барбакадзе.

— Пусть Резо Давитадзе возглавит колхоз, — сказал «морьяк». — Он агроном, умный и надежный человек. И в виноградниках знает толк. К тому же он комсомольский вожак.

Народ удовлетворенно зашумел.

— Товарищ Давитадзе, прошу вас в президиум, покажитесь собранию, — сказал Гурам Глonti.

К сцене направился молодой человек в одежде морьяка, по пути снимая с себя оружие и бескозырку. Наконец он снял и бушлат и поднялся на сцену.

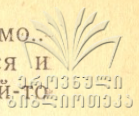
— Демобилизовали, — засмеялся Абесалом. — Те перь, брат, устраивайся дома, за деревней присмотри...

Резо стоял на сцене растерянный, держа в одной руке бескозырку, в другой — бушлат.

— Кто за то, чтобы председателем колхоза был избран товарищ Резо Давитадзе? — обратился к собранию Григол Барбакадзе.

Вверх взметнулись сперва винтовки, а потом лер рук.

Гурам Глonti сидел в кабинете Георгия. Говорил он медленно, тяжело, с трудом выдавливая каждое слово.



— Есть вопросы, о которых надо говорить прямо. То, что случилось там... на собрании, это касается и меня: председатель Чокнарского колхоза — в какой-то мере плод и моей деятельности.

— Верно, — спокойно согласился Георгий, потом подчеркнул: — В какой-то мере...

— До вашего прихода я десять месяцев работал председателем райисполкома. Это немного, но за десять месяцев можно успеть сделать много полезного, и наоборот.

— Вы успели сделать немало.

— Я пришел к вам не для того, чтобы сказать это, — горько усмехнулся Гурам.

— Вы пришли для того, чтоб искупить ошибки прошлого... — заметил Георгий.

— Если бы искупление ошибок помогало делу! — проговорил Гурам. Потом посмотрел Георгию прямо в глаза. — Я много думал об этом. Для дела, вероятно, лучше всего освободить меня от работы.

Георгий нахмурился, встал, прошелся по кабинету и снова повернулся к Гураму.

— Гурам, мы взялись за большие дела. Порой мне так тяжело, что даже трудно представить.

— Я знаю, — проговорил Гурам. — Все знаю.

— Что касается ошибок прошлого, ты сам должен их исправить, понимаешь, сам...

Гурам встал, долго, очень долго придвигал стул к столу, стараясь сдерживать волнение, наконец упрямо произнес:

— Исправлю, товарищ секретарь! Верь мне!

Георгий проснулся от холода... Было еще темно. Он встал, повернул выключатель, однако лампа не зажглась. Он подошел к окну, отодвинул шторы.

К окну подступил белый сумрак... Валил снег. Нигде не горел свет — ни в домах, ни на улицах.

В комнату вошла мать с теплым одеялом в руках. Увидев, что Георгий одевается, удивилась:

— Еще рано, сынок.

— Я должен идти. Этот снег принесет немало хлопот.

Из соседней комнаты, в одной рубашке, выглянула Саломэ.

— Холодно, — сказала она и зевнула. — **Который час?**

— Для тебя еще время спать, — ответила **Тамар**. Саломэ, шлепая босыми ногами, подбежала к окну.

— Снег идет! — радостно воскликнула она. — Как красиво!..

— Потрясающе! — проворчал **Георгий**.

— Топят? — спросила **Тамар**.

Георгий потрогал радиатор рукой.

— Ледяной, — ответил он и подошел к дверям. — Скажи **Шакро**, пусть догоняет.

— Папа, папа! — крикнула ему вслед **Саломэ**. — Вчера у нас была генеральная репетиция. Премьера назначена на послезавтра. Спектакль получился великолепный! Ты ведь придешь на премьеру?

— Разумеется, — пообещал **Георгий**. — И не я один. Все бюро приведу с собой.

— Ты бы поел, сынок, я вскипячу чай, — сказала **Тамар**.

— Потом где-нибудь перекушу, — ответил **Георгий** и закрыл за собой дверь.

...Оставляя глубокие следы на нетронutom снегу во дворе, **Георгий** вышел на улицу. Он шел быстрым шагом, под ногами скрипел снег... Город просыпался. Перед дворами очищали с тротуаров снег лопатами. Мальчишки, высыпавшие спозаранку на улицы, бросали снежки в девушек... **Георгий** сгреб снег с каменной ограды, сделал снежок... Проходившая рядом девушка съежилась, с мольбой посмотрела на **Георгия**:

— Не кидайте, прошу!..

— Я... и не думал, — пробормотал **Георгий** и растерянно улыбнулся. Но девушка не поверила ему. По ее пальто было заметно, что ей порядком досталось.

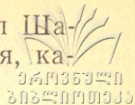
— Тогда выбросьте этот снежок, — попросила она.

— Пожалуйста. — **Георгий** немедленно подчинился.

Обрадованная девушка пустилась бежать, недоверчиво оборачиваясь. Рядом остановилась «Волга». Из окна выглядывал **Шакро**. **Георгий** заметил, что он встревожен.

— Случилось что-нибудь? — спросил **Георгий**, поспешно садясь в машину.

— На подстанции большая авария, — сказал Ша-
кро. — Во всем городе ни света, ни отопления, ка-
жется, и хлеб не смогли выпечь утром!



Возле подстанции тарахтел экскаватор. Вымазан-
ные в грязи рабочие, стоя в траншее, выбрасывали из
нее обрывки кабеля. Во дворе у трансформаторов хло-
потали электромеханики. Дерюгин стоял перед окном
диспетчерской и по выставленному наружу телефону
с кем-то разговаривал.

Шакро остановил машину у самого канала. Не
успел Георгий выйти из машины, как к нему поспешил
Дерюгин.

— В чем дело, Герасим Петрович? — еще издали
спросил Георгий.

— Плохо, товарищ секретарь. Положение весьма
серьезное. Трансформаторы вышли из строя, поврежден
турбинный тоннель.

Увидев его измученное от бессонной ночи лицо, Ге-
оргий подавил в себе гнев и с принужденным спокой-
ствием спросил:

— Когда будет в городе электричество?

Дерюгин в отчаянии развел руками.

— Часов для этого недостаточно, товарищ секре-
тарь. Тут понадобится двое суток, не меньше.

— Одни сутки сейчас равны году, — сказал Ге-
оргий. — Завтра первое января.

— Два трансформатора нужно заменить, — под-
считывал Дерюгин. — Сто метров кабеля сменить...
Двадцать лет на этой подстанции ничего не менялось...

Остановилась машина. Из нее вышел Гурам Глон-
ти.

— С хлебом порядок, — сказал он, подойдя к Ге-
оргию. — Я звонил в деревню. Там пекари работают на
жидком топливе и дровах. С одиннадцати часов мож-
но привозить в город хлеб.

Георгий прошелся по снегу. Снял с головы шапку,
словно она мешала ему думать. Огромные, ленивые
хлопья, как усталые бабочки, опускались на его воло-
сы.

— В первую очередь надо позаботиться о больни-
це, — сказал он. — Когда в школе-интернате завтрак?

— В восемь. — Гурам взглянул на часы. — Уже половина восьмого.

Георгий подошел к телефону, набрал номер.

— Попросите капитана Ткачева, — сказал он. — Торели я, первый секретарь райкома... Доброе утро, товарищ капитан... Да, отключился во всем районе... Необходима ваша помощь... В первую очередь школа-интернат и больница... Спасибо..

Георгий положил трубку.

— Надо же, чтоб беда пришла под Новый год! — ворчал Дерюгин.

— Герасим Петрович, вы же опытный энергетик. На вас вся надежда, — повернулся к нему Георгий. — К ночи должны быть в домах у людей свет, тепло, понимаете?

— Каким образом? — удивился Дерюгин. — Это под силу разве что всевышнему, я же простой инженер, и всего-то нас шестеро электриков...

— К вашим услугам все, что есть в районе, — добавил Георгий. — Вы только требуйте, распоряжайтесь... Все в районе сейчас подчиняются вам... Считайте, что я тоже в вашем распоряжении, только дайте этой ночью людям свет. Поймите, этой ночью в домах должен быть свет!

Дерюгин, подумав, сказал:

— Хорошо. Мне нужен подъемный кран, десять рабочих, самосвал, грузовик.

— Все будет сделано, — ответил Георгий.

Георгий быстрым шагом шел по коридору. Рядом с ним — главврач больницы.

— Завтрак у вас обычно в девять? — спросил Георгий.

— Да. — главврач посмотрел на часы, — ровно через час.

— Операция?

— В одиннадцать... Если будет свет, разумеется.

— Будет! — пообещал Георгий, приоткрывая дверь в палату.

— Ну что, товарищи, можете немного потерпеть? — обратился он к больным, забравшимся под одеяла.

— Ничего, потерпим, — ответил больной, лежавший в углу.

— Вот врачам труднее, — пошутил другой. — Нас
хоть наша температура греет.

В конце коридора дежурный врач протянул Георгию телефонную трубку:

— Гурам Глонти.

В трубке слышится взволнованный голос Гурама:

— Обнаружены новые повреждения. Плохи дела.

— Гурам!.. Гурам, слушайте, — с плохо скрываемой озабоченностью говорит Георгий. — Все надо успеть вовремя, если даже для этого необходимо построить новую станцию, понятно?

— Я понимаю, но инженер говорит, что надо еще сто двадцать метров кабеля.

— Найдем, — обещает Георгий, — непременно. Что еще?

Перед больницей остановилась военная машина. Из нее вышел командир пограничной службы капитан Ткачев, следом Асмаг. Они взбежали по лестнице. Георгий положил трубку и пошел им навстречу.

— Как дела, товарищ капитан? — нетерпеливо спросил он у Ткачева.

— Все в порядке, товарищ секретарь, — по-военному доложил капитан. — В школе-интернате уже позавтракали.

Георгий, взяв Ткачева под руку, пошел с ним к дверям.

— Олег, нам снова нужна ваша помощь.

— Я вас слушаю, — с готовностью согласился Ткачев.

Они вышли было из больницы, когда к воротам подъехали военные грузовики. К одному из них была прицеплена полевая кухня.

— Необходимо сто двадцать метров кабеля, — сказал Георгий Ткачеву.

Ткачев не успел ответить, к нему подошел сержант и доложил:

— Товарищ капитан, завтраки для сорока пяти человек привезли, семь из них — диетические.

— Махмедбекова ко мне! — приказал капитан.

Подошел смуглый пограничник с полевой рацией.

— Слушаю, товарищ капитан!

— Свяжись с третьим и передай мой приказ:

привезти на электростанцию сто двадцать метров четырехмиллиметрового кабеля.

— Есть! Сто двадцать метров четырехмиллиметрового кабеля на электростанцию! — повторил радист.

— Если не окажется, послать машину на склад.

— Есть! — ответил радист и тотчас приступил к работе. — Третий!.. Третий!.. Вызывает первый!..

— Уж очень мы многого просим у военных, — сказал Георгий и посмотрел с благодарностью на Ткачева.

— Ничего. — Ткачев улыбнулся. — Все, чем можем помочь, к вашим услугам.

Георгий повернулся к Аснат.

— Вы, наверное, устали. Может быть, немного отдохнете, а?

— Да нет, я не устала вовсе, — ответила Аснат. — Известно, женщины гораздо выносливее мужчин.

— Выходит, что это мы — слабый пол. — На усталом лице Георгия мелькнула улыбка.

Во двор въехала заснеженная «Волга». Из нее вышел Арчил Девдариани и направился к Георгию.

— В десять часов здесь назначена операция, — обратился к нему Георгий.

— Операция? — растерянно повторил Девдариани. — Но чем я могу помочь?

— Светом, — пояснил Георгий. — Ведь имеются в вашей технике движки?

— Разумеется! — понимающе кивнул головой Девдариани.

— Поставьте их поодаль, так, чтоб шум не беспокоил больного.

— Понятно. — Девдариани повернулся и пошел к машине.

...Георгий в пальто, накинутом на плечи, сидел за столом. Две свечи слабо освещали кабинет. Он что-то писал, потом спрятал исписанные листки в стол, встал, погасил сперва одну свечу, потом другую. Зазвонил телефон. В темноте он с трудом отыскал трубку.

— Слушаю!..

В трубке слышалась мелодия старинного танго.

— Слушаю! — повторил Георгий.

— Торели? — спросил незнакомый голос.

— Да...

— Ну что, погрузил район во тьму?

— Кто говорит?

— Убирайся ты отсюда, пока совсем не загубил наш цветущий край! — с угрозой произнес голос в трубке.

— Кто говорит со мной? — надтреснутым голосом повторил Георгий.

Незнакомец гадко рассмеялся и умолк. Слышались лишь монотонные звуки танго, затем — прерывистые гудки. С тяжелым сердцем вышел Георгий из здания райкома. Город лежал во тьме. Лишь первый снег отсвечивал белизной. Порой свет фар прорезал темноту — мимо райкома с шумом проносилась машина...

— На подстанцию? — спросил Шакро, когда Георгий сел в машину.

— Заедем домой. — Георгий потер лоб. — Голова разрывается... Перекушу...

Машина тронулась. Шакро искоса взглянул на Георгия, сочувственно спросил:

— Озноба нет?

Георгий пожал плечами:

— По-моему, нет.

— Если есть, значит простыли. В таком случае аскофен — спасение, — посоветовал Шакро.

Георгий не ответил, сидел, уставившись в окно. Не доезжая до дому, сказал:

— Останови, пройдусь немного. А ты поезжай, Шакро, Новый год на носу.

— Еще не время, — Шакро взглянул на часы. — Я уж подожду вас, поедем на подстанцию.

— Я пешком дойду, это рядом. — Георгий протянул руку шоферу и с трудом улыбнулся: — Желаю тебе счастливого Нового года!.. Всей твоей семье...

— Спасибо! И вам также желаю счастливого Нового года!

Машина сорвалась с места, свернула в переулок и исчезла.

Георгий остановился перед открытыми дверьми магазина и заглянул внутрь... На полках горели свечи. Тени покупателей и продавцов дрожали на стенах... Георгий вошел в магазин, оглядел полки. Продавец узнал его и поспешил к нему.

— Что вы хотите?

Георгий покачал головой, ничего, мол, и пошел в хлебную секцию.

На полках лежали хлеба, выпеченные в сельской пекарне.

— Когда получили хлеб? — спросил Георгий.

— Первую партию — в полдень. — Продавец отпустил очередного покупателя и снова повернулся к Георгию: — Не возьмете? На дровах выпечен.

Георгий заколебался, потом вынул из кармана кошелек. — Один, пожалуй, возьму.

Покупатели тоже узнали Георгия, они смотрели на него, перешептывались.

— Когда будет свет, товарищ секретарь? — спросил мужчина, нагруженный свертками.

— Будет свет, будет! — обнадежил его Георгий.

— Когда? — недоверчиво спросил кто-то из дальнего угла магазина. — В следующем году?

Кто-то засмеялся, но его тотчас одернули.

Георгий взял хлеб.

— До вас, товарищ Торели, у нас ничего подобного не случалось, — завершала стоявшая в очереди за печеньем женщина в очках. — Сегодня мой ребенок вернулся домой с температурой. Простыл в холодном детском саду.

— Ему-то что! У него дома, небось, и свет и отопление, — злобно произнес кто-то.

— А если болезнь ребенка осложнится, кто за это ответит? — не успокаивалась женщина.

— Я, — ответил Георгий. — В этом районе за все отвечаю я. — Он повернулся и вышел из магазина.

В магазине повисла неловкая тишина.

— Тьфу! Ну и отравила Новый год человеку эта змея! — проворчал стоявший в очереди пожилой железнодорожник.

— От змей и слышу! — озлилась женщина.

— Уважаемая Маргалита! — послышался чей-то веселый голос. — Ну как, неприятно, видать, что муж ваш по старинке не может действовать...

Перевод с грузинского

(Окончание следует)

ТОГДА Я БУДУ ЖИТЬ...

История одной болезни

Я проснулась среди ночи от собственного крика и не сразу поняла, что это был сон — кошмарный и мучительный, но все-таки сон...

Мутная река стремительно увлекала меня куда-то вниз. Густые, как раствор цемента, волны швыряли мое беспомощное тело, крутили в диких водоворотах, били камнями и бросали на острые глыбы. Беснующийся поток уже давно сорвал с меня всю одежду, и теперь каждая песчинка причиняла моему исцарапанному, израненному телу невыносимую боль. Кричать и звать на помощь было бесполезно: я знала, вокруг не было ни души, а если бы и был кто, то вряд ли услышал мой голос в этом грохоте разбушевавшейся стихии. Вдруг я почувствовала, что скорость потока и гул усилились, и поняла, что меня несет в пропасть. Страшный крик вырвался из моего горла, и я проснулась...

Тупая боль разливалась по всему телу, стучала в затылке и висках. Который же сейчас час? За окном еще совсем темно. Часы показывали половину четвертого. Надо заставить себя заснуть. Завтра, нет, уже сегодня, нужно идти на работу... И все же, что за кошмар мне приснился и откуда взялась эта боль во всем теле? Последнее время я неважно себя чувствовала, быстро уставала, к тому же часто кружилась голова, но боли не было. Только этого мне сейчас не хватало. Работы невпроворот. Придется до конца недели задерживаться допоздна, а уж в субботу и воскресенье отлежаться. Впрочем, на выходные дни у меня тоже были планы — надо сделать кое-что по дому, постирать, пошить. Да мало ли что!.. Раньше все это давалось так

легко, а сейчас копаюсь почему-то. Может, я заболела? Нет, просто я безумно устала. Конечно, устала. От всего. От перегрузки на работе, от житейских забот, от одиночества. Да, и от одиночества тоже...

Жаль, что так и не удалось уснуть. Пора вставать, как это ни трудно. Сегодня, пожалуй, еще труднее, чем вчера. Впрочем, вчера мне тоже казалось, что позавчера было чуть легче...

Лучше было совсем не смотреть в зеркало: глаза опухшие, лицо бледное. Придется призвать на помощь косметичку. На работе привыкли видеть меня жизнерадостной и веселой. Да и вообще ни к чему портить другим настроение своим кислым видом. Ну вот, теперь, кажется, сносно. Только слабость безумная, и сердце колотится часто-часто, где-то в горле, даже дышать трудно. Наверное, от спешки. Ну все, хватит, поехали. И до субботы ни о чем, кроме работы, не думать!

Однако долгожданные суббота и воскресенье облегчения не принесли. Хотя и удалось поваляться в постели подольше, но всепоглощающая усталость не прошла, голова болела еще хуже. Каменная глыба навалилась на затылок, грозя раздавить череп. А сегодня щупальцы боли потянулись к правому уху и исподволь подступают к виску. Очевидно, сказываются почти бессонные ночи и горы бумаг на моем рабочем столе, которые мне приходится за день проглатывать. Я так устаю, что, ложась в постель, не могу отключиться и продолжаю ворочать в возбужденном мозгу какие-то слова и целые фразы из прочитанного за день.

И все же я невероятным усилием воли поднимаю себя с постели. Последние дни я повязываю голову теплым платком. Мне кажется, что все это от простуды. Продуло, очевидно. Но боль не утихает, а наоборот, все страшнее сжимает череп. А до конца недели еще четыре дня. Вряд ли я выдержу. Надежды на то, что это пройдет само, уже нет. Завтра схожу к врачу. Решено...

Но завтра, едва приподняв голову с подушки, я проваливаюсь в пропасть. В мозгу на мгновение вспыхивает воспоминание о том, еще не забытом сновидении. Но думать об этом некогда. Меня захлестывают новые мучительные ощущения. Страшное головокружение поглощает меня без остатка: я лечу вниз и в то

5940
11033

же время стремительно взлетаю вверх, непонятная сила вертит меня во всех плоскостях. И в этом безумном верчении я чудом формулирую одну-единственную мысль: «Как космонавтов в центрифуге»... Я перестаю ощущать, где «низ», а где «верх», где «право», а где «лево». Единственная моя забота теперь — уцепиться. Но я не знаю за что! Ведь кругом одно только взбесившееся, вконец обезумевшее пространство... И я начинаю кричать. Слабым стоном доносится до моих ушей этот крик. Но почему-то я чувствую облегчение. Не физическое, нет, а моральное: значит, я живу, еще живу! Постепенно чудовищный коловорот стихает. Я с трудом поднимаю тяжелые веки, пытаюсь оглядеться. Но даже от этого ничтожного и такого естественного в обычном состоянии движения глаз потолок вновь обрушивается на меня. Я поспешно зажмуриваюсь. Интересно, сколько это может продолжаться? И вообще, что это такое? А пока я лежу притаившись, боясь вспугнуть бесноватое чудовище, причинившее мне столько мучений, и прислушиваюсь к своим ощущениям... Голова вот-вот расколется. Тело обессилело, даже пальцем пошевелить трудно. Одурающая тошнота подкатывает к горлу.

От долгого лежания на спине все тело ноет, но повернуться на бок я не могу, нет сил, да и страшно, что все начнется снова. Теперь надо лежать спокойно и ждать телефонного звонка. Могут позвонить с работы или кто-то из семьи брата, скорее всего его жена. Вообще-то говоря, близкие давно знают, что я плохо себя чувствую, звонят часто и на работу и домой. Если раздастся звонок, мне надо только протянуть руку и поднести трубку к уху. С этим я справлюсь. Потом надо сказать, чтоб вызвали врача. Слава богу, что я со времени своего последнего отпуска оставила запасные ключи соседям. И у них всегда кто-то есть дома. Все складывается удачно. Выдюжим...

И все же звонок раздался неожиданно, я даже вздрогнула. С трубкой я справилась сравнительно легко. Хорошо, что я это заранее продумала. Но звонил совсем другой человек: мой сослуживец Дато. Теперь надо долго объяснять. Но он все мгновенно понял, хотя говорила я с трудом. Молодец! И вообще на него можно положиться. Мы проработали вместе шесть лет,

так что у меня было время убедиться в его обязательности и доброте. Пожалуй, даже лучше, что первым позвонил он. Определенно, все складывается очень удачно. Жаль только, что до грешка и зеркальца мне, пожалуй, не дотянуться...

Дато появился так быстро, что мне показалось, будто он вообще стоял за дверью. Вскоре пришел врач, потом другой, третий... Приходилось много говорить, объяснять, рассказывать. Меня дотошно расспрашивали, и я очень устала от всего этого. Все единогласно сошлись на том, что меня необходимо срочно уложить в больницу. Но мысль о ней была невыносимой. Я категорически отказалась, тем более, что семья брата — невестка и старшая племянница взялись ухаживать за мной. Я скоро поправлюсь, надо только отдохнуть, полежать в тишине и покое. Обо мне заботятся, достали все лекарства, приходит фельдшерница... Господи, чего же мне еще надо! Только бы отпустила эта дикая головная боль. Свет раздражает. Хорошо, что задернули шторы, но все же лучше натянуть теплый платок на глаза.

— Тебе что-нибудь нужно? — спрашивает Дато.

— Нет, спасибо большое. Я доставила тебе столько хлопот: эти врачи, лекарства... Мне, право, неловко.

— Глупости. Лежи спокойно. Может, ты все же чего-нибудь поела бы? Нельзя же так..

— Я не могу... Вот разве... Но это смешно, бред какой-то... В такое время года и не достанешь...

— А все же?

— Нет, ничего.

— Ты же знаешь, я не отстану, пока ты не скажешь.

— Я же говорю, что это бред... Как в одном рассказе О. Генри. Она просила у мужа апельсины, а потом, когда он их достал, оказалось, что ей теперь хочется персиков. Помнишь?.. Так вот, мне хочется персиков. Смешно?..

— Очень... Ну, ты отдыхай. Я приду завтра...

До завтра еще целый вечер и вся долгая-долгая, такая томительная ночь. Труднее всего именно ночью, когда остаешься один на один со своими мыслями и своей болью. Завтра пятница. Значит, я лежу уже три

дня. Нет, всего три дня. Но какие они длинные — эти три дня и три ночи! Скорей бы наступило утро, улицы донесутся звуки пробуждающегося города. Сяд за стенкой включит свой магнитофон. Где-то хлопнет дверь. Зазвонит телефон...

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спрашивает Дато.

— Хорошо.

— Я принес тебе персики.

Тугой комок подкатывает к горлу, раздражает нёбо. Я нащупываю его руку и благодарно пожимаю.

— Спасибо... Ну зачем ты?..

— Теперь так будет всегда, всю жизнь. Я так решил. Должен же кто-то о тебе заботиться, глупышка. Я должен был сделать это раньше, но почему-то не решился. Не был уверен, что буду нужен тебе. Теперь все будет иначе. От тебя требуется только одно: выздороветь. Поняла? Ну молодец... Очистить тебе персик?

— Да, целых два...

Проклятая боль! Даже думать мешает. А ведь именно сейчас нужно все обмозговать, проанализировать. Откуда свалился на меня этот сегодняшний разговор? И почему я так несказанно обрадовалась этому? Какие-то нити уже давно связывали нас. Почти одинаковые судьбы обостряли взаимопонимание. Но было что-то еще. Я силюсь вспомнить, но боль мешает. Рождение каждой мысли мучительно. Значит, мой мозг болен. Надо сказать о своей догадке врачу. Но впереди целая ночь. Проклятье! Завтра суббота. Ко мне придет только фельдшерница. Впрочем, можно вызвать «скорую»... Что со мной? Мне действительно хуже, или это ночь так панически действует на меня?..

Яркий свет автомобильных фар полоснул по глазам. Мимо на бешеной скорости пронеслась машина, чуть не задев меня. За ней вторая, третья... Свет фар слепит меня. Я не могу укрыться от него, даже вдвое сложенный черный платок и зажмуренные глаза не спасают. Взгляд за закрытыми веками помимо моей воли провожает каждую машину. Глазницы мучительно болят. «Галлюцинация», — мелькнула догадка. И впервые за

все время моей болезни в сердце холодным ужом за-
полз страх.

Между тем безумный бег кадров несколько заме-
длился. Слепящий свет фар погас. Машины сменились
лицами. Они мелькали уже не так быстро, но разгля-
деть их я все же не успевала. Надо попробовать убрать
с глаз повязку и оглядеться... Шторы задернуты, в ком-
нате темно, но за окном уже зашумела проснувшаяся
улица. Скоро рассветет, и тогда этот ночной кошмар от-
ступит. Должен отступить...

Осторожные шаги раздались в соседней комнате.
Это Кетино — моя старшая племянница. Шаги при-
близились.

— Ты не спишь? — спрашивает Кетино вполголо-
са. — Как ты себя чувствуешь?

— Отдерни, пожалуйста, шторы.

Бледный свет проникает в спальню. Но я не уз-
наю свою комнату. Не узнаю Кетино. Нет, я абсолют-
но уверена, что не вставала с постели уже четыре дня.
Готова присягнуть, что слышу голос моей девочки, но...
не узнаю ничего. Розовые шторы на окне, темно-ко-
ричневые пятна мебели, белая кофточка на Кетино —
я узнаю цвета, но не узнаю лица, фигуры склонившей-
ся надо мной девушки, не узнаю обстановки и размер-
ов комнаты.

— Кетино, позвони, пожалуйста, папе и маме. Я,
кажется, схожу с ума. — Я силюсь улыбнуться, чтоб
не напугать племянницу.

...Гурама и Этери я тоже не узнаю, хотя отчетли-
во различаю их встревоженные голоса. Силуэт с блед-
но-сиреневым пятном («Очевидно, сорочка», — догады-
ваюсь я) — это мой брат. Что-то пестрое — это неве-
стка.

— У тебя новое платье, Этери?

— Да нет, ты его много раз видела.

Они куда-то звонят, с кем-то договариваются о чем-
то. Потом Этери и Кетино начинают одевать меня. Я
не сопротивляюсь. Сейчас придет машина, и меня от-
везут в больницу. Я уже понимаю, что это неизбежно.

Звонит телефон. В голосе Этери слезы:

— Хорошо, мы подождем тебя, Дато.

Это он. Хорошо, что успел. Если бы мы уехали



раньше, ему пришлось бы нас разыскивать... Все-таки все складывается удачно.

...Я чувствую, что меня несут по лестнице. Голова и лицо мои укутаны двумя платками, только нос на свободе. Свежий утренний воздух приятно щекочет ноздри. Машина едет медленно, но меня укачивает. Скорей бы...

Наконец-то я могу отдохнуть. Я лежу в палате нервного отделения. Вокруг меня силуэты в белом. Уже сделан срочный анализ крови, и я чувствую, что все встревожены. Меня снова дотошно расспрашивают. Я много говорю, я устала, но не могу остановиться. Впрочем, меня никто не перебивает. Больше всего меня волнует вопрос, не схожу ли я с ума. Галлюцинации сменяют друг друга. Врачи называют их миражами, но мне все равно. Главное, что они не дают мне покоя. Мешают сосредоточиться. О сне не может быть и речи. Мозг возбужден до предела. Голова болит еще сильнее, хотя раньше казалось, что боль достигла предела. Через каждые два часа мне делают уколы, но они лишь немного ослабляют боль, да и то ненадолго.

Этери остается со мной. Ей отводят койку рядом. Время от времени я открываю глаза, ищу взглядом ее пестрое платье и успокаиваюсь. Она необходима мне как воздух, моя преданная Этерка, моя дорогая сестричка. Гурам ввел ее в нашу семью восемнадцать лет назад, она родила ему трех девочек, и за все это время мы ни разу не повздорили с ней. Она всегда оказывается рядом в самую тяжелую для меня минуту. Дома ждет ее семья, домашние дела, работа, а она сидит у моей постели! Горячая волна признательности захлестывает меня.

— Этери, я люблю тебя. Если я выкарабкаюсь, я совершу ради тебя подвиг.

— Молчи, ты всегда делала для нас все возможное. — Она плачет. — Может быть, сообщить твоему сыну? Пусть приедет.

— Нет, у него сейчас сессия, да и не ближний это конец — Ленинград. Не надо его волновать. И без того столько людей из-за меня побросали свои дела... Скажи, чтоб мне сделали еще один укол, и ложись спать...

...Туманный рассвет растекаясь по потолку. Кажется, мне все же удалось немного вздремнуть. Этери помогает мне перевернуться на бок. И я отчетливо вижу сына. Он сидит за столом, обложенный книгами и конспектами, и что-то сосредоточенно пишет.

— Этери, я же просила не вызывать его!

— Кого?..

Неужели это тоже мираж? Первый мираж, который я не отличила от действительности. Бедный мой мозг! Вчера из осторожных разговоров врачей я все же уловила, что падение гемоглобина повлекло за собой кислородное голодание мозга. Я не совсем понимаю, что это такое, но подозреваю, что положение мое не из легких...

— Ну как она? Не спит? — слышу я шепот.

— Нет. Кажется, ей хуже, — тихо отвечает Этери.

Это пришел Дато. Как мне нужно увидеть его лицо и особенно выражение глаз! Мне это необходимо, так как я собираюсь сказать ему что-то очень важное. Он гладит меня по руке.

— Спасибо тебе за все, Дато. И прости, что я доставила тебе столько неприятностей. Я хочу, чтоб ты правильно меня понял. Я бесконечно благодарна тебе за те слова, но будем считать, что ты их не говорил. Со мной происходит что-то серьезное. И ни я, да и, наверное, никто не знает, чем все это кончится. А вдруг я выйду отсюда инвалидом, калекой?..

Он перебивает меня:

— Глупая, глупая, зачем ты говоришь мне это? Я искал тебя всю жизнь. И теперь, когда я наконец тебя нашел, ты хочешь бросить меня? Мне ничего от тебя не нужно, ты только живи, слышишь, живи, а все остальное за тебя буду делать я. Поняла, глупышка?

Горячая капля обжигает мне руку.

— Хорошо, я тебе обещаю, что буду жить. Клянусь. Все будет хорошо..

Визит врачей был недолгим. Мне сказали, что скоро я буду перевезена в другую больницу — на станцию переливания крови. Там сделают все возможное. Гурам поехал туда «выбивать» койки для меня и Этери. В палате тихо. Недавно мне сделали очередной болеутоляющий укол. Хорошо бы вздремнуть... Но мне надо

16135340
2022-11-10 13:33

уходить. Куда, я не знаю, но чувствую, что надо. Я с трудом поднимаюсь с постели. Обессиленное тело не слушается меня. Я цепляюсь за стены и иду. Никого нет, кто бы остановил меня. И вот я уже карабкаюсь куда-то вверх, обдирая руки и ноги об острые выступы скалы. Путь мой бесконечно долг и мучителен. Я по-прежнему ничего не различаю вокруг себя, но из последних сил взбираюсь куда-то. Вдруг подъем кончился и сразу стало очень светло. Я не могу разобрать, откуда идет этот свет. Может быть, взошло солнце? Вдруг я замечаю, что окружена большой группой силуэтов в белом.

— Зачем ты пришла сюда? — строго спрашивает один из них. Я не различаю его лица, но по голосу это мужчина лет сорока-пятидесяти. — Немедленно уходи отсюда!

— Не гоните меня, умоляю вас! Я с таким трудом добралась сюда.

— Но ты рано пришла, твой срок еще не настал. Уходи скорее!

— Но я не могу. — взмолилась я, — у меня нет сил. Пощадите.

— Я помогу тебе. Возьми вот эту свечу и уходи. — Он протягивает мне руку с маленьким мерцающим огоньком. Я нащупываю коротенький огарок и крепко сжимаю его пальцами.

— Но она быстро догорит, ведь она такая тоненькая и коротенькая!

— Поэтому тебе надо спешить. Ты должна вернуться, пока свеча не догорела.

Обратный путь оказался еще более тяжелым. Но времени на отдых не было. Пламя свечи уже согревало пальцы... Спуск неожиданно кончился, и я очутилась на широкой магистрали. Автомшины с ярко горящими фарами мчались на большой скорости, преграждая мне дорогу и ослепляя. Но я не имела права останавливаться. Пламя свечи обжигало пальцы... Не помню, как я добралась до своей палаты и обессиленная упала на постель...

Я услышала рыдания Этери, увидела белые силуэты, склонившиеся надо мной, и, продолжая до боли сжимать пальцы, только что державшие догоревший огарок свечи, облегченно выдохнула:

— Этери, как я долго до вас добиралась...

Я устала, язык с трудом поворачивается во рту, но я рассказываю о своем путешествии, рассказываю всем — близким, друзьям, врачам. Мне кажется, что свершилось что-то очень значительное, и я спешу поделиться своими впечатлениями.

Я не различаю их лиц, но слышу встревоженные, потрясенные голоса. Они подолгу шепчутся в коридоре то с Этери, то с братом. Я утомляюсь от визитов, но не могу запретить никому посещать меня. Не могу и не хочу. Мне необходимо это общение. От него становится легче. Мне приятно, что все эти люди, обремененные своими делами и заботами, находят возможность побыть со мной. Я люблю их всех, люблю весь мир, люблю жизнь. Кажется, я никогда не испытывала такой огромной, всеобъемлющей любви и благодарности ко всем. Что-то изменилось во мне. Я больше не помню никаких обид, я всем все простила перед лицом великого чуда, которое зовется жизнью и смертью. Это как причастие, когда тебе отпущены все грехи и ты сам отпустил их всем...

Меня снова долго одевают, потом везут по коридорам, спускают на лифте, переносят в машину. Я покорно терплю все, так как знаю, что на станции переливания крови, куда меня везут, врачи должны совершить чудо. Теперь я твердо знаю, что буду жить, во что бы то ни стало буду. Этого еще никто не знает, но я знаю, а это главное. Я твердо уверена, что еду сейчас навстречу жизни...

И вот уже свежие простыни приятно холодят исколотое, изболевшееся тело. Незнакомые, но ласковые и заботливые голоса врачей успокаивают меня. Я пытаюсь представить себе их лица. У заведующего отделением Тариэла Платоновича приятный низкий голос.

— Тариэл Платонович, вы красивый? — вдруг спрашиваю я.

— Я? Очень красивый, — смеется он и ласково гладит меня по руке.

— Я скоро поправлюсь, правда? Мне так хочется всех вас увидеть. И вас, и доктора Нинико. Она такая добрая и внимательная.

— Конечно, поправишься, какой может быть разговор.

435040
312 02 111033

Я верю ему. Верю его словам, хотя обострившийся слух улавливает тревожные нотки в его голосе. Я верю, потому что хочу жить сейчас, как никогда раньше. Мне всегда говорили, что я жизнелюбивый человек. Наверное, это так и было. Но сейчас мое жизнелюбие удесятерилось. Я буду жить, потому что мне необходимо отплатить всем, кто сегодня окружает меня, за их заботу, их тепло и любовь...

Томительно долго тянутся дни и ночи, наполненные болью, мучительными миражами, пугающей неспособностью двигаться и видеть. Я по-прежнему различаю только цвета и отдельные детали, но создать цельный образ не могу. И это страшно. Страшнее, чем боль. Приступы одуряющего головокружения периодически повторяются. И тогда моя Этери сжимает меня в своих объятиях. Я чувствую тепло ее полного, такого мягкого и родного тела и успокаиваюсь.

Мне делают много уколов, переливают кровь. Вернее, не кровь, а чистые эритроциты. Моя врач Нинико объясняет, что я одна из первых, кому перелили эти чистые эритроциты. Это новое слово в медицине. Я узнаю от нее, что сотни, тысячи доноров сдают свою кровь, чтобы спасти жизнь мне и многим моим друзьям по несчастью. И я благословляю их, этих неизвестных мне мужчин и женщин, которые спасают меня. Смогу ли я когда-нибудь низко поклониться им?

Я потеряла счет дням и ночам. Время перестало существовать. Осталось только ощущение непреходящей боли во всем теле. Болит все. И голова, и распухшие и почерневшие от переливаний крови руки, и затвердевшие от бесконечных уколов мышцы. Меня знобит, потом бросает в жар. Температура доходит до сорока градусов с лишним.

Консилиум врачей назначает новые лекарства. Значит, будут снова колоть. Но на моем теле уже не осталось места, прикосновение к которому не причинило бы мне страданий. Потом я слышу зловещее слово: абсцесс. Мой организм потерял способность усваивать лекарства. И теперь вся эта спасительная обойма, выпущенная в меня, превратилась в окаменевшие, пылающие огнем опухоли. Огонь пожирает меня. С каждым днем я чувствую, что таю, как восковая свеча.

— Надо резать, — слышу я беспощадный приговор хирурга.

И тогда я решаюсь. Я прошу всех оставить нас с заведующим отделением наедине. Я прошу его сесть ко мне поближе, нащупываю его руку и говорю:

— Тариэл Платонович! Вы столько дней не знаете из-за меня ни сна, ни покоя. Вы делаете все, чтоб помочь мне выкарабкаться. Спасибо вам, большое спасибо. Я вправе думать, что моя жизнь вам дорога, как жизнь каждого вашего больного. И именно поэтому я хочу попросить вас пойти ради меня на риск. Я обещаю вам, что одолею болезнь. Только не нужно больше созывать консилиумы, не нужно никаких уколов. Я хочу справиться с этой гадостью сама. До сих пор вы не слышали от меня ни одного стога, ни одной жалобы. И никогда не услышите. Я клянусь вам. Только отмените все назначения и дайте мне отдохнуть. Я выкарабкаюсь, обязательно выкарабкаюсь. Вы мне верите, Тариэл Платонович?

— Верю, моя девочка, конечно, верю. Все будет так, как ты хочешь. Считай, что мы договорились. Только у меня к тебе одна просьба. Давай мы твои абсцессы выжжем кварцем. Потерпишь?

— Потерплю, Тариэл Платонович!

И снова потянулись дни, похожие на сплошную пытку. Каждая складка раскаленной, как жерло печи, постели причиняла мучительную боль. Из-за ожогов я вынуждена все время лежать на одном боку. Но я терплю. Нет, я не молчу. Я даже пытаюсь шутить и рассказывать анекдоты, чем вызываю изумление врачей и навещающих меня близких...

Сколько дней я лежу? Месяц, полтора, два? Кажется, полтора. Надо спросить у Этери, какое сегодня число. Она вышла из палаты, и я лежу одна. Наверное, пошла звонить домой. Бедная моя Этери! Она бросила из-за меня свою семью, детей и безропотно, как заправская сиделка, ухаживает за мной. Смогла ли бы я делать все то, что приходится делать ей? Ведь я совсем беспомощна, как новорожденный младенец. И она возится со мной, как со своим ребенком, моя Этери, мой добрый, милый ангел...

Дверь скрипнула и пропустила в палату две фигуры. Одна из них приблизилась ко мне и, убедившись, что я не сплю, спросила:

— Вы не скажете, где лежит такая-то (она назвала мое имя). Нам сказали, что она в третьей палате.

Это была моя подруга. Она уезжала из города и вот теперь, значит, вернулась. Она не узнала меня. Я с ужасом поняла, что сильно изменилась.

— Это я...

Минутное замешательство, сбивчивые объяснения, возгласы, ссылки на плохое освещение... Что меня, собственно, так испугало? Этого следовало ожидать. Рано или поздно, я все равно узнала бы о разительной перемене. Простая случайность — отлучка Этери — помогла узнать мне об этом сегодня...

— Дато, ты все еще хочешь, чтоб мы были вместе? Ты не передумал?

— Конечно, нет. С чего это вдруг?

— Но ведь я так переменилась. Я, наверное, очень плохо выгляжу.

— Ты самая красивая. И я тебя очень люблю. А главное, ты молодец. Я стал уважать тебя еще больше.

— За что, Дато?

— Ты оказалась очень мужественным человеком. Я ничего подобного в жизни не видел.

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно.

— Тогда я тебе обещаю, что завтра или послезавтра у меня спадет температура. Веришь?

— Верю. Я вообще в тебя верю.

— И ты веришь, что мы будем счастливы?

— Да. Иначе мне незачем жить...

К утру температура начала спадать. А еще через несколько дней поползла вверх кривая гемоглобина. 39... 42... 44... 50...

И вот наступил день, когда я смогла рассмотреть свою палату, в которой провела столько тяжелых дней и ночей. Увидела мою Этери, ее доброе милое лицо, ее усталые глаза с покрасневшими веками и предательскую слезинку, скатившуюся по щеке. А потом в

палату вошел незнакомый мужчина в белом халате и голосом Тариэла Платоновича спросил:

— Ну как дела, героиня?

И столько было в его глазах неподдельной радости и доброты, что он и в самом деле показался мне писанным красавцем. Потом прибежала Нинико, другие врачи и медсестры. Я узнавала их по ставшим такими родными голосам и готова была разрыдаться от счастья. Как оказывается, красив человек — это удивительнейшее создание природы! Как сказочно прекрасны эти пушистые сосны за окном, и хмурое зимнее небо, и нахохлившийся воробей на ветке! Как несказанно чудесен весь мир!

Теперь мне предстоит открывать его заново. Теперь каждый день будет ознаменован новыми открытиями и новыми победами. Сначала я буду учиться сидеть, лихорадочно вцепившись в мягкие плечи Этери. Потом, подавляя подступающую тошноту и головокружение, осторожно опускаться на подушки. Это будет длиться долго, месяцы. Но я буду настойчива.

Затем я сделаю первый шаг, потом второй, третий. Потом я научусь передвигаться сама, держась за спинку стула. Я выйду в коридор и, держась за стенку, пройду до кабинета врача. Я наберу номер телефона и услышу дорогой мне голос Дато. От волнения я не смогу говорить, а когда наконец произнесу: — Это я! — он будет долго молчать, и я пойму, что он старается проглотить подступивший к горлу комок. Потом наступит момент прощания с больницей, ставшей уже моим домом. Отныне я буду приходить сюда регулярно, чтобы делать контрольные анализы крови. Я буду приходить сюда сама, без посторонней помощи. И меня будут встречать здесь как родную эти люди в белых халатах, ставшие мне родными.

За тополями

Тополя были выше гор, а за ними
Старых стен крепостных молчанье.
Угрожал им ветер,
Южный ветер,
Заполняя окрестности шумом.
Тополя были выше гор, а за ними
Дождь потоками падал в реку.
Приучал слушать,
Приучал слушать,
Наизусть затвердить глазами окрестность.
Тополя выше гор, а за ними
В снегу, на крутых плечах мельницы
Каждый день сидели белые птицы
И мигали полными слез глазами.
Тополя выше гор, а за ними
В маленьком доме с красной крышей
из черепицы
Жил человек,
Старый человек,
И рассказывал волшебные сказки.

Пиросмани

Художник стоял пораженный,
Удивленным казался олень,
Кто-то третий шагал по траве зеленой.

В небесах пылал полумесяц,
Очевидец творческой муки,
В речке усталое тело его отражалось.

В небе тело его растворялось
И сливалось с утренней дымкой,
Звезд осколки в зеленой траве валялись.
Художник стоял пораженный,
Удивленным казался олень.

Листопад



Стою один,
И листопад приходит,
Вдали Афонский монастырь,
И словно с неба молния, речушка
Ударяет в лес.

Стою один,
Вдали белеет облако, как дым,
И ветер, обездоленная птица,
Дрожит
В осеннем брошенном гнезде.

Стою один,
И листопад приходит.

Перевод В. КУПРИЯНОВА

Рица

Что может быть чище,
божественней в мире тебя?

И есть ли еще в этой жизни такая краса,
чтоб мог я, увидев,
отдать свое сердце навеки —
как будто звезду! —
в голубые ладони ее...

Роскошных волос золотая ликует оправа,
а в юных глазах добродетели светит слеза.
Сестра милосердия,
скажи, не таясь от поэта, —
что может быть чище,
божественней в мире тебя?!

* * *

Был полдень...
Знойно женщина смотрела,
косой махая возле дома в такт.
На доме старом лесенка висела,
держась двумя руками за чердак.

Там цвел каштан, объятый вновь любовью,
цвели там розы, лавры там цвели.
Там паруса, изогнутые бровью,
цвели — почти невидимы с земли.



Дышало море, порт сверкал под солнцем —
там влажно тень дрожала среди листвы.
Воспоминаний ветвь дремала сонно
в коросте зноя, в иглах синевы.

Был полдень...
Знойно женщина смотрела,
косой махая возле дома в такт.
На доме старом лесенка висела,
держась двумя руками за чердак.

Петергоф

Дорога. И осень. И ели.
И контуры тают дворцов.
И бледное солнце на еле
заметных разводах торцов.

Дорога. Озер голубые
разводы, и в снах старины
горят на березах живые
отметины солнца, луны.

Дорога. По каменной ленте —
долговязого ветра шаги.
И длинные тени столетий
по капле пьют синь из реки...

Гамлет

Снимаю маску! Коня, скорей!
Г. Табидзе

Снимаю маску!..
Где мой конь лихой?
Лишь миг один... и—только посвист в поле!..
И я, в колодец суеты земной

взглянув, —
уввижу отраженье боли.



Снимаю маску. Хватит... Я уж сыт.
Ведет тропа к знакомому балкону.
Но чу!...
За мною кто-то вновь следит
(да-да, давно и пристально следит!).
Летит комета зла по небосклону...

О, здесь готовят тайно гибель мне —
готовят яд словес тончайшей вязи,
и имя, всей известное стране,
как тряпку — тащат по камням и грязи.

Снимаю маску!.. Суд, восторжествуй, —
обет, исполнись, пред могилой данный.
Коня, скорей!..
Целуй меня, целуй,
мрак ледяной ночных летящих струй...
Я здесь! —

дитя,
возлюбленный,
принц датский.

I.

Г. Леонидзе

Над бессмертной землею,
как Вечность — плыла тишина...
В Патардзеули серебряно ивы горели,
стояла в Кахетии
кахетинская ночь и луна.
Звезды
ночей половецких —
венчальную пели.

Там в три яруса яхонт
небес
над невестой пылал,
розовой влагой там ложе сестрицы кропили...
Рассвет там морозный
белоснежною птицей вплывал
в окна,
которые, видно, закрыть позабыли.

Над бессмертной землею,
как Вечность — плыла тишина...
Звезды
ночей половецких —
венчальную пели.
Стояла в Кахетии
кахетинская ночь и луна,
в Патардзеули серебряно ивы горели.

II.

Древнейшая песня
на крыльях восторга плыла
и,
восходя к небесам,
обнималась с луною.
Где россыпью звезд переполнена речка
была, —
там ветер,
подвыпив,
резвился с нарядной волною.

Клонились к востоку
в царапинах звезд
камыши,
ветер скользил
с разрисованных перьев фазаньих...
Потом прекрасный,
царство — гордой души,
шел с древнею песней
юной землей
Алазани.

* * *

Лил дождь и лил... И высоко в горах
мы шли, дорогу темную ругали.
И шарил дождик в желтых волосах
своими серыми руками.

Летели струи теплого дождя —
как ветки вишни, струи те дрожали,
и пьяные, как ветер, тополя —
по лужам шлепая, шагали.

Лил дождь и лил... и теплая вода
вовсю гремела —
как вчера,
как прежде.

И облаков летучая гряда
в осенней высилась одежде.

А гром гремел и вздрагивала ты.
И липа в поле горестно стояла.
Лил дождь и лил, как будто с высоты —
стена прозрачная стекала.

А дождь все лил... И высоко в горах
мы шли, дорогу скользкую ругали.
И шарил дождик в желтых волосах
своими серыми руками.

* * *

Пылая сияньем над пиками гор,
весенняя ночь и светла и легка.
И лунный свисает над речкой узор —
наряд этот майский уносит река.

И раны врачаю печальнейших лет,
родимого неба горит потолок.
И плещет крылом, излучающим свет,
у Магароскари¹ Арагви приток...

Григол Орбелиани в Риге

Восток здесь и Запад —
друг другу внимают...
И солнце с Двиною прощается здесь.

В готической роще,
среди лунной полуды,
над Лунной сонатой
здесь ветра восторг.

В снегу здесь январском,
царь-воин и плотник,

¹ Магароскари — село.

песочного цвета —
пришпорил коня.

Гремят тут кольчуги,
мерцают тут копья
и рыцарей в латах —
здесь слышится шаг...

И гулкое слово,
с губ предка слетая, —

по жилам струится,
как тост величавый,

как тост величавый —
в честь Жизни самой.

Перевод Н. ГОРОХОВА

НА ПОВОРОТЕ

П о в е с т ь

1. ГОВОРЯТ, БЫЛИ КОГДА-ТО ПАПОРОТНИКИ ВЕЛИЧИНОЙ С ДЕРЕВО

Из окна закуской, где я сидел, было видно море. Пустынное, — ни корабля, ни хотя бы случайной лодочки. Раскинулось до самого горизонта, серое, неподвижное. И небо над ним тоже серое. В огромной пустоте мира — лишь глухой шум обленившихся волн. И здесь, на берегу, тоже все застыло, словно злой дух заколдовал округу. Я выглянул в окно. В неподвижном воздухе разлиты запахи увядающих трав и пожелтевшей листвы, но даже охватывающая сердце сладкая осенняя грусть не может заставить меня полностью отвлечься от шума и суеты, которые царят в закуской.

В закуской жизнь действительно была ключом. Ее заполнили какие-то люди, которых официанты, таинственно понизив голос, называли «гостями». Оставив свои запыленные машины под ветвистой липой, которую в округе когда-то считали священной и к которой приходили молиться, «гости» шумно ввалились в закускую. Составили три или четыре стола и удобно поместились в самом центре зала. Румянощекие, пухлые — все они были на одно лицо, словно их одна мать родила. По измятым нейлоновым рубашкам (видно, ехали, лениво откинувшись на спинки сидений), по запыленным черным брюкам можно было заключить, что путь они совершили не близкий. «Гости» заполнили закускую не только собой, своими телами, столами и стульями, но и неумолчным гулом разговоров, похатываниями и хозяйским жирным смехом.

И в кухне сейчас тоже кипела жизнь: доносился непрерывный звон посуды, наплывал удушливый запах жареного мяса и специй.

Я сидел как бы незамеченным, никто не считал даже нужным хотя бы просто подойти ко мне. Пока это меня устраивало. Время позволяло, и я рад был посидеть-поразмышлять — знакомые места и запахи будили воспоминания. И хоть воспоминания эти разбавлены были крепкой порцией горечи, я сейчас походил на человека, вернувшегося в свой опустевший двор, где заросли травой следы детства, вернувшегося, чтобы отворить двери и окна своего дома, истосковавшегося по свету.

Я закурил. Сигареты были местного производства, дешевка, как говорят курильщики, из табака «крупного помола», но довольно крепкие, с кисловатым привкусом. Все ж и они пахли знакомо. («И дым отечества нам сладок и приятен»...)

Берег в этих местах удивительный, его никогда не спутаешь с другим, не забудешь. Белоногие скалы, вбежавшие по щиколотку в пенистую ласковую волну, как бы приподняли ее над морем, словно желая подразнить небо ее голубой красотой. А на лужайке, где теперь стоит закусочная, испокон веку струилась, волнами ходила под ветерком нетронутая зеленая трава. И, наверное, всегда напоминала наивную мечту о рае.

Этот благодатный кусочек земли от века был неприкасаем — даже для плуга. И сколько помнят себя живущие здесь люди, всегда эта лужайка с липой посерединке считалась священной.

Завет пращуров наших... Кто сосчитает, сколько раз собирались здесь люди! Посланцы каждого рода, всех, какие только насчитывались в окрестных селах, приходили к священной липе (оказывается, небесам отсюда слышнее молитвы, возносимые с земли). Просто, без всякого вступления обратиться к самому богу нельзя ни в коем случае: надо принести жертву. Люди об этом хорошо знали из своей земной жизни. Потому они и не скупилась: забивали целого быка, прожигая траву дымящейся кровью. А затем, нанизав на ореховую палку только что сваренные бычьи печень и сердце, простирали руки к Нему... Обнажив головы под пронзительным морским ветром, и стар и млад устремля-

ли свои взоры к небу, то бездонно-синему, то низкому, хмурому, и просили:

Отпущения земных грехов...

Чтобы настали хорошие времена...

Чтобы не дал господь исполниться желаниям врага...

Счастья, если оно только существует...

Иногда больше ведренных дней..

Чаще обильного дождя...:

Здоровья...

И — чтобы пожалел... смилостивился...

Вообще-то свежая, только что сваренная печенька — это действительно пища богов! Я бы и сам не прочь отведать кусочек. Кстати, я слышал, что в этой закуской забивают каждый день какую-нибудь живность. Так что если раньше жертвоприношение совершалось здесь от силы два раза в год, то сейчас оно случается ежедневно.

Чудеса прогресса!

Закусочную на этой поляне поставили уже после войны.

Дело было так.

Дорогу, которая тянулась здесь вдоль моря по узенькой полоске берега, прижимаясь к скалам, нависавшим над водой, однажды осенью, в сильный шторм, смыло — порядочного куска как не бывало. Временно, конечно, вышли из положения: кое-как соединили уцелевшие концы, но по-настоящему прокладывать дорогу надо было уже выше. Существовало два проекта: один мой, другой — главного инженера Ушосдора. Я предлагал провести дорогу по ту сторону скал. Даже специалисту было ясно, что иного решения здесь и не нужно искать: во-первых, дорогу в этом случае уже никогда, или, по крайней мере, очень долгое время не пришлось бы перемещать снова, во-вторых, она значительно спрямлялась — путь сокращался на десяток километров. Однако главный инженер неожиданно предложил совершенно иной проект. По его проекту необходимо было прорубить новый участок дороги, взамен размытого, здесь же, в скалах — кусок не более километра. Эту работу, разумеется, можно было закончить скорее, но все же план, по-моему, был невыгоден — ни

с какой точки зрения. Все равно ведь раньше или позже дорогу придется перенести за хребет — с этим никто не спорил. Вдобавок ко всему, в тех местах, где пробитый в скалах отрезок пути соединялся с уцелевшими концами дороги, образовывались такие повороты, что надо было каждый день ожидать аварии.

Все же начальство есть начальство — главный инженер настоял на своем. Я и до сих пор не понимаю, из каких соображений он это сделал, почему строил явно на время, на день, а не навсегда — не по принципу ли «после меня хоть потоп»?

Одним словом, я спорил, ходил, доказывал, но мне объяснили, что я еще молодой, неопытный, должен пока слушаться старших, учиться...

Начались работы. И мне, как участковому инженеру, пришлось подчиниться. Когда дорога была прорублена, между нею и морем осталась священная лужайка и еще с десятков дворов, ютившихся на склонах приморских скал.

Когда работы подходили уже к концу, женился один из строителей, честный, прямой, всеми уважаемый парень, бывший фронтовик. Мы всей бригадой решили поселить его на этой прекрасной лужайке. Выбрали место для очага — подальше от дороги. А священная липа пришлась прямо на середину его будущего двора. Пожелав счастья и процветания дому, который должен был родиться здесь, мы вбили первый кол...

На другой день появился на поляне легион стариков, а слово их имело вес и по ту и по эту сторону скал. Пришли они, опираясь на тяжелые посохи, в черкесках с полными газырями — как на торжество какое, ни дать ни взять — парламентареры от господ бога. Ветер шевелил длинные концы их башлыков, перекинутые через плечи. Остановились у того самого места, что предназначалось для очага, будто по команде скинули башлыки, обнажили гладкие свои черепа и, как в моленные дни, обратили взоры к небу. Жмурясь от солнца, стали умолять того, кто наверху, всеведующего — умоляли простить их, грешных. Потом вернулись на землю и обратились к нам: «Не вздумайте превратить в простой домашний очаг нашу святыню! Не ввергайте себя и нас в страшный грех!».

Мы начали было протестовать, объясняться... Но нас остановил наш же товарищ, тот самый, для которого облюбовали мы это место. «Разве мало земли?» — сказал он, — свет, что ли, клином сошелся на этой лужайке! И потом — мне ведь жить здесь и работать, рядом с ними...»

По нездоровью не мог он больше строить с нами, оставался здесь ответственным за новый, только что проложенный участок дороги.

Старики, услышав эти его слова, опять обнажили головы, задрали лица к небу, смиренно попросили всевышнего пощадить новосела, не гневаться на него больше и с тем ушли.

Через неделю дорога была подготовлена и открыта для движения. Первые грузовики марки «Мерседес», оставшиеся еще с войны, пошли по ней. Пойти-то, конечно, пошли, да на полпути задержались, задержались — и завернули сюда, на святую лужайку. С них сгрузили стройматериалы — все, что необходимо было, чтобы соорудить вот эту закусочную. И через несколько дней на лужайке выросло скромное невысокое строение, пахнувшее пока смолой и свежей краской. Опять явился тот же легион стариков, все так же опирались они о посохи, в тех же были черкесках с газырями, с развевающимися по ветру концами башлыков — все чин чинном. А в закусочной меж тем уже пахло заманчиво чем-то неопишимо вкусным, до того вкусным, что аж слюнки потекли у стариков. Не успели они опомниться, как вырос перед ними невысокого роста человек; самое заметное в нем было — два ряда крупных отличных зубов, их постоянно видно было, оттого что губы у человека не сходились, и казалось, что он смеется не переставая... Еще бросались в глаза очень длинные руки — их будто оттягивали книзу два тяжелых кулака — похоже было, словно боксер вышел на ринг. Старики никогда не видели этого человека и не заметили даже, с какой стороны он появился. Ведало об этом только лишь управление местного курорторга. Человек же, с такой готовностью встретивший стариков, явно хорошо знал, с кем имеет дело.

— Отлично понимаю ваше беспокойство, — начал он, вплотную придвинувшись к старикам. И все они, как по команде, посмотрели на него, говорившего, но

так и не могли угадать, то ли рад он им, то ли огорчен. Сами понимаете, если у человека всегда обнажены зубы — не так-то просто определить, улыбается он или нет.

— Меня все зовут Святой, — представился он.

Старики молча переглянулись.

— Вы, достопочтенные долгожители, должны знать, что я пришел сюда, на вашу священную поляну, не просто так, а чтобы быть полезным вам.

Старики посмотрели друг на друга и не двинулись с места, так и стояли, пока человек не кончил говорить.

— Я не гордый, как всякий святой... Да не минет меня ваше благословение, достопочтенные, а вас — мое! — воскликнул он и указал на стол, накрытый уже и приготовленный. Ах, что за вкусные вещи там были! А запах, запах! И как-то так получилось, что ноги сами понесли стариков к столу; не заставив себя упрашивать, они тут же и расселись, дружно, как по команде.

Кто теперь вспомнит, поверили они сказанному или нет — одно сохранилось в памяти: как они с удовольствием почти целый день то и дело задирали лицо к небу. Увидеть само небо им мешала крыша закусочной, зато каждый раз видели они чистое дно стакана: ах, что за вино было! Просто восхитительное!

Я сижу себе тихонько, не подаю голоса: «хозяева» должны в конце концов сами меня заметить. Так что потерплю еще немного. Тем более, что «гостям» уже подают закуску, такую легкую! Молодой сулугуни, особым образом приготовленные внутренности барашка, кур в ореховой подливке, разнообразные соленья, всяческую зелень...

Я уже устал смотреть на море. Официантка меж тем еще ни разу не повернулась ко мне лицом. А мне хотелось просто взглянуть, что она за человек: когда-то я здесь всех знал, и они знали меня. Конечно, официантку могли прислать со стороны, как и заведующего. Скорее всего, так оно и получилось: будь она здешней, сразу бы узнала меня, пять лет не такой уж большой срок...

— Прошу вас! — окликнул я ее вдруг неожиданно для себя.

— Сейчас... — бросила она, нехотя взглянув на меня, и удалилась на кухню.

— Вот черт... Неужели?! — пробормотал я. — Быть не может...

Не хотелось, конечно, верить своим глазам. Мада го не поделаешь: это была действительно она — Мада. Иной человек, особенно не знавший ее пятью годами раньше, мог бы, конечно, сказать: мол, ну и что здесь особенного, ну, пополнила женщина... Ведь в закуской работает, не где-нибудь — понятное дело... А ведь не так давно она была худенькой и стройной. Зыркает глазищами, хлопает густейшими ресницами... Все мы без исключения были влюблены в нее, в нашу Маду, но сама она держалась со всеми одинаково, — даст на себя посмотреть и сама посмотрит, обожжет взглядом, — и вдруг прыг — и исчезла, и поминай как звали... Мы тогда, помню, все ходили и улыбались неизвестно чему. Наверно, вспоминали такие вот мгновения.

Теперь же Мада вместе со Святым бегала из кухни к «гостям» и обратно. Наконец, подав им горячее, она подошла ко мне. Я вдруг испугался, что она узнает меня. Узнать она, похоже, узнала, но виду не показала... или это не имело значения для нее. Я уже жалел, что зашел сюда, жалел, что дождался ее... Однако лицо ее оставалось бесстрастным, чувств никаких на нем не обозначилось — ну и слава богу. С блокнотиком и тупым карандашом, которые она держала как-то всей пятерней, бывшая прелестница Мада сейчас безразлично ждала моих слов. Жирные веки сузили когда-то огромные горящие глаза, и были они теперь погасшими и довольными.

— Если можно, печенку... просто вареную печенку, — сказал я, не поднимая глаз на Маду. — Если осталось что-нибудь от бога... — Надо же, я даже пошутить попробовал, видно, в память былых времен.

— Есть вчерашняя.

— А сегодняшняя?..

— Уже гостям подали, не могу же отнять у них...

— А курятина в ореховой подливе?

— Этого в меню нет, специально для гостей готовили... — В голосе ее послышалось нетерпеливое раздражение.

— Хорошо, тогда вчерашнюю, только, пожалуйста, не холодную.

— Еще?

— Бутылку вина.

Она молча повернулась и ушла.

Печенку Мада подала все же холодную. Была она жесткой, сухой и безвкусной. Я промолчал, мне уже было все равно, и так кусок не лез в горло. Пожевал немного, запил стаканом вина и закурил.

Гости, насытившись и подвыпив, начали говорить громко, перебивая друг друга. Попытались петь, но с песней у них как-то не получалось. Тогда они взялись произносить тосты.

Святой все время был на ногах, крутился, вертелся у стола. Время от времени гости предлагали ему выпить. Поднимая стакан, он длинными своими руками производил жесты, явно означавшие: «Умереть мне вместо вас!». Вино проглатывал залпом, как водку, и каждый раз вытирал свои подстриженные усы тыльной стороной тяжелой ладони.

Я мог уже идти, но почему-то все сидел, курил и глядел на море, — впрочем, иногда невольно оборачивался в сторону шумевших гостей. А Маду решил не замечать. Она все бегала из кухни к столу гостей, старалась... И как много они едят... Выпьют два-три стакана вина и жадно набрасываются на новую партию блюд. Одновременно вдруг все умолкают и молча жуют, жуют, жуют...

Мне надоело смотреть на море, и я повернулся так, чтобы через окно напротив мне была бы видна священная липа. Не вся, конечно, — лишь изрытый морщинами, старый ее ствол. Отсюда не разглядеть, но я знаю, что с восточной стороны на дереве сохранилось множество черных отметин, — их выжигали свечи в дни моленья.

Помню, как-то давно, еще мальчишкой гостил я в деревне недалеко отсюда, у одной из своих теток. Случилась тогда затяжная засуха. И попал я на эту поляну как раз в дни моленья о дожде. Внимание мое привлекли длинные тонкие свечи янтарного цвета. Вот моленье закончилось, шумное, темпераментное, люди подошли к свечам — и каждой коснулась зажженная спичка... Свечи горели, тихонько потрескивая. Сердцевидные язычки пламени сперва гнулись, сжимались от



каждого легкого дуновения, но потом сделались более яркими, устойчивыми и быстрее закапал тающий воск.

Люди, зажегшие огоньки на лице, ушли к столам — там разворачивалось действие не менее шумное и темпераментное, чем моления, и свечи уже никому больше не были нужны. Один лишь я, приезжий мальчишка, забыв обо всем, восхищенно смотрел на это тихое янтарное пламя. Там разгорается трапеза, там шум и галдеж подвыпивших и изнывающих от зноя людей. А здесь тихо тают свечи... И наконец каждая прожгла **кору липы, оставив след величиной в пяточок**, и погасла, испустив легкие, как дуновение, колечки дыма. И мне показалось, что вокруг стало темно и скучно, хотя в небе ярко светило солнце.

...Я опять посмотрел на море. Сквозь серые сплошные тучи пробилось солнце, окрасило их в оранжевый цвет. И море теперь переливалось золотом, глядело приветливо.

«Гости» уже были более чем навеселе, уже их голоса не умещались в тесной закуской. И без того пухлые щеки их надулись, как мячи, и лоснились. В это время, вынырнув откуда-то, к столу быстро подошел Святой, наклонившись, что-то шепнул им, прыснул смехом и опять куда-то исчез. «Гости» сразу оживились и, не переставая жевать, что-то негромко говорили между собой, посмеиваясь. Через несколько минут опять появился Святой, ведя кого-то под руку. Я взглянул: с ним был красивый, пока еще крепкий старик — аккуратно закрученные усы, широкополая войлочная шляпа, какие носят курортники. В руке он держал посох с металлическим наконечником. Подойдя к гостям, он снял шляпу, поклонился и торжественно произнес:

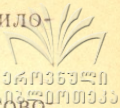
— Добро пожаловать! Да сопутствует вам всегда хорошее!

— О-о-о!.. — дружно заорали за столом. — Идите, идите к нам, сюда! — Они размахивали руками, звали его к себе. Задвигались, потеснились и, поставив еще стул, усадили старика.

— Этого человека почитает вся округа. — начал Святой, когда «гости» немного поутихли. — Вот на этом самом священном месте не раз своею молитвой,

угодной небу, для своих ближних добивался он милости божьей. Имя его Сократ!

Сократ, привстав, поклонился всей компании.



— Давным-давно, — продолжал Святой, — говорят, жил еще один человек с таким же именем. И столько, представляете, знал он всякого про людей и про наш мир, что знание это едва умещалось в его черепе. Но тот Сократ находится сейчас, так сказать, по другую сторону жизни; а на этой, на нашей стороне, — вот он, наш достопочтенный... сидит рядом с нами, сами видите, своими глазами. Так пусть всегда ваши глаза видят только приятное...

— О-о-о-о!.. — опять заорали за столом.

— Официантка, официантка! --- позвали затем они все разом.

Подбежала Мада.

— Принеси нашему Сократу чего-нибудь, да поживее...

Бедный Сократ! Он не так уже и постарел, но жалко его видеть, этого знаменитого охотника, таким приземленным, что ли... Стальной наконечник того самого посоха, что он держит сейчас в руках, он вонзал в лед самых недоступных ледников, видевших лишь туманы да облака.

Однажды, когда поправляли здесь размытую ливнем дорогу, я познакомился с ним. Я ему чем-то понравился, и он с удовольствием рассказывал мне о своих приключениях во время охоты. Хорошо запомнилось одно из них. Как-то он отправился в горы с группой охотников. Он звал всех в ему одному ведомые места, но старшие настояли на своем и повели группу в противоположную сторону. С ним не согласились из-за какого-то предрассудка, я уже и не помню, какого именно. Что ж ему оставалось делать — старшие есть старшие, да еще в горах, где законы особенно строги — он и подчинился. Однако Ажвейпшаа¹ отказал им в удаче. Тогда Сократ не выдержал, сказал старшим, что они не знают, где искать туров в это время. Старшие в ответ обвинили его — мол, это он посеял раздор, Ажвейпшаа разгневался и лишил их удачи. У Сократа выиграла молодая кровь, до чертиков захотелось ему вдруг доказать всем, что он

¹ Ажвейпшаа — божество охоты у абхазов.

плюет на их брюзжание и вообще на все их предрас- судки. И на глазах у всех он скинул одежду и влез в ледяную, черную воду озера, которое считалось священ- ным.

Не то что купаться, мизинцем коснуться святой во- ды считалось кощунством, люди верили, что за это все- вышний мгновенно испепелит нечестивца молнией. И правда, только влез Сократ в воду, как тут же грянул гром. Он, конечно, удивился — и небо чистое, ни об- лачка... Откуда же, как не с неба взяться грому и мол- нии? Не догадайся он вовремя, откуда, плохо могло все это кончиться. Выскочил он скорее из воды, схватил свое ружье. «Тебя мы не тронем, но прикончим того беса, ко- торый вселился в тебя, — кричали незадачливые охотни- ки. — Если ты с ним не заодно, сразу воскреснешь!..»

«Попробуйте только, горе-охотнички!» — Он в свою очередь наставил на них ружье. Старшие хорошо знали, что он-то не промахнется, так что пришлось им умерить свой пыл. Однако после этого случая долго еще обходи- ли его как богохульника.

Пока я вспоминал все это, Сократа заставили «за- платить штраф»: ему пришлось подряд выпить полдю- жины стаканов — за те тосты, которые поднимали до не- го. Уже разгоряченный вином старик подозвал Свято- го и, блаженно улыбаясь, шепнул ему что-то на ухо. Святой в свою очередь шепнул Маде, та ушла и явилась с огромным рогом. Наполнив рог вином, Святой передал его поднявшемуся на ноги Сократу. Тот говорил долго и длинно — желая здоровья «гостям», призывая себе на помощь всех святых и ангелов, каких только знал, чтобы они помогли, исполнили, провели, так сказать, в жизнь его пожелания. Закончив первую, торжественную часть своего тоста, он приступил ко второй — осушению рога, и гости восхищенно завопили:

— Уа-о-о, о-о-о-о, хау-ро-о-о!

Не переводя духа, старик осушил рог и вернул Свя- тому.

— Сократ! Сократ! Сократ! — раздавалось среди не- вообразимого гвалта.

— Спасибо, спасибо, сынки, что уважили меня, ста- рика! Пусть все это обернется для вас милостью все- вышнего!

Наконец он опустил на стул.

Я видел, как он привычно орудовал своим охотничьим ножом. Нож, как и хозяин, был старый, со стертым узким лезвием. Этим ножом он свеживал туши наструганных его меткими выстрелами туров, а потом, готовя угощение, отрезал красивыми тонкими ломтиками самые почетные куски, которые обычно предназначаются охотникам.

Но здесь, в закуской, ему ничего существенного не досталось, все лучшее было уже съедено «гостями», а ему принесли какое-то дежурное блюдо, и своим старым ножом он по привычке кромсал всего лишь жалкие кусочки мяса, лежавшие в каком-то вчерашнем соусе.

Наконец я позвал официантку. Мне вдруг стало не по себе, я как-то особенно ощутил невыносимую духоту, удушливые запахи кухни, в ушах звенело от неумолчного гвалта... На этот раз она подошла сразу. Лицо у нее усталое и в капельках пота, но все такое же равнодушное и застывшее. Ленивыми движениями оплывших пальцев она подвигала костяшки на маленьких засаленных счетах.

Я вскочил так, будто человек, который сегодня столь долго высидел здесь, был вовсе не я, а кто-то иной, у которого терпения не в пример больше.

Уходя, я наткнулся на компанию, которая тесным кругом обступила один из столиков под сенью липы. Они выпили и закусывали стоя и не обратили на меня никакого внимания. Я приостановился и оглядел дерево. На стволе, с восточной стороны, ясно были видны выжженные отметины, сохранились даже огарки: кажется, еще приходили сюда верующие, украдкой зажигали свечи.

— Да-а, — протянул один из пирующих, — этот знает свое дело! Мужик что надо!

— Кто?

— Как кто?.. Святой, конечно, кто ж еще!

— Кровь свою готов пролить за человека...

— Ну, святым сам бог велел..

— Шутки шутками, однако умеет человек шагать в ногу со временем...

— При этом и себя не забывает!

— А кто забывает?

— Да, ему-то что, нравится тебе или нет — ему это трын-трава... Молодец! Может — и делает! Не то что мы...

Я поторопился уйти от липы, не желая больше слышать их разговоры. Дошел до края поляны и долго-долго ходил взад и вперед, словно измеряя шагами длину поляны на самом деле. Поднялся ветер с моря. Солнце уже склонялось к западу. Море у горизонта сделалось оранжевым, и видно было, как пошли по нему белые барашки волн. Морская свежесть придала мне бодрости, но на душе все же было сумрачно.

Наконец я повернулся и пошел к дороге. Гул машин здесь сотрясал воздух. Клубами поднималась пыль, оседала на скалах и по обочинам. Даже трава была покрыта слоем белесой пыли. Канавы вдоль дороги заросли папоротником, покрытым толстым слоем пыли. Сама дорога вся была размыта дождевыми водами и, несмотря на сегодняшнюю сушь, блестела грязными лужами в радужных пятнах бензина. Видно было — давно никто ее не ремонтировал, ну и асфальт, конечно, пожалели.

Когда здесь только проложили шоссе, присматривать за этим участком был оставлен как раз тот человек, которого мы хотели поселить на лужайке. Будь он сейчас жив, я уверен — дорога была бы ухожена, содержалась бы в порядке, — даже без капитального ремонта он сохранил бы ее.

Звали его Навей. Это был человек, который полжизни оставил на войне. Но и та половина, что осталась, стояла многих иных жизней целых. И вся бригада, которой он руководил, была составлена из таких же надежных, бывалых молодцов. Кто здесь не помнит его, да разве только здесь? Неуемный был человек. Это точно: многие навсегда запомнили его черные выразительные глаза — кто добрыми, а кто и злыми... Только вот ран у него было слишком много для одного человека. Все же он долго держался, и никому, даже самым близким людям не говорил о своих недомоганиях, не привык жаловаться. Однажды, когда он купался, я увидел шрамы на его теле. Я не выдержал, закрыл глаза...

Так вот — эта дорога была его последним километром... В конце концов не выдержал он, начал сдавать. Помню, исхудал он, скулы выступали, а глаза горели сухо и болезненно. К тому времени он успел жениться... Где-то на крутом склоне горы свил он свое гнездышко, поставил времянку. Конечно, не думал там

надолго обосноваться, да обстоятельства сами распорядились.

Несмотря на все свои недомогания, на первых шагах он еще не потерял, как говорится, формы, помню его молодецкую осанку. Глянешь на него — и какое бы ни было дурное настроение, всегда становилось легче — потому что, пока по земле ходят такие добрые и отважные люди, можно быть спокойным — рядом надежный человек, настоящий..!

Как-то я завернул сюда уже много времени спустя, вижу — очищает он канаву, заросшую папоротником.

— Все вроде вычистишь, так нет, за ночь снова вырастает, словно никто и не воюет с ним. — говорил он, стоя в канаве, держа в руке черный, смятый, как бы безжизненный корень, папоротника. — Что за гадость, извести его просто невозможно!

— Абрскил¹, этот могучий богоборец, специально спускался к морю и, согнувшись в три погибели, искал — где же начинаются корневища папоротника, чтобы выкорчевать его, не дать ему разрастись, обесплодить землю.

— Как видишь, и Абрскил не сумел очистить землю от этой нечисти.

— А может, он специально оставил немного папоротников, чтобы мы не сидели без дела, было с чем воевать?

— Все же тогда, сказывают, — возразил Навей, — папоротники были величиной с дерево, так что не обидно было воевать, да и легче. А сейчас они измельчали, и корни их, как моль, поедают землю. Я солдат все-таки, хоть и бывший, — стыдно мне сознаваться в своем бессилии...

Я подошел к повороту, чтобы остановить какую-нибудь попутную машину — и уехать. Грузовики, легковушки, автобусы, грохоча, дребезжа, скрипя рессорами, двигались по дороге, двигались и на запад и на восток. Я постоял, посмотрел, подумал — и вдруг понял, что не смогу уехать отсюда, не побывав у сирот Навея. Понял — и стал ждать, когда же утихнет нескончаемый поток машин; надо было перейти на ту сторону.

¹ Абрскил — герой абхазского народного эпоса.

2. Чурек сиротский не подгорает



Перейдя дорогу, я попал на тропинку, которая сразу круто взмывала вверх по склону. Я начал карабкаться, огибая огромные каменные глыбы, — все, что осталось от восточной вершины хребта — когда-то их было две, но после прокладки дороги уцелела лишь западная.

Я карабкался — и думал о том, как же этот человек, страдавший от многих недавних ран, каждый день поднимался сюда. И не один раз в день. Мне казалось, что все мы, дружившие с ним, ценившие его, были виноваты в том, что для него не нашлось места получше. Но, как назло, лужайка оказалась священной, за очаг, возведенный там, должен был покарать бог (за закусочную бог не покарал, — ведь там воздают ему должное), в другом месте земля колхозная, в третьем слишком близко от моря — это для отдыхающих. А он был дорожником, любил свое дело и не хотел уходить далеко от дороги. Вот и пришлось ему лезть, как говорится, к черту на кулички.

Я успел уже подняться довольно высоко и остановился передохнуть. Разбушевавшееся к вечеру море сливалось со свинцовым небом. С такой высоты казалось, будто море усеяно не волнами, а белыми кукурузными хлопьями. Здесь, на склоне, порывистый ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья и разбрасывал их пригоршнями. Пыль, вздымаемая бесконечным потоком машин, заволокла, скрыла от меня священную лужайку внизу.

Сердце опять защемила обида; почему же ни с кого так по-настоящему и не спросили за то, что дорогу провели не там, где надо было, за то, что она так неухожена, — столько аварий случилось здесь... За все эти годы сменилось столько начальников, что невозможно уже разобраться, кто и в чем именно виноват... Слышишь только, что то одного, то другого сняли, понизили в должности, однако постарались сохранить ему прежнюю зарплату. Из всех прежних работников Ушосдора, которых я знал, оставался на прежнем месте один лишь сторож — так и сидел в проходной гаража. Вот кто ничуть не изменился, ходит все в той же самой

поношенной гимнастерке, еще с петлицами на воротнике. Начальники, прорабы, инженеры, рабочие приходят и уходят — часто насовсем, а сторож все сидит и улыбается и тем, и другим.

Я опять стал подниматься. Вот уже виден садик — жмется к скалам. На фоне пожелтевших фруктовых деревьев выделялась виноградная лоза. За виноградником белест небольшой, чуть покосившийся домик. Это и была времянка Навея. Видимо, ее недавно побелили заново.

У ворот меня встретила девочка лет двенадцатитринадцати. На загорелой длинной детской шее — головка откинута чуть удивленно. Густые каштановые волосы, неровно подрезанные чьей-то неумелой рукой, не слушаются, падают, закрывают щеку, и девочка привычным жестом поправляет их. Длинные худые стройные ножки расставила широко, «по-жеребьячи». Была она вся дочерна загоревшей, мало сказать загоревшей — опаленной солнцем. По глазам, по взгляду я понял, что передо мной дочь Навея... Глаза темные, смотрят пристально («чем могу быть полезной?»).

— Ты дочь Навея?

— Да, — с готовностью ответила она.

— Как тебя зовут?

— Заира.

— Будем знакомы. Я был другом твоего отца.

Она вдруг застеснялась, подавая мне свою руку. Ладонка у нее была жесткая — я пожал руку работающего человека.

Заира повела меня в дом, усадила в передней комнатушке, смущенно извинилась и вышла. Слышно было, как быстро шлепают босые ноги по ступенькам, — она спускалась вниз. Вскоре я увидел — из железной трубы, торчавшей из низенького сарайчика (видно, оборудованного под кухню), повалил дым. В воздухе, наполненном ароматом поспевших фруктов и винограда, запахло очагом. Я некоторое время просто сидел, ни о чем не думая, с удовольствием вдыхая этот горьковатый запах, наслаждаясь незатейливым уютом и тишиной. Наконец я поднял голову и осмотрелся. На стене, под самым потолком — очень невысоким — отсвечивает глянец фотографии: изображены были Навей и его

жена. Навей — в военной форме, грудь увешана орденами и медалями, видно, что снимался в приподнятом настроении, подмигни ему — он не удержится, расхохочется.

Жену его я знал еще девушкой, до замужества. Мир ее праху! Помню ее молодой, с двумя косами за спиной. Все в ней было скромно, — даже иногда, мне казалось — излишне скромно. И в душе у нее было столько добра, человечности, участия к другому... Тогда временами и это казалось мне чрезмерным. Выйдя замуж, она ни капли не переменилась. Вначале они с Навеем снимали внизу, в поселке, комнатуху. Бывало, не успеешь войти к ним, как без всяких видимых хлопот, без суеты, быстро и ловко она накрывала на стоя... Умела выслушать, утешить искренним словом, добрым участием. И еще была в ней одна удивительная при ее скромности черта: кто бы из гостей ни находился в доме, она откровенно, не стесняясь, следила за взглядом мужа. Все ее поведение говорило о полнейшей преданности и о редкостной, счастливой любви.

Помню одну из последних моих встреч с Навеем; он пожаловался, что после того, как жена родила второго ребенка, девочку, у нее начались недомогания. Он ее и в больницу возил, но там им заявили, что нет мест. Тогда мы с ним вместе поехали в больницу. Сколько крутили, сколько вертели тамошние начальники... наконец не выдержал я, меня прорвало — и так я обрушился на них, что сдались они — вынуждены были ее уложить. (Недавно я услышал, что в этой больнице были разоблачены горе-врачи, которые не только за лечение, но и за койку больничную, государственную, брали взятки, и получили наконец-то по заслугам!).

Я видел тогда, что она не жилец уже на этом свете. И правда, даже месяца не протянула... В больнице и умерла. Хоронили ее из родительского дома — у мужа своего дома не было.

Я сидел и вспоминал.

«Ты можешь представить этого Святого, каким он мог быть в детстве? — спросил меня однажды Навей. — Я очень старался, но никак не смог. В глазах у любого взрослого человека — ну, по крайней мере, у боль-

шинства всегда можно найти что-то от детства. А у этого человека глаза чем-то заволокло, знаешь, таким. Если не могу представить, каким человек был в детстве, ве, теряю доверие к нему».

«...Да ну его к чертям собачьим, дело даже не в Святом... Жалко, что мы тогда отступились, не сумели для тебя отстоять это место на лужайке». — сказал я, невесело улыбнувшись.

«Вот видишь, и ты так думаешь, и всем кажется, что я на них злюсь оттого, что они землю у меня отобрали. — помрачнел Навей. — Почему никто толком не поймет, не хочет понять... Главное — это та грязь, которую Святой здесь разводит совершенно безнаказанно. Все проходят мимо, никто не хочет связываться...»

«Думаешь, он один такой? — отвечал я. — Это ведь точно твои папоротники... Выкорчуешь вроде все, уничтожишь, — чуть отвернешься — опять растут».

«...Нет, почему люди мимо проходят, вот этого я в толк не возьму! Вот когда мы с тобой воевали, нам же до всего было дело?..»

«Не принимай слишком близко к сердцу Святого и его делишки, всему свое время. Ему тоже не уйти от того, что заслужил. Нынче не такие времена, чтобы эти злые ангелочки Абрскила сокрушали»... — говорил я, желая смягчить его. Не с его здоровьем ожесточаться было.

Тогда и я сам говорил с Навеем без особой уверенности—было ведь на моей работе тоже немало таких, вроде Святого. И именно такие шли против меня в любом, самом ничтожном деле, все искали повода, чтобы избавиться от чужака: раз не участвовал в их махинациях, считали, что я их потенциальный противник...

...Перед моими глазами стоит он, Навей, каким я увидел его в самый последний раз, когда приехал к нему попрощаться перед отъездом. Дело было как раз после долгих ливней. Навей работал на шоссе, засыпал гравием рытвины, образовавшиеся после обильных дождей.

Духота в тот день была невероятная, горячий густой пар поднимался от прогретой мокрой земли. Трудно было дышать. Я подошел к нему. Он стоял, забрызганный грязью от проходивших машин, смотрел и будто не видел меня.

— А ты-то в чем провинился? — спросил он.

— Видимо, ошибался... — сказал я.

— Ты же тогда первым выступил против... В конце концов сохранился ведь твой проект... За чьи-то ошибки ты должен отвечать, да? Или я перестал понимать?.. — С его лица грязными струйками стекал пот. Он страдал от духоты, я видел, но раз он сам не пожелал укрыться в тени, я тоже как-то не решился позвать его. К тому же я торопился. Да и тени подходящей поблизости не было... Скалы, нависшие над дорогой, не давали защиты: было утро, солнце не успело еще подняться в зенит и укрыться за ними...

— Когда мне поручили строить дорогу по проекту, против которого я же сам и выступал, я догадывался, что когда-нибудь они могут повернуть все против меня. Но изменить ничего нельзя было, — объяснил я. — Когда же выяснилось, что потрачено много времени, много средств, а дорога ни к черту не годится, все начальство сумело как-то уйти от ответственности... почти все вышли сухими из воды... Да разве только здесь такое — ты что, не знаешь?..

— А этот, главный инженер, автор проекта? Он как? Тоже отвертелся?

— Главный? Его перевели на другую должность, тоже ответственную. Да еще и жалеют сейчас — мол, там зарплата меньше...

— Так на одну зарплату и живет? — усмехнулся Навей.

— Если б я не думал, что все это временное, случайное, что когда-нибудь к черту полетит, прости господи, вся стряпня этой шайки...

— Индюк тоже думал, да в суп попал!..

Как-то непревечно было слышать грубость из уст Навея. Да, был он прямой, резкий, но грубости никогда не допускал. Видимо, что-то истошилось в нем...

— Доберутся до них, я уверен, и спросят за все.

— Ну да, ты будешь сидеть сложа руки, и я, и он, а кто-то там за нас за всех должен до них добираться. Так, по-твоему?

Я промолчал.

— Ты не должен уезжать, нужно доказывать свою правоту.

— Мне надо работать, я хочу работать... — отвечал я не слишком уверенно, — а здесь так легко своей правоты не докажешь. Что лучше: потратить силы на скалы или же искупить все работой? Хорошая работа камня на камне не оставит от обвинений против меня.

— А если и там ты столкнешься с подобной ситуацией, что тогда? Нет, это не выход.

— С таким уж не столкнусь. Трудности, конечно, есть везде, но иного рода.

— Ну, ну... поступай как знаешь...

Навей стоял, обливаясь потом, лицо осунулось, под глазами темные круги, усталый, злой.

— Это все без нас утрясется, а ты вот лучше о себе хоть немного позаботься, — сказал я ему, — ведь на тебе лица нет. Давай, отпросись у начальства, у меня неделя от отпуска осталась, поедем в Сухуми, врачам покажешься...

— «Рана — испытание воина»¹. Да и детей не с кем оставить... И вообще — со здоровьем пока еще терпимо. — Он смахнул ладонью пот со лба и потеплевшими глазами посмотрел на меня. Стремясь меня успокоить, расправил усталые плечи. — «Кровью обливался он, а ему казалось — это пот...» Видишь, как надо держаться!

— Я найду у кого оставить детей, поехали!

— Когда мы здесь прорубали сквозь скалы дорогу, — сказал он, делая вид, что не слышит моих угворов, — по ночам мне стали сниться кошмары: будто похоронен я под этой вот дорогой, и машины грохочут по мне... Снилось мне такое — и в то же время чувствовал я, что и в самом деле задыхаюсь, но не могу пошевелиться... страшная тяжесть пригвождала меня к месту... Однажды ночью я все же сумел побороть кошмар — освободился и от дороги, и от грохота машин... Проснулся, чувствую: весь горю... От ран все было...

— Навей, здоровье не игрушки, отнесись серьезно, детей хоть пожалей...

— Знаешь, чтобы меня отремонтировать — много чего надо... и времени, и терпения, и кое-что еще... Мои раны — они как у этой вот горы, — сказал он убежденно, словно давно все решил для себя, — как у го-

¹ Слова из абхазской народной песни «Песнь ранения».

ры, через которую мы пробили дорогу... Дорога нужна — и раны неизбежны... Разве не прав я?

Что мне оставалось? Попрощался я с Навсем, остановил первую же попутную машину и поехал дальше. Последний раз взглянул ему в глаза — и вдруг понял, что он прощается со мной навсегда.

Уже смеркалось, когда появилась Заира, вся размякшая от огня; следом за ней вошел парень лет пятнадцати-шестнадцати.

— Это Хухун, мой брат, — представила Заира с гордостью. Но было заметно, как она довольна, что с гостем познакомилась первой и может держаться со мной, можно сказать, дружески.

Улыбка освещала ее лицо: нечасто, видимо, приходилось ей исполнять роль хозяйки.

— Добро пожаловать в наш дом, — сказал и Хухун, однако словно бы нехотя. Мне показалось, что в голосе его я уловил оттенок недоверия.

Без всякого смущения, он осмотрел меня с ног до головы, притом явно обратил внимание на мою городскую одежду. Я поднялся, пожал ему руку и объяснил, что я друг его отца. Тут он посмотрел на меня и вовсе недоверчиво.

— У моего отца не было друзей, — буркнул он.

— Как... как ты можешь так говорить?! — вырвалось у меня.

— Могу, значит. И при жизни отца не помню, чтобы кто-нибудь дружил с ним, а как умер он, — сюда к нам вообще никто не заглядывает.

— Это так получилось... — запнулся я. — Меня не было здесь... Работал далеко отсюда...

— Вы его не слушайте, — вмешалась Заира, явно не придавая значения словам брата. — он всегда так говорит.

— Не думайте, что я не рад вашему приходу, — спохватился и Хухун, — нет, наоборот, конечно, я рад, что вы не погнушались заглянуть в такой вот хлев. Вы первый наш гость. К нам никто никогда не приходит. Гости бывают там, где настоящие хозяева, — а какие мы хозяева... разве это дом...

— Что ты, что ты, — попытался успокоить я Хухуна, — как это — вы не хозяева, вы настоящие хозяева

ва, и вам совершенно нечего стыдиться. И поверь мне, я действительно друг твоего отца, и друзей у него было немало, настоящих друзей, но так вот получилось...

— Мы сейчас... — извиняющимся тоном объявила Заира и увела брата.

Я слышал их голоса, но не различал, о чем они говорили. Только под конец Заира, видно, рассердившись, повысила голос:

— Сказала же тебе, что дам, значит, дам — столько, сколько нужно. Не заставляй сто раз говорить!..

Некоторое время спустя мы, мужчины, сидели друг против друга за столом, который брат и сестра перенесли сюда, в дом, из кухни. Я с волнением смотрел на скромное угощение, предложенное Заирой: в горячую мамалыгу она положила по два куска сыра и еще отдельно подала на тарелке нарезанный сыр... соленая капуста-кольраби, пылающие стручки перца... От соленый доносился острый аромат специй, которые кладут в рассол искусные хозяйки.

Я поднял голову, перевел взгляд на Заиру, которая стояла над нами в выжидательной позе, слегка запрокинув голову, — упрямо торчали непослушные, неровно подрезанные пряди.

— Заира, ты тоже должна сесть с нами.

— Что вы, что вы! У нас ведь не каждый день гости! — возразила она. Лицо ее снова осветила улыбка: видно было — девочка очень довольна, что наконец и у них в доме гость, и она, как настоящая хозяйка, принимает и угощает его. Она проворно, даже с каким-то кокетством двигалась по комнате, на нескладных еще, по-детски длинных, «жеребьчьих» своих ногах. Приподнятое настроение как бы передалось всему ее существу, все ее тоненькое, худенькое тело чутко вслушивалось, улавливало волны радости, рождавшиеся в душе, и с готовностью откликалось на них.

Как только мы принялись за еду, Заира выпорхнула на крыльцо и тут же вернулась, держа за обе ручки большую оплетенную бутылку с вином. Я вскочил, торопясь помочь ей, но не успел: она тяжело опустила бутылку у стола.

— Так нельзя, ты же надорвешься!

— От такой-то тяжести? — расхохоталась она.

Мы поели, я отведал молодого, приятного на вкус

вина. Поднял тост в память их отца и матери, еще один за них самих, Хухуна и Заиру — говоря, я старался не оскорбить, не отпугнуть их пустым, выпреним словом, а сказать так, как я чувствовал.

После ужина и Заира присела к столу. Брат и сестра уже почти привыкли ко мне. Хухун заметно повеселел. Заира сидела, подперев зарумянившиеся щеки кулачками, и внимательно слушала все, что я говорил. Однако Хухун и сейчас еще то и дело оглядывал мой костюм. Внешностью он не походил ни на родителей, ни на сестру. Невысокого роста, но широкоплечий, с крепкой шеей, как у борца, щеки и подбородок уже требовали бритвы. Карие глаза поглядывали остро, привычно-иронически, даже несколько надменно. Однако слушал меня он внимательно, и тогда не по годам взрослое лицо и насмешливые карие глаза становились умиротворенными, добрыми, даже ласковыми.

— Хорошо, что ты пришел к нам, — заговорил наконец Хухун, сразу переходя на «ты», — здесь в одном месте мне обещают работу, может быть, ты знаком... или имеешь какое-нибудь отношение к тамошнему начальнику... Если скажешь ему, объяснишь, что я стоящий парень, не лодырь, поручишься за меня, он поверит. А я не подведу...

— А кто это?

— Начальник здешней железнодорожной платформы... — он почему-то таинственно понизил голос. — Если бы ты знал, что это за человек! Когда назначали его сюда, ему тут же самый лучший участок выделили... Сразу за Святой поляной. За год он такой дом поставил!.. Нет, вру, какое там за год, — за полгода! Одна лестница чего стоит, то ли три, то ли четыре раза поворачивать надо, пока поднимешься. Внизу, под лестницей, винный погреб устроен, с десятков бочек помещается. Сад... Одних мандаринов и лаврового листа сколько! Да еще огород, корова—и какая еще!— в день три-четыре раза доят. Словом, живет с божьим благословением, на широкую ногу. К нему я так запросто не могу подойти, из этого ничего не выйдет. Но в закуской Святого работает Махматкери — экспедитор...

— Махматкери — «Нашим-вашим»? — засмеялась Заира.

— Перестань, Заира, о каком человеке неуважительно говоришь! — обиделся Хухун. — Находятся же еще такие умники, смеют прозвище это глупое повторять.

— Значит, это он берется устроить тебя?

— Нет, устроить может только сам Святой. «Таксист» скажет Махматкери, Махматкери — Святому, а если Святой согласится, считай, дело сделано. Возьмут меня.

— А что это еще за «таксист» такой?

— Да не таксист он вовсе. Просто у него «Победа» своя, ну, ребята и шутят над ним...

— Как бы не так! — прервала брата Заира. — Каждый день околачивается возле закуской со своим драндулетом, поджидает пьяных, болтает, сквернословит.

— А что, лучше, если пьяный будет валяться под забором, да? — мягко возразил Хухун. — Прежде всего сам Святой не желает, чтобы около его закуской валялись всякие пьяные. А уж он знает свое дело! Это с его позволения там дежурит «таксист». А раз Святой позволяет, значит «таксист» вовсе не такой, каким ты его представляешь. Святой с первым попавшимся связываться не станет.

— Ну еще бы! Только все знают, как твой «таксист» развозит пьяных! Обдирает он их! Они же пьяные, не помнят, сколько у них денег оставалось. Вот он и пользуется...

— Перестань, Заира, остановись! — воскликнул Хухун с явной тревогой в голосе. — Ты пока многого не понимаешь. Если бы так все и было, как ты иногда думаешь, неужели ему сходило бы с рук!.. Нет, это не так просто...

Хухун погрузился и, словно опытный, выдавший виды человек, задумался невесело.

— Одним словом, — продолжал он после паузы, но уже нехотя, — необходимо, чтобы Святой услышал обо мне от заслуживающего доверия человека. А уж они с железнодорожным начальником уважают друг друга. Совсем недавно у начальника были какие-то важные гости, так Святой ему послал лучшего вина, мяса и всякое такое. И сам пошел к нему...

— На какую же работу ты хочешь определиться?

— На первых порах помощником кондуктора, а потом и кондуктором. Я, конечно, не претендую на дальние рейсы, согласен ездить хотя бы до Сочи. Это вполне меня устраивает. Если с умом действовать, можно жить... Я слышал, как там устраиваются кондукторы, кто с головой... У них всегда есть помимо зарплаты... — Он оборвал свою речь и даже оглянулся. Потом заговорил снова, уже горячее: — Тогда бы я сразу начал строить дом — с тремя комнатами наверху, с двумя внизу. Для гостей и для нас с Заирой. Отстроить дом да поспать хоть одну ночь под новой крышей — можно и умереть спокойно! Сейчас я в глаза людям смотреть не могу. Сюда ведь никого не пригласишь. Внизу таких дворцов поставили, кто же осмелится в нашу лачугу пригласить уважаемого человека! Да любой оскорбится! А к себе в дом я пригласил бы людей, которые хотят помочь мне устроиться... И почетнее было бы, и обошлось бы дешевле...

— Разве все дело в доме? — как бы про себя заметил я. По правде сказать, речь Хухуна повергла меня в смятение. Чего-чего, но такого не ожидал я услышать от сына Навея.

— Все! Вот именно, что все дело! — чуть ли не в ярости выпалил Хухун. — Именно в доме! В хорошем доме — и что там еще полагается иметь, обстановка... хозяйство... А в чем же еще?

— Заладил одно и то же — дом, дом... — подала голос притихшая была Заира.

— Ты учился в школе? — спросил я Хухуна.

— Здесь поблизости школы нет, — отвечал он, явно нервничая. — Учился в деревне, у дяди, брата отца... Пока жив был отец. Да что это была за учеба — с сентября и пока не выпадет снег — работали на полях. Все трудодни, которые я зарабатывал, записывались на имя жены дяди. Сама она от одного упоминания о работе в колхозе заболела. И хоть бы слово доброе сказала! То есть, пока рядом с ней находишься — тошнит от ее сладких речей, а отойдешь, так за спиной проклятия сыплет, услышишь — уши обуглятся...

— Дядя твой, кажется, жив-здоров?

— А что с ним делается!

— Присматривает за вами?

— Был как-то в прошлом году разок... Автобус в пути испортился, зашел переночевать.

— Значит, с этими, которые, как ты говоришь, дело тебе устраивают, хочешь посидеть, хлеб-соль отведать, выпить за успех? Ну что ж — недаром ведь сказано: если даже из земли выкопал лекарственный корень, оставь на том месте хоть сколько-нибудь в отплату... — Я хотел посмотреть в глаза Хухуна, но он недовольно отвел взгляд.

Воцарилось молчание.

Сквозь единственное оконце в комнату лилась предвечерняя прохлада. С моря налетал ветерок, приносил из сада запахи налившихся соками фруктов и палой листвы. И все же мне было тесно в этих узких стенах, давил низкий потолок, не хватало воздуха.

Перевод с абхазского Сергея ШЕВЕЛЕВА

Окончание следует

Александр КАЛАНДАДЗЕ

НЕЙШНЕВСКАЯ КЛЯТВА

Роман

Царский духовник беспрестанно был в размышлениях с тех пор, как собственными глазами увидел католикоса у патеров и подслушал его беседу с Норчию за дверью соседней комнаты. Сдается, и впрямь происходят невероятные события, сомневаться в этом не приходится; однако чем больше он узнавал, тем все больше затруднялся прийти к какому-либо определенному выводу. Чрезмерная осмотрительность и осторожность Антония убеждали, что католикос свершил какой-то страшный грех, что чувствует он за собой какую-то тяжкую вину.

Чем объяснить столь поспешный приезд отца Норчию из Гори? Какова цель этого тайного сговора? Захарий обзавелся целым сонмом соглядатаев — стараясь проникнуть в тайну католикоса, увериться в своих подозрениях и добыть компрометирующие документы.

Тут дело нешуточное: обвинение падало не на кого-нибудь — на самого католикоса всяя Грузии! Племянника царя!

— Узнал ты, где изволил быть католикос вчера? — гневно спрашивал он Иоанике Чоторели.

— Нет. Пока еще нет.

— Трифиле куда проворнее!

— Я очень старался. Был даже на улице Ротинаанов.

— Ничего не скажешь, бегаешь ты отменно, однако сметки и ловкости тебе явно не хватает. Ну, хотя бы разузнал, где поселился «молодой гусенок»¹. Да уши наводстри, тут лишь ост-рого глаза мало.

¹ Игра слов: «Аббат Норчию» (норчи — по-грузински молодой, бати — гусь).

Продолжение. Начало в №№ 9, 10.

— Что я могу проведать, коли разговаривают они на языке дьявола?

Так же наставлял Захарий и Барсанафа, и Тимона, и других, тайно следивших за каждым шагом Антония. Одним он приказал следить за Бонавентурой, другим — за католиком, третьим поручал просматривать почту.

Захарий горел любопытством. Чтоб разоблачить католика, следовало приглядеться к каждому вызывающему подозрение лицу, разъяснить каждый сомнительный случай.

Он хочет погубить Грузию! — пылал он гневом. — Православие — опора и столп страны нашей. Если оно пошатнется, не станет и страны. Ну, нет уж, — даже если придется умереть, все равно — от веры предков своих не отступимся!

В законченной к тому времени рукописи Антония, которую принесли Захарию, церковный духовник принял выскидывать мысли еретические. То, что вычитал он в «Драгоценном камне», было в его глазах богохульством неслыханным.

В равнодушии — корень всяческих несчастий, подумал он и, чтоб не прослыть равнодушным, чтоб не опередил его кто, не обвинил в чем-либо, решил сам опередить врагов, прощупать почву, поговорить с царем.

Звание царского духовника давно давало ему право на слово смелое и действие решительное.

И вот как-то после исповеди Захарий молвил:

— Великий государь! Выслушай слова мои тайно, знаю, разум твой не возмутится дерзости твоего духовника. Уж третий месяц пошел, как святейшего католика Антония застали мы в доме «французов», когда находился там и пожаловавший из Гори старший их иеромонах Норчио. Католикос очень испугался, увидев моих людей, и поспешил скрыться. Но и позже не раз видели его у патеров, видели там и дьяка его — Трифиле.

— Знаю. Он говорил мне, что иеромонах, некий Иона из латинян, помогает ему в истолковании латинских писем для «Готового слова».

— Но он продолжает посещать их и теперь. Усиливаются пришедшие к нам с чужой стороны. Старший патер францисканской церкви Франциско пятнадцать туманов серебром отдал в залог Патарнацу за дома Галхитарианов. Католикос пригласил армян-католиков в семинарию учителями. Сдается мне, стремятся они совратить грузин в латинство. Государь, двадцать тысяч душ «французов» живут в Ахалцихе, Ивлие, Вале, Удэ, Оцхе, Хизабавре!

— Не все круглое есть яблоко! — произнес Теймураз любимую поговорку.

— Не гневайся, государь! Ведь и в Тбилиси умножилось число людей, признающих веру этих «французов». Гиви, когда находился в Иране, много серебра прислал католику Антонию — в пожертвование латинской церкви.

Теймураз, пораженный, слушал эти смутные обвинения, верить в которые не хотел.

— Сочиняет много и без разбора. За два года написал «Готовое слово», «Грамматику», «Драгоценный камень» и

прочую чушь. Ученики по его просьбе переписали всю эту крамолу и читают всюду.

— Что же в этом худого?

Духовник ответил не сразу: он внимательно наблюдал за царем, каждую минуту ожидая, что разразится гроза.

— Он весьма силен в священном писании, знания его беспредельны, он замечательный ученый, диалектик и догматик. Однако сочинения его содержат мысли еретические.

При этих словах, будучи очень набожным, царь обратился в слух.

— Изволит утверждать, что невежды в области физики уподобляются слепцу. Читающие такое почитают священное писание за ничто, попирают учение Моисея и заповеди Евангелия. Дескать, все есть мозг, но не душа. Истинное счастье в познании, но не в божестве. Человек должен совершенствоваться в постоянном стремлении к знанию, познаванию непознанного.

— Как прикажешь понимать все это? — спросил в задумчивости Теймураз.

— Что есть истина — он не доказывает, а вот что нет — доказывать стремится. Скоро станет утверждать, что мертвец есть не мертвец, а живой.

— Чем можешь подтвердить ты слова свои? Документами? Миропомазанный, благословенный господом католикос — ученый и сочинитель трудов, он имеет на то полное право.

Захарий покрылся бледностью. На минуту ему представилось, что Антоний может узнать обо всем, а чтоб нанести католикосу окончательное поражение, сил у него, Захария, маловато — для этого нужны достаточно веские аргументы и документальное подтверждение. В лихорадочном испуге смотрел он на царя — тот не был грозным повелителем, однако клеветы, возводимой на любимого племянника и благословенного католикоса, ни от кого не потерпит и не простит. Хотя Теймураз и хвалился знанием Священного писания и в своей «Беседе дня и ночи» даже переложил в стихи «постановления семи собраний», — закон божий вещь столь сложная, что человека, изучившего его досконально, во всем царстве, пожалуй, не сыщется. Посему Захарий больше полагался на религиозные чувства царя и не страшился его познаний.

Щекотливая беседа на том закончилась. Захарий понял — ежели не добудет он подтверждающих бумаг, царь сочтет его слова клеветой, и не миновать тогда царскому духовнику жестокой кары вплоть до отлучения. Как быть? Царь торопился на военные учения...

Отец и сын свершили славное дело — создали регулярное войско в тысячу штыков. Командирам и солдатам определили жалованье, войско расположили лагерем в Тбилиси, чтобы в случае необходимости оказать отсюда помощь тем, кому придется трудно, Назавтра Эрекле уводил это войско в Баидар — на границу.

Новые успехи в Картли и Кахети окончательно смыли позор поражения от Аджи-Чалаба, и соседние ханы писали Эрекле с благоговением: «С кем ты, с теми будем и мы».

«С регулярными войсками должно сражаться регулярным же войском». — говорили цари и непрестанно размышляли, как умножить и укрепить свое постоянное войско. Именно это было целью посольства Атанасе Амилахвари и Симона Макашвили.

Опустив плечи, молился в Кавтисхеви узник, брошенный в темницу.

Причитал, оплакивая людей праведных, угодивших в западню, расставленную злодеями, оплакивая всех, кто был изгнан, кто осознал тщету существования и суету сует. Ждал он разбирательства дела по обвинению духовных лиц и вынесения им приговора, который положил бы конец его мукам или навеки заточил меж четырех стен. Его терзали сознание собственного бессилия и гнев к неблагодарным.

Муки его были в тысячу крат тяжелее, чем тогда — перед выходом из монастыря. Истина, с которой он вернулся к людям, оказалась несостоятельной. Он вернулся в мир, чтобы служить людям, что означало для него служение господу, но вернулся все-таки не как мирянин — он продолжал оставаться монастырским монахом.

В нем происходила постоянная борьба, в нем постоянно восставали то царь, то мудрец, то монах-пустынник, то пастырь. Ему виделось прошлое, порой печальное и никчемное, преступное, отягченное тяжелой виной, порой — наивное, простодушное и безмятежное.

Он мучался раскаянием, сознавая, что в угоду гордости своей неуместной сделался посмешищем для врагов. Сам вложил в пасть зверя собственную голову!

Выходит, им служил, их дела вершил! О, как, наверное, смеются и торжествуют над ним они теперь!

Сколько праведных и добродетельных сгубил он по своей вине! Страну оставил на поругание доносчикам! Так, значит, сам уходишь, а их оставляешь! В чьи руки отдаешь людей, служить которым вернулся?! Родину, во имя которой вздымает дыхание твою грудь? Может, надеешься еще, что сумеешь избавить от ненавистных свою страну? Не ради этого ли вернулся ты?!

Борись со злом, но сохраняй доброту! Отсекай головы и сохрани святость души своей! На кого ты оставляешь страну, Антоний? На Захария, восседающего на скакуне жестокости? Разве потому только воспылали ненавистью к тебе, что принял ты «унию», или за то, что стал католиком? Тебя ненавидели и так, а эта «уния» — лишь повод! Подобные тебе никогда не найдут места в их сердцах!... Они ведать не ведают о «святом духе», о вероисповедании, за измену которым посылают тебя на плаху.

Ты сам, сам сделал так, чтобы тебя бросили на растерзание толпе. Что? Пожалела тебя толпа? Посочувствовала? Она предпочла Христу разбойника Варраву! Пришел в этот мир, миром этим был создан, и мир не распознал его!

Не превратись же в жертву его, а наоборот — поведи за узду к добродетели! Но тогда что же есть нация?! — Немного-

численная группа избранных, все взвешивающая, следующая повелению разума, отвергающая все мимолетное и глядящая в даль. Так затаи же свои намерения в сердце своем! Действуй наверняка! Не делись помыслами и желаниями, своими, чтоб не опередили тебя! Не ищи недостатков в людях! Не разбуди затаившихся врагов! Будь хитер. Будь злобен, но во имя добра! Человеком будь: мудрым, яко змий, и чистым, яко голубь!

В четвертый месяц заточения попросил узник перо и записал: «Прошение царю Теймуразу из заточения...»

— Прекрасные новости, мой Антоний! Род Амилахвари, Эристави, Каплаани — все на моей стороне. Кабарда, Черкесия, Дагестан за меня готовы голову сложить.

— Превосходно, да падут на меня твои беды!

— Скоро пробьет час, когда оплачу я тем, кто причинил зло моим предкам.

— Да услышит тебя господь! Два года — это немало дней, много бед может навалиться за это время на человека.

— Закон! Больше ничего мне не надо. Пусть я поплачусь жизнью, но исполню завет моего отца! Я предвижу волнения стихии, предугадываю великие бури. Императрица обещает мне полк гусар и оружие.

— Да услышит господь вещие слова твои! Не раз терпели мы жестокий обман от персов, много страданий принесели они нам. И вера наша разделяет нас с Персией. Вновь увидел я войска русских, славно обученных — со знаменами, фанфарами, барабанами. Не будут больше кахетинцы властвовать над нами.

Опершись о спинку кресла, Антоний внимательно слушал вернувшегося накануне из града Петра царевича Александре — тот говарил пылко, взволнованно расхаживая взад-вперед по просторному гостиному залу.

В Москве валит снег. За шкафами, заставленными хрусталем и фарфором, сквозь прозрачную завесу снежных хлопьев вырисовывались очертания красного крыльца Кремля. Время от времени пролетали тройки, и в дом проникал тонкий перезвон серебряных колокольцев.

— Атанасе сообщил мне: вельможи Картли просят императрицу — помогите, мол, Александре войском, а дальше — дело за нами.

Антоний содрогнулся: посол Теймураза, предатель Атанасе, успел стать московским митрополитом.

— Хорошо бы. Да, мы должны хранить верность стране нашей.

— При императорском дворе Темур-хана называют царемлюдоедом.

— Вот и я как ни старался, не сумел завоевать его милости.

— Наглец! Царского сына, собственного племянника-католикоса опозорить перед всем миром — остричь и обрить!

— Злое дело. Я упивался любовью к нему, он же — кровью моей!

— Как допустил такое — в твоей стране остричь тебя, наградить пинками и побоями!

Внешность Александре отличала европейская утонченность. Нос с едва приметной горбинкой придавал мужество его благородному, покрытому легкой желтизной лицу. Высокому ростом, стройному и подвижному Александре очень шла форма гвардейского офицера Измайловского полка. Угрюмый с беспокойным и смелым взглядом, он сразу привлекал к себе внимание, в его голосе, сильном и уверенном, звучала твердая убежденность, придающая словам вес и значимость.

«На трон Картли никогда еще не было столь упорного, европейски образованного, столь могущественного претендента», — часто думал Антоний.

Ему не всегда удавалось скрыть озлобленность, но озлобленность эта была объяснима. Родившийся и выросший в России, он беззаветно любил Грузию. И чем же он провинился перед богом и перед людьми — ведь Грузия была и его родиной!

Коловращенье судеб свело на чужбине двух молодых царевичей, сковало единой цепью.

Александр Бакарович блестяще окончил гимназию при Московском университете, в двадцать четыре года стал капитаном Измайловского гвардейского полка. Отец втайне готовил его в государи Грузии, на смертном одре он заклинал сына дать обет, что вернет он себе трон, упущенный отцом и дедом. Старший брат Леван был слаб здоровьем, все надежды рода возлагались на него одного, и он энергично взялся выполнить отцовский завет.

Изящный, обаятельный грузинский царевич стал одним из ближайших друзей императора Петра Третьего; а после гибели императора, повергшей его в горе, он завоевал дружеское расположение императрицы Елизаветы и пользовался при дворе большим влиянием. Скоро он стал покровителем каждого бежавшего с родной земли и прибывшего в Россию в поисках убежища грузина. Он повел затем хитроумную борьбу с Теймуразом и Эрекле — распространяя о них унижительные слухи, плел против них интриги в дипломатических кругах, сводил всю переписку Картл-Кахети с Россией к нулю. Он помешал послам завершить почти выполненную ими миссию и оставил в России Атанасе.

Александре пользовался поддержкой в определенных кругах, он не был лишен пронизательности и остроты ума. Вспыльчивость свою возмещал непосредственностью в обращении, горячность и невоздержанность на язык — благородством, отсутствием опыта — отвагой. И если принимал решение, остановить его не могла бы даже виселица. «Такого беспокойного человека встречать не приходилось», — говорили о нем окружающие.

Готовясь к военному выступлению, он цеплялся за малейшую надежду, хватался за каждую соломинку. А тут всевышний подкинул ему католикоса. О такой завязавшейся между ними теперь, дружбе двоюродные братья могли только мечтать.

Родичи царя Вахтанга встретили Антония с большими почестями. В России уже было известно об «офранцузивании» католика, о состоявшемся над ним суде, об его ниспровержении, а это значило, что, прежде чем использовать его в их общем деле, ему следовало помочь, его необходимо спасти.

Русская церковь и правящие круги России питали к Риму и католицизму куда большую ненависть, чем Захарий и Теймураз. Именно в это время синод осудил на изгнание пришедшего в Астрахань из Ахалцихе Франциско Мариа де Сотер. Принять и помиловать такого человека значило нанести оскорбление церкви Иверии и Картл-Кахетинскому царству. Документы у Антония были неважные, его лишили духовного сана и передали во власть гражданского правительства — для приговора к пожизненному заключению. Правда, заключенного могли вернуть обратно или передать на суд всемирной православной церкви. Единственной его надеждой оставался Александре, ему он должен довериться и под его знамя встать: осудить политику Эрекле и Теймураза, объявить их кровопийцами, дикарями, обвинить в присвоении царского трона и признать законным престолонаследником Александре, словом он снова должен втянуться в острейшую политико-династическую борьбу.

И Антоний избрал этот путь, еще находясь в Картли — оттуда он связался с претендентом на трон. Иначе и думать нечего было, что такого еретика, как он, подпустят к России хотя бы на пушечный выстрел.

Свергнутый с патриаршего престола католикос был представлен Александре правительству и церкви России жертвой тирании и вопиющей несправедливости. Следуя его совету, Антоний обратился к синоду с просьбой разрешить ему остаться в Москве. Просьба его была уважена, ему даже определили государственное жалованье. Так как документы, которыми снабдили Антония на родине, представлять было невозможно — они могли лишь повредить ему — двоюродные братья долго ломали голову, размышляя, что же представить пред очи императрицы и синода.

Царевич отложил в сторону все свои дела и всецело занялся делами Антония. Потому и решил он отправиться на несколько дней в город Петра — высоконабожная императрица не терпела компромиссов в вопросах православной веры.

Родственников у Антония в России было много. Его восторженно встретили арчиловы и вахангвы потомки, Георгий и Вахушти со своими семьями. После смерти царевны Дареджан владельцем всего состояния, всех богатств Арчила стал Бакар. Здесь, в России, испустила последний свой вздох принявшая монашеский постриг мать Антония.

Антонию выразили соболезнование, ему сочувствовали, его жалели, его тут полюбили. Антонию показали материнскую могилу в Донском монастыре. С ним поехала тогда царица Анна, вдова Бакара. Горячо оплакивали они царицу Эленэ-Бегуни и брата ее Бакара. Только теперь со всей остротой ощутил Антоний, что нет на земле Эленэ, его матери. Ему вспомнилось, какую боль причинил он ей, отказавшись от тро-

на, как переживала она его пострижение в монахи. Ему вспомнились ее письма, полные упрека.

Навеянные воспоминаниями детства рождались строки «Эпитафии матери».

Он посетил священную землю, принявшую благословенный прах Арчила, где мать жаждала обрести душевный покой. Здесь, под сводами храма, склоняли головы Саба и Вахтанг, Бакар и Давид... Здесь покоились истосковавшие по Грузии, которым так и не довелось вернуться...

Показали Антонию икону Донской богородицы с надписью на покрове: «Пресвятая дева Мария! Не осуди нас в день великого суда над рабами твоими: царем Арчилом и царицей Кетэван, а также сыновьями нашими». Показали монастыри — Новинский и Крестителя, Сергиевскую лавру, Успенский собор, Новосдевичий — где пребывала одно время его мать; увидел он Звенигородский чудо-монастырь и Иверский монастырь на Валдае, где находилась копия с иконы Иверской божьей матери и где когда-то молились деды его — Эрекле и Арчил, там находился и чудотворный крест лозы святой Нины, похищенный из Грузии десять лет назад митрополитом Романом.

Антония повезли в село Всехсвятское, что под Москвой, обитатели которого высказали готовность предоставить ему свои богатые хоромы, но Антоний поселился на Никольской, с афонскими монахами.

— Сей документ предъявить нельзя — составлен он без стыда и совести, — говорил претендент на престол. — «С нашего соизволения дается право выехать», ишь ты! А эти два еще могут кое-как пригодиться, остальные же — не приведи господь! Письма от патриарха Антиохии Силибистро и Парфениоса Иерусалимского — тоже куда ни шло!

Антоний усмехнулся. В Москве было известно все, что творилось в Грузии, более того, здесь прекрасно разбирались и ориентировались в делах грузинских, и потому свергнутый патриарх одной из древнейших православных церквей, пользовавшейся всемирным признанием, вряд ли мог рассчитывать на какое-либо внимание.

Однако на иерархической лестнице грузины занимали в России высокие посты, и Александре делал на них основную ставку. Гусарский полк тоже пользовался доброй славой, газеты писали: «...грузины воюют мужественно и самоотверженно, трудно представить, что можно сражаться лучше, и остается пожелать, чтобы было у нас как можно больше таких славных воинов». Следуя по выпавшему на его долю полному лишений пути, он старался укрепить свое сердце, все тяготы сносил безропотно, но не мог примириться со злобой людской.

В Кизляре передали ему поступившую на его имя почту — среди других два письма от побратима и одно от первенца Эрекле — Вахтанга.

«...теперь ты вдаль от нас, и лишил меня бог в жизни моей твоего покровительства, — писал Эрекле. — С тех пор все радости души и разума померкли для меня. Поверь, будь ты около, я не сказал бы этого, но теперь говорю: не быть мне без тебя, и ты убедишься в этом в конце концов. Без тебя нет

мне отрады. Ты, столп церкви грузинской, корона ее, покинул нас, а раз произошло с нами такое, ничего не осталось у нас достойного восхваления, а коли для похвалы ничего не осталось — нет и не будет у нас полной радости.

Да пошлет тебе господь долгие лета, а мне — не даст умереть, не узрев тебя.

Мир сей, лишившись тебя, принесет боль и страдания нам, наделенным разумом. — но мы надеемся, что милостью божьей, где бы ни находился ты, чего бы ни пожелал, он не лишит тебя уважения и достоинства. Что делать нам без тебя, что станется с нами?..

Я получил ответ на те два письма, которые передали тебе, и да пошлет тебе бог столько долгих лет и здоровья, сколь возрадовал ты мое сердце. Не раз впадал я в сомнение — что если не осталось в Антонии прежних чувств к недостойному, не оправдавшему его надежд Эрекле... Письма твои рассеяли мои сомнения...

...С той поры, как ты изволил отбыть, пять-шесть раз одержали мы победу над врагами и многих еще истребляем, — никак не оставляют они нас в покое. И если умирают наши люди, пусть чистая твоя молитва, обращенная к богу, облегчит их, станет им земля пухом. Достоин сожаления Андроникашвили Мамука. Одержал он победу в Напареули, убил около двух сотен горцев и погиб сам. Что еще поведать тебе о житье-бытье нашем? Сам знаешь, враг дает нам передышку очень ненадолго.

Я поднялся сюда, в Ананури. Караван спешил в путь, и это наскоро написанное письмо шлю из Мухрани.

Молю тебя: если смогу я быть хоть чем-то полезным, Христа ради, не отвращай от меня сердца своего.

Брат твой, царь Кахети Давитиани Эрекле.

Дрожащей рукой смахнул Антоний слезу, словно оцепенев, долго разглядывал подпись. Потом прочитал сделанную на полях приписку:

«К письму сему прилагаю и другие — с большой просьбой передать их по назначению.

Одно лишь еще скажу: да благословит господь — у моих двоюродных братьев есть цепь блаженного царя Бакара, дай вам бог добраться туда с миром, в России она вряд ли комунибудь пригодится, так пусть цепь эту дадут в дар мне, а взамен пусть просят, что только пожелают.

26 ноября 1756 года».

Не осушая слез, читал он пространное письмо воспитанника своего, сына царя — Вахтанга:

«...Батюшке честному, дяде моему возлюбленному, проникшись любовью к нему, приношу свой земной поклон... Взываю к милосердию Вашему — не откажитесь и впредь быть духовным отцом нашим, любите меня душой и сердцем, не покидайте, дозволейте услышать слово Ваше... Все близкие шлют Вам поклон и прикладываются к священной деснице Вашей. Много слез пролили все по причине Вашего изгнания...»

Много других писем и депеш получил он еще, и они облегчали его муки.

С паспортом затягивалось. Он просил у астраханской духовной консистории разрешения отслужить обедню. Консистория отписала, его просьбу синоду. Ответ пришел на второй месяц: «...патриарху окажите прием уважительный. Пересмотрите документы. До конца расследования и до получения приказа нашего обедню служить не дозволять».

Пребывая в ожидании и печали, писал он краткую летопись «Житие Картли», которую поднес коменданту Кизляра генералу Фруэндорфу: «Я написал ее по вашему желанию, но стоило это мне больших усилий — не помню я всего. Месхети и Джавахети наши заняли османы — отбили силой. Картли и Кахети тоже понесли много потерь...»

Три месяца вела проверку астраханская дискатерия. И кто знает, чем бы все завершилось, если б не смекалка Александра.

— Едем в Петербург! — объявил претендент на престол. — Три месяца тянется эта волынка, там все прояснится скорее, — каких бумаг недостает.

Величие Петербурга вырвало у Антония те слова, которые он уже произнес однажды, при въезде в Москву:

— Я, Антоний, пришел в Европу!

Алекса́ндре направился в синод, оттуда в коллегия́ю по иностранным делам и, наконец, к императрице.

Он ознакомил с документами обер-прокурора синода и просил принять католика Антония официально, полагая, что это значительно облегчит и ускорит дело.

В десять часов утра состоялась торжественная встреча.

— Вы предпочитаете вернуться на родину или останетесь в России? — спросили его.

— Останусь в России.

Теперь синоду предстояло решить — дать или нет такое разрешение, а если дать — определить, где поселиться католику.

Антоний произвел на всех самое благоприятное впечатление, но о «ереси» его было известно всем. Поэтому окончательное решение оставили за императрицей.

Претендент на трон все разузнавал, последовательно претворяя в жизнь свои намерения.

— Жалкие бумажонки! — говорил он Антонию. — С такими документами тебя — напрямик в Сибирь, лоб расшибать в молитвах.

— Как же быть?

— Немедля подадим прошение царице, дескать, Теймураз оклеветал тебя.

Антоний догадывался, что затеял претендент на трон, и, поразмыслив, какой это даст результат, согласился.

Своему изгнанию он должен придать характер острополитический: он — престолонаследник Картли — был оклеветан кахетинцами, обвинение в католичестве состряпано с той же целью.

Писали вместе, все взвешивали, тщательно отшлифовывая: «Те, кто царит ныне в Грузии — не являются прямыми

наследниками трона. Грузия по праву принадлежит моему де-ду. Правда, я принял постриг, но я не из тех монахов, кото-рые не покидают монастырских стен. Меня не переставала волновать судьба моей страны. Как архипастырь, я наставлял государя, чтоб не допускал он беспорядка... Потому и оклеветали меня, потому свергли».

В прощении ни словом не упоминалось об унии, о церков-ных собраниях, об изгнании. Виновником всего назывался Теймураз — он тиран, похититель короны, притеснитель. Его ни в чем не повинного архипастыря, обвинили в том, что яко бы оказывает он помощь законным престолонаследникам, на-ходящимся в России.

— Да, да, так и напишем, что действительно помогал нам! И Антоний писал: «Находясь в России, укрепился я в своем убеждении, что трон деда моего должен быть возвра-щен наследнику моего деда. Бог свидетель, кроме православия, не признавал я иной веры, все клевета, и я ни в чем не виновен».

«Во владениях государства вашего прошу определить мне место для жительства», — просил Антоний императрицу Ели-завету Петровну.

Соискатель трона пришел в восторг, однако императрицу насторожила личность подателя: «Как же так? Католикос про-тивоборствовал своему царю. Позволял себе вмешиваться в де-ла государственные? Наставлял царя, учил уму-разуму? Ока-зывал покровительство мятежникам и недовольным? Но ведь это измена! Он же миропомазал царя на трон и принес ему клятву верности!»

Царица морщила лоб: разве обвинений этих недостаточ-но, чтоб свергнуть патриарха?! «Без причины-де подвергли меня наказанию». А измена царю не есть причина?

Соискатель трона ввремя уловил недовольство импера-трицы, понял, что допустили они с Антонием промах, и, пока не обрушился на них гнев государыни, подали на имя само-держницы и синода новое прошение. Теперь в нем уже не было порицания Теймуразу, не было ни слова в защиту картлий-ской династии: «...я выступал против чиновничьей наглости, в отсутствие царя чиновники угнетали народ без меры. Им уда-лось восстановить царя против меня, и меня оклеветали — будто принял я католичество. Будь все это правдой, я был бы сейчас не здесь, у вас, а искал бы убежища и защиты у рим-ского папы».

Но и это прошение не вызвало сочувствия, и в нем не звучало искренности, оно тоже писалось лишь в угоду иска-телю трона. Теймураз выглядел в нем правителем бездарным, а к Картли он так несправедлив потому, что она ему не при-надлежит. Об Эрекле же ни в одном прощении не упомина-лось. Обнаглевшими он называл тех из князей, которые, Ан-тоний знал, скончались после отъезда его из Грузии.

— Что бы присовокупить к этому прошению? Что там у нас есть еще? — обеспокоенно спросил Александре.

— Ничего больше не осталось.

— А письма Эрекле? — обрадованно воскликнул соискатель трона.

— Письма Эрекле?

— Да. Лучшего не придумать.

На лице царевича Александре блуждала улыбка, он замечал, что Антоний уклоняется от всего, что касалось Эрекле, и не сомневался, что его предложение приложить к прошению письма Эрекле вызовет решительный отпор католикоса.

Но — «Приложим», — сказал Антоний.

Александре поразился. Антоний же тем временем приписал: «В доказательство своей невинности представляю только что полученные мною здесь, в Петербурге, два письма... Эрекле, царя Кахети, а также письмо сына его — Вахтанга, писанные ими собственноручно, ибо никто лучше них не знает, что возвели на меня напраслину и зря изгнали из родной стороны, а потом просят они меня вернуться...»

Письма Антоний приложил к прошению в качестве документа. Кое-откуда сделал выписки на отдельном листке и приколол к ним.

Александре поглядывал на него с недоверием.

Антоний прекрасно сознавал, что состряпанные ими прошения ни на что не годны, а для его оправдания тем паче, однако делал это, чтоб заверить царевича Александре в своей поддержке.

Последнее прошение и приложения к нему показались синоду и Елизавете Петровне разумными.

Антоний был вызван к обер-прокурору:

— Ваше святейшество! По какому праву вы носите титул «католикоса»?

— По постановлению церковного собрания.

— Какого именно?

— Церковного собрания Грузии.

— А кто дал на это право вашему собранию?

Антоний потерял дар речи.

— Соответствующий документ у вас есть?

— Да, есть! — Антоний положил перед ним оригинал.

— Этот титул получен вами незаконно.

— Как? — встревожился Антоний.

— Вы не обращены в христианство ни одним из апостолов Христа и своевольно посадили на престол католикоса.

— Так ведется у нас с незапамятных времен. Этим титулом величал иерарха Иверии патриарх всея Руси Иоаким.

— Вам этот титул носить не положено!

— Так величали нас фесалийский архиепископ Прокопий Кесарийский, патриарх Антиохии Петр! И потому молю вас не лишать и меня титула предков.

— Я поражаюсь вам. К чему нам фесалийский архиепископ, когда необходимо постановление вселенского собора. А что это за головной убор, да такой дорогой?!

— Это митра, приличествующая моему сану!

— Не приходилось выдвигать.

Синод поручил переяславскому епископу Амвросию собрать необходимые сведения и рассмотреть дело в присутствии

Антония. И вот синоду представлен обширный материал, разъясняющий, как, откуда и когда появился у грузин сей титул.

— Титул этот, — заявил Амвросий, — ниже патриаршего и выше митрополитова, он скорее приравнивается к патриаршему. Принят у григорианцев и несторианцев, у православных же не встречается. Это подтверждают Павел Венецийский, Беварг, Брахар.

Синодом установлено: «Титул католикоса грузинские иерархи присвоили незаконно».

Оставить столь необычный титул этому прибывшему из своей страны главнейшему архиепископу синод счел непристойным, равно как и разрешить ему носить такой великолепный, усыпанный дорогими камнями клобук.

— Конца моему делу не предвидится! А судьи, судьи-то кто?! — обращал все в шутку Антоний.

Александр посмеивался в ответ.

«Дело» же приехавшего из Грузии католикоса Антония обрастало все новыми и новыми материалами. Синод опасался, как бы из-за этого странного клобука и титула не попустился ему впросак.

Александр тайно получил из Бельгии новую партию оружия и уже не мог уделять Антонию внимания.

Антоний томился, тоскуя по родине.

Почта приносила недобрые вести, — Вахтанг, сын Эрекле, письмо которого принесло ему столько радости в Кизляре, внезапно скончался. Джимшер Эристави, который сопровождал его до Степанцминды, вернувшись, отправился в гости в дом Назгаидзе в Мтиулети и той же ночью был коварно убит.

Он получил послание патриарха Антиохии: «Почтенный ваш дядя, католикос Доменти, находясь в ссылке на острове, в Турции, взял займы у французских купцов шесть тысяч леви. Сколько ни писали мы — то в Имерети, то в Картли, — но все тиетно, посему просим искупить грех покойного дядюшки вашего...»

Иерусалимский патриарх Парфен упрекал его — мол, грузинские цари прежде ежегодно помогали нам деньгами, но вот уже тридцать лет не шлют ничего на благо священного града.

Он только что покончил с завтраком и, отдав необходимые распоряжения, уединился в своей келье, все богатство которой составляло уникальное собрание книг и где проводил он свое свободное время за чтением, писанием и в молитвах. На полках — законченные переводы «Книги месяцев года» нижегородского епископа Питирима. На столе раскрыто «Слово о власти и достоинстве царском» Феофана Прокоповича, в котором тот подводил основу под деяния Петра Великого и выступал в защиту просвещенного абсолютизма.

На отдельных листах Антоний выписывал основные взгляды ученого — на отсталость духовенства, на «сиротские школы», на приобщение к грамоте крестьян.

Вот уже второй год, как усилиями царевича Александре-дело Антония завершилось успешно. Синод представил импе-



ратрице результаты рассмотрения. В Петергофе, где в то время пребывал и претендент на трон, царица огласила устный указ: «Архиепископу Антонию, прибывшему в Россию из Грузии, пожаловать какую-либо епархию недалеко от Москвы». И тогда синод закрепил за Антонием архиепископскую кафедру Владимира и Иерополя.

Прибегнув к помощи влиятельных друзей и приложив к тому немало усилий, претендент на трон добился, что за его двоюродным братом оставили титул католикоса, не лишили креста и клобука с херувимом, разрешили ему по-прежнему носить митру, усыпанную драгоценными камнями, и... возвели в сан российского архиепископа.

Нежданная милость — восстановление в сане и оправдание — повергли в ужас врагов опального католикоса. Поползли слухи, якобы сам папа римский отправил Елизавете чрезвычайное послание, оно-то и сыграло тут решающую роль.

Протоиерей Георгий Давиташвили, призванный переводчиком из Свяжска по желанию Антония, помогал ему разобрататься в здешних делах.

Антонию понравился Владимир, один из древнейших очагов русской культуры и христианства. Он поселился в выбранном им самим доме. Пообвыкнув, собрал книгоцеев и окончательно отмежевался от эмигрантского круга, с которым так и не нашел общего языка. Он не то чтобы питал неприязнь к родственным и соотечественникам, затерявшимся на чужбине — нет, его отвращало, что они прибегали к чему угодно для разжигания розни между братьями, он не мог оставаться равнодушным наблюдателем среди тех, для кого единственным стремлением являлась борьба против Теймураза и Эрекле.

Едва обретя покой и свободное время, Антоний с головой погрузился в науки и вновь взял в руки перо. Он не щадил себя, только бы обратить на пользу каждую минуту, удовлетворить любознательность ученого, с юных лет одолевающую его. Он с усердием приступил к изучению иностранных языков и за короткий срок настолько овладел ими, что даже будучи болезненно скромным от природы, мог смело сказать — находясь в России, прочел в оригинале все, имеющееся в книгохранилищах, — греческую, латинскую, французскую, итальянскую, немецкую и русскую научную литературу.

За сравнительно малый срок ему чуть ли не вдесятеро удалось пополнить и без того богатое кафедральное Владимирское книгохранилище. Он на собственные средства выписывал и приобретал книги на иностранных языках. Разрешение многих научных проблем, вставших перед ним в Грузии, он находил здесь, и потому не мог хоть сколько-нибудь оставаться без дела.

Личные достоинства, многосторонние знания и сан способствовали его дружественному сближению с передовыми иерархами России, профессорами академией, с именитыми писателями и выдающимися учеными, поражавшими его образованности и разносторонности интересов. Из грузин больше чем с другими он был близок с писателем, математиком и фи-

лософом Димитрием Цицишвили. Заинтересованный наблюдениями Антония в физике, геометрии и психологии, Димитрий посоветовал ему побывать на лекциях ученых и поделиться с ними своими соображениями.

Он все больше утверждался во мнении, что причиной отсталости и многих несчастий его страны была косность. Все чаще вспоминались беседы с побратимом о просвещении, и он прилежно изучал положение просвещения в России и Европе, знакомился с программами, учебниками.

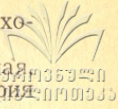
В «Предисловии к философии» он убежденно утверждал, что «учение и наука должны быть одинаково доступны всем... Неученый не постигнет мудрости, надобно, чтоб искатели истины основывали очаги науки... знания и науки должны получить широкое распространение в народе и стать одинаково доступными для всех — для сословия высшего, равно как и для низшего».

В служении богу видел он служение народу и всячески проявлял заботу о пастве. Антоний ввел во Владимирской семинарии изучение философии и посылал ее слушателей в Киев. Он организовал грузинскую типографию, в которой печатались церковные и светские книги, азбука, учебники, издал «Скалу вероисповедания» Яровского, ознакомился с московскими типографиями. Если в первые годы церковной и царской немилости его снедала тоска одиночества, бездействие, чувство оскорбленного самолюбия, тем более, что по приезде в Россию его непрестанно одолевали хвори, то теперь он мог просиживать за письменным столом дни и ночи напролет. Антоний страдал вдали от родины, его мучали воспоминания, но он знал, что нужен Грузии, он следил за всем, что касалось развития учебы и просвещения, наук, хозяйства, и огорчался отсталостью своей страны.

«Мы начали раньше Европы, но нас скрутили, согнули. У нас должна быть своя академия, свой университет, свои семинарии, театры и промышленность. Но как одолеть всех врагов — внутренних и внешних?! Как победить тьму, зависть, сомнение и недоверие?».

Душой и телом он оставался в Грузии, там оставались его друзья и его враги, там находилась арена его деятельности. Почта добиралась до него полтора месяца, но вести поступали ежедневно — он знал о чинимых гонениях, клевете, жестокости. Приезжали друзья, родственники, причиной изгнания которых явился он. Ему сообщили, как был задушен «духами» Бесарион, как изгнали Паиса Иоста... и он переживал за каждого, о каждом горевал. Было мучительно трудно сдерживать свои чувства, kloкочущий в сердце гнев. Он грозился отомстить врагам. Он был заинтересован в получении в России достойной его персоны должности еще и потому, что так мог досадить своим недругам, и желание это было порой так сильно, что он сам стыдился своих мыслей — «терзаюсь, силясь удовлетворить оскорбленное честолюбие и дар всепрощения».

Сан, всеобщее уважение, а более всего возможность творческого научного труда погасили в нем озлобление. Заботы о родине, живое дело во имя ее и людей, возвратили былую бла-



гость, возродили погнанную гордость, растопили душевный хол-
 лод, вернули готовность прощать.

На лице его мелькнула улыбка. Он улыбался, вспоминая
 какие чувства овладели им, когда получил он поэму Захария
 с крупной надписью красными буквами: «Кошке от мышей!..»
 Его потрясла тогда наглость, желчь и цинизм автора. Позже
 его уже не волновали так ни эти письма, ни стихи. Более то-
 го, он не жалел сил, стремясь к примирению с врагами. Ста-
 рался утешить друзей, невольной причиной бед которых явил-
 ся, он неустанно размышлял о том, как бы помочь им, как об-
 легчить горькую их участь. Он надеялся смягчить сердца...

Сел Антоний и стал писать:

«Захарию. Достойнейшему и пречестному отцу.

Антоний — архиепископ Владимирский и Иеропольский
 с благословения господина шлет поклон.

Я, сын ваш духовный, шлю, прежде всего, приветствие
 почтеннейшее и искреннейшее, которое всегда питал к вам.
 Сын божий, желал бы я возродить прежнюю любовь к ваше-
 му святейшеству, приобщиться к безгреховной и праведной
 жизни вашей, желаю также, чтоб пребывали вы со всеми до-
 мочадцами вашими в столь тревожные времена и в дни опалы
 паствы христовой в беззаботности и спокойствии.

Ждал я — думал, напишешь в утешение мне в одиноче-
 стве моем. эпистолу, но понял я, что напрасны были мои ожи-
 дания, и в году нынешнем сам вознамерился передать тебе
 свою эпистолу через одного из тбилисских граждан, от чистого
 сердца написанную. Однако обстоятельства помешали мне, и
 намерение мое осталось невыполненным.

Так как в сердце своем содержишь ты и без того гнев
 на меня, не хотелось мне сердить тебя еще пуще... Хотел я
 послать тебе антиминос, на атласе отпечатанный, ибо знал, что
 святейшество ваше желало иметь его, но не выполнил и этого
 своего намерения — ведь от человека, всеми попираемого, ни-
 кому ничего не надобно. Если интересовался ты судьбой моей,
 то, наверное, слышал и о помиловании, дарованном мне им-
 ператорским величеством, о почтении, питаемом ко мне наро-
 дом и паствой. Однако не стану отягчать сие повествование
 подробным перечислением всего, происшедшего здесь со мной.
 В какое-то время занедужил я телом и душой, но не местный
 климат тому причиной, а множество невзгод, которые при-
 ключились со мной.

Прошу вас о вашей любви отчей к себе, прошу, чтоб воз-
 родил ты по отношению ко мне былую любовь свою и сокру-
 шил молотом спокойствия идол ненависти; я то же свершу, и
 оба мы швырнем этого идола, сокрушенного нами, псам и пред-
 станем друг перед другом с совестью чистой, разумом просвет-
 ленным, и вновь свяжут нас узы родительские и сыновние, не-
 разрывные и дружественные, существовавшие между нами
 ранее, и вновь вознесем мы молитвы, испрашивая добра каж-
 дому из нас...»

Перевод Аллы ПЕРИМ

Окончание следует





Владимир ОСИНСКИЙ

ТОТ, КТО СТРОИТ

О черк

«Я хочу разводить минуты, чтобы там, где раньше росла одна, теперь выростали две».

Джек Лондон. «Время-не-ждет».

Он неприязненно оглядел вечернее небо и безрадостно произнес:

— Завтра будет ветер.. Черт бы его побрал!

Небо и впрямь не обещало хорошей погоды. Весь обзоримый горизонт захламили неряшливые, грязно-черные тучи, Сентябрьский, уже довольно ранний, закат окрашивал их смазанные клочкастые верхушки в кроваво-красные тона, и это придавало тучам какой-то разбойничий вид. Воздух казался холоднее, чем был на самом деле, и хотелось застегнуться на все пуговицы и спрятать руки в карманы.

— Не люблю ветра, — повторил Тристан, и я согласился.

— Понимаю вас. Лучше уж под дождем мокнуть. Ветер действует на нервы.

— На нервы? — словно бы удивился он, затем коротко, одними губами, усмехнулся и с новым ожесточением сказал:

— Мне — тоже. Но, насколько я понимаю, в другом смысле: при шести баллах работать нельзя...

Потом я уехал навстречу огням вступающего в ночь Тбилиси, а он остался под неуютным лилойским небом, хотя его смена кончилась уже давно. Это было вполне естественно, так было вчера и позавчера, так будет завтра, послезавтра, через неделю. Тристан Картвелишвили — бригадир СУ-2 треста № 15 объединения «Тбилгорстрой» и монтажник по профессии, должен думать не только о тех панелях, которые монти-

рует он сам, но и о тех, что монтируют остальные члены бригады. Особенно сейчас, когда с катастрофической быстротой тощает календарь — идет четвертый квартал, да еще этот окаянный ветер, решивший, видно, не дожидаться утра, вот как он свистит уже в темных глазницах будущих окон... Но предвижу скептическую реакцию проницательного читателя: как же, как же, все ясно, вот он — типичный положительный герой, этакий голубой человек, безраздельно отдающий себя любимому делу, преданный своей «нелегкой, но благородной и благодарной» профессии строителя и привыкший даже заурядные атмосферные явления, естественно совершающиеся в природе процессы формирования погоды воспринимать с единственной точки зрения, а именно — будут ли они благоприятствовать успешной работе или, напротив, помешают ей... Предвижу — и ничего не могу возразить. Тристан Картвелишвили действительно предан делу и прогнозами погоды интересуются прежде всего именно в упомянутом разрезе — ветер действует ему на нервы в несколько ином смысле, чем нам. И все-таки не стоит спешить с выводами.

Право, не смог бы объяснить, с чего это вдруг — память, как известно, любит преподносить нам сюрпризы, — вспомнилась мне немножко смешная, трогательная в своей наивной завершенности, история более чем двадцатилетней давности.

Один паренек из семьи потомственных интеллигентов уехал в далекий город поступать в институт. Не прошел по конкурсу, но — гордость заела — домой не вернулся, поступил на работу. Однако родителям в письмах безбожно врал: расписывал, как он ходит на лекции, и какие хорошие ребята вокруг, и до чего город красив, и как интересно учиться. В ответ получал письма заботливые, наставительные, полные родительской любви и — главное! — свидетельствующие о том, что его святая ложь удалась. Прошло время, приехал паренек в отпуск погостить к своим, благо совпал он со студенческими каникулами. Врать отцу и матери в лицо оказалось несравненно труднее, чем в форме эпистолярной, но он продолжал играть свою роль. А утром проснулся и нашел на стуле у кровати номер заводской многотиражки, в которой несколько месяцев назад была напечатана заметка о нем: как, начав с ученика, он быстро стал квалифицированным токарем и даже перевыполняет производственные задания. Никак этот парень не ожидал, что заводская газетка может попасть в родной город из такой дали, да вот попала... Умилительную сценку объяснения с сознательными родителями я опускаю.

Так вот, когда Тристан, окончивший среднюю школу, не попал в вуз, ему не пришлось хитрить с родителями. Неудачу на приемных экзаменах они восприняли с трезвым спокойствием людей, вся жизнь которых была связана с трудом на производстве. Долгие годы проработал на обувной фабрике «Исани» отец, Илья Соломонович. Достигнув пенсионного возраста, и сегодня остается рабочей того же предприятия Офелия Аветисовна, мать. Нет, не потому, что семье пришлось бы

трудно без тех денег, которые она приносит в дом, сын зарабатывает достаточно, и невестка Галя тоже работает.

Почему Тристан Картвелишвили стал строителем? На такой вопрос он ответил следующим образом, причем весьма серьезно:

— Вернулся из армии — не узнал свою улицу имени 5-го декабря. Вместо развалюх, от времени почерневших, — девятиэтажные, из стекла и бетона, новенькие дома... Будто в другой город попал. Наверно, гостиница «Иверия», первое высотное здание в Тбилиси, — сейчас, когда множество других многоэтажных строений в городе поднялось, не привлекает особого внимания, когда же было единственным в своем роде, то выглядело этаким Казбеком среди невысоких холмов, — наверно, даже «Иверия» не произвела на меня такого впечатления, как преобразившаяся навтлугская улица детства... Может, тогда и захотелось строить?

Очень может быть. Вряд ли кто-нибудь в силах однозначно ответить на вопрос, почему люди становятся тем, чем они становятся.

Так или иначе, Тристан Картвелишвили начал работать в строительном управлении № 2 треста № 15 объединения «Тбилгорстрой», начал переделывать тбилисскую улицу 5 декабря — улицу своего детства. Тогда в Тбилиси только началась эра крупнопанельного домостроения. Здесь главная фигура — монтажник. Его работа, говоря упрощенно, заключается в том, чтобы принять панель из стальных рук башенного крана и зафиксировать там, где нужно. Только это легко сказать — принять и зафиксировать. Панель весит 3—4 тонны. работаешь не за письменным столом — на высоте, которая обязывает к предельной точности движений, осторожности, безупречному расчету, и в то же время делать свое дело ты обязан как можно быстрее, чтобы не разрушался стремительный ритм действий других — крановщиков, водителей, всех остальных.

Он учился мастерству у человека опытного, в совершенстве владевшего теми большими и малыми секретами, которые составляют душу каждой профессии, -- у ведущего монтажника Реваза Отиашвили. Тот сумел с самого начала нацелить Тристана на главное, просто, немногословно, в буквальном смысле «в натуральную величину» нарисовал ему модель идеального монтажника: главное — глазомер, главное — точность, главное — быстрота, чтобы «не держать» кран, с ходу принимать единственно верное решение — и уже не менять его, включившись в процесс фиксации панели, доводить до конца без остановки... Счастлив тот, кто попадает под начало настоящего наставника, способного раскрыть святая святых профессии, помочь ее почувствовать и полюбить. Дальше все уже зависит от тебя самого, от искренности твоего стремления овладеть делом, от — в данном случае — зоркости глаз, врожденной быстроты реакций, чувства времени и расстояния, короче — от природой отпущенной тебе степени совершенства организма, гармоничности взаимодействия душевных и физических сил, всего твоего жизненного механизма в

целом. Но главное, конечно, — искренность желания научиться.

У него все оказалось высшей пробы — и «природой даное», и желание учиться, и наставник. (Сейчас Реваз Отиашвили — бригадир на домостроительном комбинате, Тристану довольно часто приходится с ним встречаться, и между ними накрепко утвердились те внешне сдержанные, а по существу — очень теплые и по-настоящему красивые отношения, которые нередко устанавливаются между бывшим учителем и учеником, будь то в науке, на производстве, в спорте или искусстве). Через полгода Тристана сделали строительным мастером, и это было **качественно** новым шагом вперед по дороге жизни.

Он отвечал теперь не только за себя — за тридцать с лишним человек. Среди них были такие же, как он, монтажники, а еще — бетонщики, плотники, электросварщики, крановщики, штукатуры. Есть ли необходимость говорить о том, что без знания хотя бы основ профессий подчиненных руководить ими **компетентно** попросту невозможно. С годами неразрывность этих двух понятий — «право быть руководителем» и «компетентность» обрели для Тристана значимость одного из главных законов жизни. Но и в ту, первую, пору работы на стройке, и сейчас, когда круг его обязанностей, прав, разного рода забот и выполняемых функций сделался неизмеримо шире, важнейшей категорией, определяющей весь комплекс жизненных принципов Картвелишвили, исходной точкой отношения ко всем и ко всему было и остается обостренное, постоянно осознаваемое им чувство **ответственности** — перед товарищами по работе, перед семьей, перед обществом, народом, партией, перед делом.

— Что, по-вашему, главное в работе строителя? — спросил я.

Он ответил, почти не раздумывая:

— Волноваться. Понимаете? Если человек делает свое дело и остается равнодушным — ну, скажем, такое у него настроение сегодня. — то лучше бы ему в этот день вообще на работу не выходить... Пусть тогда лучше в кино идет — все равно толку от него не будет!

Так он представляет себе это самое чувство ответственности — не скучной осознанной необходимостью, требующей от человека добросовестного отношения к делу, а празднично-беспокойным состоянием души, свойством личности, чертой характера.

Кстати, о праздниках. Совсем недавно строители нашей страны отметили — без каких бы то ни было ненужных формальностей, просто вспомнив и критически оглянувшись в прошедшее, — своеобразный юбилей — десятилетие почина Героя Социалистического Труда Николая Злобина. А бригада, которой уже восемь лет руководит Тристан Картвелишвили, работает по примеру московских строителей — методом бригадного подряда с октября 1972 года.

Год этот, как известно, занимает особое место в жизни коммунистов, всего народа Советской Грузии. Центральный Комитет КПСС принял тогда постановление по Тбилисскому,

торкому партии, и началась огромного масштаба творческая работа, направленная к одной общей цели — преодолению отставания республики в экономическом, социальном и культурном развитии, выходу на передовые рубежи в коммунистическом строительстве. Тот, далекий уже, 1972-й стал годом нового подъема гражданской, политической активности трудящихся Грузии, годом многочисленных патриотических инициатив и починов. В области капитального строительства эта активность нашла конкретное воплощение во внедрении труд метода бригадного подряда.

Суть его достаточно полно представлена в первом обязательстве, принятом бригадой Картвелишвили: путем своевременного выполнения всех подготовительных и общестроительных работ обеспечивать фронт работ для специализированных субподрядных организаций; отступление от технических условий и другие недостатки устранять собственными силами, безвозмездно и в пределах установленного календарного срока; сокращая сроки строительства против нормативных, сдавать объекты только с «хорошим качеством» — и так далее. Были в обязательстве еще пункты, но главное заключается не в подробностях — в том, что было это, строго говоря, не просто обязательство, а принцип, положенный в основу трудового соглашения между бригадой и строительным управлением. Подчеркиваю это, ибо здесь имеет место нечто принципиально новое, чего в жизни строителей прежде не было. Именно — трудовое соглашение, потому что администрация управления со своей стороны обязывалась выделить в распоряжение бригады все необходимые механизмы, бесперебойно, в соответствии с графиком и требованиями технологической последовательности доставлять на строительную площадку нужные материалы, конструкции и детали, а также гарантировала ежемесячную выдачу бригаде заработной платы в соответствии с объемом выполненных работ, по аккордному наряду.

В чем суть нового метода организации работы строителей? Пожалуй, коротко о ней можно сказать так: больше прав, и, соответственно, больше обязанностей. Как итог — выше ответственность. И такой «итог» пришелся по вкусу далеко не всем.

Строительство — одна из тех производственных отраслей, где (при прежних методах работы) трудно, а подчас практически невозможно с необходимой точностью определить личную долю каждого члена коллектива в общем объеме произведенных ценностей, или, говоря проще, выяснить, кто сколько заработал и как ему следует платить. Думаю, не будет открытием печальная констатация такого неприглядного — и, к сожалению, достаточно распространенного в строительной практике — явления, как приятное ничегонеделание одних на фоне добросовестного, нередко чрезмерно напряженного труда других. Ничего удивительного: уравниловка, независимо от природы ее происхождения, никогда не способствовала нравственному совершенствованию личности.

Бригадный подряд самой сущностью своей исключал возможность уравниловки, и это обстоятельство не замедлило за-

1959-60
191033

явить о себе в полный голос. В жизни бригады наступил достаточно трудный, подчас связанный с очень сложными, даже порой мучительными превращениями внутри рабочего коллектива период **обновления**. Как в ходе технологического процесса обогащения марганцевой руды стремительный поток вымывает и уносит, за ненадобностью, прочь пустую породу, так отсеивался из бригады всевозможный человеческий шлак — лентяи, бракоделы, прогульщики. Они уходили, потому что новая система организации работы, в соединении с неизбежной специализацией, предельной конкретизацией, уточнением обязанностей каждого члена коллектива, исключала возможность прятаться за спины товарищей, а говоря более грубо, но ясно — жить их трудом. Они не могли остаться, так как метод бригадного подряда означает в первую очередь начисление зарплаты в строгом соответствии с **количеством** и **качеством** работы, выполненной сообща, и последующее ее распределение по **заслугам** каждого.

Процесс «обогащения» был болезненным, как экстракция безнадежного зуба: на стройках всегда остро стоит проблема рабочей силы. Зато, благополучно пережив его, бригада вздохнула глубоко и свободно. Тридцать два человека — монтажники, крановщики, электросварщики, плотники, бетонщики, штукатуры, во главе с Тристаном Картвелишвили, открыли новую страницу своей коллективной рабочей биографии.

Теперь — несколько цифр.

В 1973 году среднемесячная выработка на каждого члена бригады составила 1510 рублей; в 1974-м — 1580; а в первом году десятой пятилетки она перевалила за 2500 рублей. Само собой, неуклонно росла и заработная плата. За два последних года минувшего пятилетия среднемесячный заработок увеличился более чем на треть... Но цифры и факты, эти самые объективные и красноречивые летописцы истории производственного коллектива, еще скажут свое слово в нашем рассказе. Пока же — немного семантики. Вот что пишет в своем «Словаре русского языка» С. И. Ожегов:

СТРОИТЬ: 1. **Создавать какое-нибудь сооружение**, машину и т. п. (строить дом) 2. **Созидать, создавать, организовывать** (строить новый быт, новую жизнь). 3. **Мысленно создавать** (строить планы). 4. **Создавать, организовывать, основываться на чем-нибудь** (строить программу на точных научных выводах). 5. **Выражать, формулировать** (строить мысль, рассуждение)... Всего — семь значений слова «строить». Это у Ожегова. Возможно, время обогатит его новыми смысловыми нюансами и, будущие исследователи их обнаружат. Ограничимся приведенными выше пятью: этого вполне, если не более чем достаточно, чтобы охарактеризовать одну человеческую жизнь, насыщенную до предела событиями, заботами, переживаниями.

Когда Тристан Картвелишвили решил — одним из самых первых в республике — взяться за внедрение метода бригадного подряда, он понимал, что берется за дело большой государственной важности и, следовательно, добровольно взваливает на свои плечи тяжесть большой ответственности. Разумеется, в глубине души он верил, что справится. Больше всего

беспокоил **фактор времени**. Ведь руководить коллективом строителей, работающим по методу бригадного подряда, неизмеримо более сложно, чем возглавлять бригаду ^{обычную}. Больше времени, а главное — знаний, профессионализма, умения каждодневно и ежечасно решать самые разнообразные задачи — требует работа с документацией, оперативная «утрака» множества вопросов, возникающих в процессе приема и распределения непрестанно поступающих материалов, конструкций... Не говоря уже о том, что Тристан, сделавшись бригадиром, по-прежнему оставался монтажником, то есть, как и раньше, должен был быстро и точно фиксировать панели и не «держат кран», чтобы не нарушать стремительного ритма работы остальных звеньев... Вероятно, в ту, раннюю пору он бы просто рассмеялся, как милой шутке, если б ему сказали, что скоро его выберут членом Правительства республики — депутатом Верховного Совета Грузии и что на этом дело не кончится: быть еще Тристану Картвелишвили членом бюро Заводского райкома партии города Тбилиси, участвовать в работе Республиканской комиссии по руководству социалистическим соревнованием, удостоиться звания лауреата Государственной премии Грузии, быть избранным в члены ЦК Компартии республики и, наконец, стать депутатом Советского парламента, участвовать в многотрудной и столь жизненно важной работе постоянно действующей комиссии Верховного Совета СССР по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов... Он бы просто рассмеялся, услышав это восемь лет назад, а затем, сделавшись серьезным, сказал:

— А где взять время на все?

Здесь, мне кажется, будет уместным небольшое (совсем короткое — ведь время торопит!) отступление.

Наверное, из всех возможных дефицитов, с которыми когда-либо сталкивалось человечество, самым острым во все века был и остается дефицит времени. Нехватка времени всегда мешала человеку жить и добиваться цели. И все-таки, в конечном итоге, человек всегда успевал, и, очень возможно, не сущестуй этого извечного дефицита — он бы не сделал всего того, что успел сделать, причем не сделал бы этого так хорошо и красиво.

Помните, как эмоционально высказался Тристан в адрес предстоявшего ветра? Тогда шел последний квартал года, к тому же завершающего года пятилетки... По существу, о том же, но, естественно, совсем иначе, говорил он с трибуны сессии Верховного Совета СССР:

— Успехи в капитальном строительстве даются нам с большим напряжением. Постоянные срывы в поставке материально-технических ресурсов приводят сначала к простоям, а затем к вынужденной штурмовщине, что сбивает ход строительного конвейера, лихорадит стройку, отрицательно сказывается и на плане, и на качестве... Как-то меня, как депутата, рабочие просили разобратся, почему Череповецкий металлургический завод из пяти полагающихся нам вагонов арматуры в третьем квартале не дал ни одного. Обойдя не один десяток — повторяю, не один десяток! — кабинетов, включая

и руководство соответствующих подразделений Госснаба СССР, я кое-как добился получения лишь двух вагонов, да и то в счет четвертого квартала...



И еще:

— Почему мы все работаем «с колес»? Не привезли вовремя — простой. А ведь у хорошего хозяина всегда хоть какой-то запас должен быть, чтоб без лихорадки дело шло! И ведь, как мне известно, такие запасы даются нам на места, больше того — они часто превышают установленные нормы... Но, как правило, не используются, так как в большинстве своем «омертвлены»: металл, цемент вкладываются в ненужные железобетонные изделия, металлоконструкции, либо «омертвленные» запасы ненужных труб, швеллеров и так далее... В этом вопросе надо серьезно разобраться.

Что ж, тут, как принято говорить, комментарии не нужны: вот она — речь подлинного хозяина своей земли, государственного человека.

Мне не довелось быть свидетелем того, как встречался Тристан Картвелишвили, в бытность свою еще депутатом Верховного Совета Грузинской ССР, с избирателями в приемные — депутатские дни. Но я очень живо, отчетливо вижу его подавшимся всем своим небольшим крепким телом к собеседнику, внимательно вслушивающимся в каждое слово человека, который принес ему, слуге народа, свою сбивчивую исповедь, свою боль и заботы. Потому что мне известен случай, когда один ответственный работник районного масштаба (ему в свое время принадлежало весьма весомое слово при распределении жилплощади; теперь, к счастью, уже не принадлежит) в сердцах сказал:

— Ради бога, не присылайте их больше ко мне! — Речь шла о людях, пожаловавшихся депутату на злоупотребления при распределении квартир в новом доме, на что Картвелишвили спокойно посоветовал: — А вы работайте так, чтобы им не приходилось ко мне обращаться.

И, как и во многих случаях раньше и потом, сумелстоять на своем — на неукоснительном соблюдении закона.

В маленькой комнате диспетчерской я дожидался Тристана, когда решительно вошел человек, оказавшийся директором завода крупнопанельного домостроения, и с ходу потребовал разъяснений:

— Машина вернулась неразгруженной... Почему?

Гули Грдзелидзе, диспетчер двух строительных участков, дислоцирующихся в Лило, что-то объяснял, они немного поспорили, потом директор уехал. Диспетчер сказал:

— Вот досадно! Кран испортился, а шофер и рад — поспешил обратно на завод, доложил: строители, мол, принять панели не могут, что мне — простаивать? Эх, не было Тристана! Он бы непременно нашел выход. Я с ним много лет вместе работаю — умеет человек думать, общий язык с людьми находить...

Послушали бы вы, на каком языке говорил бригадир двамя часами позже с ремонтниками, которые ремонтировали на кануне этот самый кран и сделали это, мягко выражаясь, не

вполне добросовестно! Поверьте на слово: ничего похожего на того «голубого» человека, каким он мог бы показаться поначалу.

— Не могу видеть безалаберщины! — сказал Тристан, видимо, желая объяснить резкость своих выражений. — Это ведь бессовестно — ребят подводить. Я уж не говорю об «общем деле, долге» и тому подобном...

Он терпеть не может высоких слов — как и всякий человек высокой идеи. Пусть говорят такие слова штатные ораторы. Нам достаточно короткого и емкого, требовательно напоминающего со стенда: «XXVI съезду КПСС — злобинский ритм!» Конкретнее? Пожалуйста. Вот социалистическое обязательство на 1980 год бригады, руководимой Картвелишвили Т. И.: приложить все усилия для улучшения качества строительномонтажных работ и сдавать все объекты в эксплуатацию с оценкой не ниже «хорошо»; выполнять норму выработки на 110 процентов; путем улучшения политико-воспитательной работы укреплять трудовую и производственную дисциплину; овладеть двумя-тремя смежными профессиями... Вот что стоит за этими привычными, кажущимися подчас, от частого употребления, стершимися формулировками.

В прошлом году норма выработки составила 106 процентов. В переводе на универсальный производственный язык каждый член бригады создал за год на 3700 рублей материальных ценностей (для строителя это — стены, пол, потолок, все то, что в комплексе называется «крышей над головой»). Соответственно — со 176 до 270 рублей вырос средний заработок рабочего. А сейчас — самая, думается, «говорящая» такая вещественная, что ее потрогать, даже погладить хочется, — цифра: 9,1 квадратных метра. Это — площадь жилья, которое строит за одну смену один монтажник (пять лет назад было 5,15 квадратных метра).

Как звонко и приветливо звучит она! Ведь получается так труд каждого монтажника за смену обеспечивает жильем одного человека — меня или вас, наших знакомых, людей, которых мы не встречали и, верно, не встретим никогда, но которые, как и мы, тбилисцы и живут рядом с нами.

«Путем повышения политико-воспитательной работы — укреплять дисциплину...» Что это такое — «политико-воспитательная работа»?

Ну, конечно, это и партийное собрание, и лекция или беседа, и газеты, и радио, и кружок политпросвета. Но это и очищение коллектива от человеческого шлама, которое мы сравнили с процессом обогащения марганцевой руды... Каждый, кто хоть немного знаком со строительством, знает, что одна из самых больших проблем здесь — текучесть рабочей силы. Почти половина членов бригады Картвелишвили работает с ним с самого начала. Это — костяк, ядро, а когда ядро составляет пятьдесят процентов всей «массы», можно говорить о том, что текучесть практически преодолена. Разумеется, люди уходят, кто-то переехал в другой город, кого-то повысили, кому-то выдали удостоверение студента стационарного отделения вуза. Но тут о текучести, само собой, говорить не приходится.

тут уже жизнь распоряжается по-своему. И хорошо распоряжается, если человек поднялся на ступеньку выше... Когда бригада перешла на метод подряда, в ней было 32 человека. Сейчас — 25, вместе с бригадиром, а коллектив выполняет больший объем работ, чем прежде, — вот вам и повышение производительности труда.

Тристан рассказывает о ребятах:

— Смежные профессии? Ну, это просто. Вот братья Васико и Темури Маградзе, они плотники, но владеют и специальностью бетонщика. То же самое — Самвел и Григорий Тумановы (между прочим оба — боксеры)... Очень удобно, даже необходимо: заболел кто-нибудь или что другое — есть кем заменить. Отказываются? Нет, конечно, никогда. Во-первых, дело требует, а оно — общее, причем не на словах, а в самом деле общее: мы ведь работаем по бригадному подряду. Кроме того, хорошие ребята — и все тут. Взять тех же братьев Маградзе (кстати, Темури учится в политехническом) — старательные, добросовестные, воспитанные, порядочные до щепетильности. Я, честно говоря, иногда этой щепетильностью злоупотребляю, знаю: о чем ни попросишь — не смогут отказать, сделают даже то, чего не обязаны делать, понадобится — задержатся на стройке, сколько потребуется. Ничего — свои ведь, не чужие... Или, например, монтажники Давид Кашия, Ким Гевондян, Алим Гоголашвили. Можно спокойно спать, знаю, что не подведут. Об Алиме — особо. Он — один из «стариков», ему тридцать пять, четверо детей — души в них не чаёт. На него, как на каменную стену, можно положиться — степенный, уравновешенный, терпеть не может какого бы то ни было беспорядка. Ну, настоящий рачинец! Вот мы и «скрестили» его с Нугзаром Двалишвили — тот помоложе, довольно экспансивен по натуре, вечно торопится, хотя дело любит и работать умеет. Отличное получилось сочетание — прекрасно дополняют друг друга! Хотя, в общем-то, все мы в бригаде дополняем друг друга.

Точно и емко выразился Тристан. В бригаде — 12 монтажников, три электросварщика, плотники, каждый из которых владеет и профессией бетонщика, штукатурщики — те занимаются еще и расшивкой наружных швов, а также делают стяжку под паркетные полы; наконец, разнорабочие, но они ненадолго задерживаются в этом звании — осваивают строительную профессию, становятся квалифицированными рабочими.

Члены бригады действительно дополняют (а при необходимости взаимозаменяют друг друга), такова сущность работы по методу бригадного подряда. Но кто поможет Тристану, когда приближается экзаменационная сессия в Высшей партийной школе (он перешел на пятый курс) или впереди очередная сессия Верховного Совета СССР, на которой ему предстоит внести предложения в качестве члена комиссии по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, или завтра — заседание бюро райкома партии?

Ясно, здесь ни о какой взаимозаменяемости речи уже быть не может. А вот помощь... Что ж, это смотря как ее по-

нимать. Однако сначала вкратце (время не ждет!) — об участии Тристана Картвелишвили в сессии Верховного Совета Союза ССР десятого созыва, состоявшейся в июне 1980 года.

В пятимильной зоне Черного моря, в районе ~~Поти~~ Очамчире обитает атлантический осетр, рыба, внесенная в «Красную книгу» Грузии, что само по себе красноречиво. Ежегодно здесь ведут отлов хамсы около двухсот траулеров, и вместе с мелкой рыбешкой в сети попадает, чтобы подвергнуться варварскому (иного слова не подберешь) истреблению, эта ценная рыба. Рыбаков, озабоченных подчас только выполнением плана, по сути дела никто не контролирует — ведомственный контроль здесь недостаточен. Значит, необходимо создать специальный контрольный орган, который действовал бы централизованно и располагал соответствующими полномочиями. Дальше. Нет у нас до сих пор такой профессии (имеются в виду высококвалифицированные работники со специальным высшим образованием) — **природоохранитель**. В закавказских республиках, например, не хватает охотоведов. Выход? Создать в Закавказье, при одном из вузов сельскохозяйственного профиля, соответствующий факультет... Вот два из предложений по улучшению охраны природы и использованию ее ресурсов, которые привез на очередную сессию Тристан Картвелишвили — бригадир строителей и член правительства нашего государства.

А что касается помощи, то ведь она бывает разная.

Когда бригада только начинала работать по-новому, в составлении смет и работе с другой финансовой документацией Тристану помогала его жена Галя — преподаватель Тбилисского финансово-экономического техникума.

В одну из наших встреч, дождавшись, когда бригадир закончит довольно темпераментный разговор (не буду пересказывать его содержания, так как велся он в отнюдь не дипломатических выражениях) с одним из представителей организации-поставщика, я спросил:

— Узнал случайно: вы для своей дочки что-то рисовали на днях ночью... Что именно — если не секрет?

Исчезли без остатка следы недавней грозы с лица бригадира, разгладились гневные складки, он заулыбался по-детски и сказал смущенно:

— Да там младшей в школе задали к празднику прощания с букварем выдумать что-нибудь на тему буквы «Т». Я думал, думал... Потом нарисовал цветочную вазу в форме «Т», в ней — Тюльпаны, ваза стоит на Телевизоре, а на экране — Тигр лежит на Траве и курит Трубку... Я хотел сначала Трактор нарисовать — видно, такие уж индустриальные ассоциации в голову лезут, да потом жаль стало девочку... Вам нравится?

Мне Тигр с Трубкой понравился. А вам, читатель?

В заключение — справка: в домах, которые построила бригада Тристана Картвелишвили, живут сегодня тринадцать тысяч тбилисцев.

СОТВОРИ ДОБРО!

БЕСЕДА С ПИСАТЕЛЕМ Ч. АМИРЭДЖИБИ

Грузинский исторический роман. Это жанрово-видовое определение получило права гражданства в нашем литературно-критическом обиходе наряду со ставшими уже привычными — «русская деревенская проза» или «литовский психологический роман». О том, что в современном литературном процессе происходит явление, достойное внимания и пристального изучения, свидетельствует и «круглый стол» с участием критиков Москвы и союзных республик, проведенный Главной редакционной коллегией по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при Союзе писателей Грузии и редакцией журнала «Литературная Грузия».

Традиции грузинской советской романистики, связанные с именами М. Джавахишвили, Ш. Дадiani, К. Гамсахурдиа, А. Кутатели, Л. Готуа и продолженные в наши дни такими мастерами, как Г. Абашидзе, Р. Джапаридзе и другие, более молодые писатели, обогатились в последнее время романами Отара Чиладзе «Шел по дороге человек» и «Всякий, кто встретится со мной..» и Чабуа Амирэджиби «Дата Туташиа», с которыми получил возможность познакомиться русский и всесоюзный читатель.

Обращение этих писателей к исторической тематике могло показаться неожиданным, как, скажем, в русской прозе — С. Залыгина или В. Васильева... Однако в этом факте несомненно отразился тот повышенный интерес, который сейчас проявляют к истории наша литература и искусство.

Чем определен и обусловлен этот повышенный интерес? Что привлекает писателей в произведениях на историческую тему — факты из исторического прошлого народа, события и сюжеты прошлого или характеры исторических героев? Какие уроки преподает нам сегодня история, воплощенная в художественных образах, что мы стремимся познать и усвоить — философию этой истории, ее этику или, так сказать, социально-историческую дидактику, научиться на примерах прошлого, учесть горький опыт, чтобы не повторять его?..

Богатый материал для ответа хотя бы на часть этих и многих других вопросов может дать роман Чабуа Амирэджиби «Дата Туташиа». Он был многократно издан по-грузински и в пере-

воде на русский язык и многие языки народов Советского Союза и зарубежных стран, печатался в журнале «Дружба народов» и отдельными изданиями, наконец, став основой многосерийного телевизионного фильма, был показан по грузинскому, а затем и центральному телевидению, получив, таким образом, максимально широкую аудиторию.

Роман и фильм вызвали огромную почту, широчайший резонанс не только в профессиональной литературной и телевизионной критике, но и у читателей и зрителей. Их многочисленные письма — буквально несколько мешков! — могут стать основанием для определенных выводов и обобщений, имеющих интерес не только для самого автора и создателей фильма, сценарий которого также принадлежит Чабуа Амирэджиби.

Широкое эпическое полотно романа и фильма, заведомо не претендуя на историческую фактографию, буквальную документальную достоверность в описании эпохи, тем не менее рисует масштабную и многостороннюю картину общества на грани XIX — XX столетий, в эпоху нарастания революционной ситуации, приведшей к падению самодержавия. Роман не только ярко рисует противоборствующие социальные силы, но и создает образ человека, наделенного многими достоинствами и добродетелями и, тем не менее, оказавшегося жертвой исторических катаклизмов. Потому Дата Туташиа, при всем его благородстве, уме, отваге, честности и силе, гибнет, раздавленный жерновами истории. Гибнет вызвав, судя по откликам, единодушное сожаление и даже протест читателей и зрителей.

Главный герой романа стал главным героем многочисленных писем в адрес писателя, издательств, киносъемочной группы, оказавшись в центре своего рода полемики с создателями этого образа. Так что первый вывод из ознакомления с читательской и зрительской почтой — это то, что произведения эти восприняты как монороман и монофильм, несмотря на наличие в них значительного количества ярких образов и острых ситуаций.

Думается, причина этого в том, что образ Дата Туташиа сумел ответить на какое-то назревшее в читательской аудитории желание видеть в произведении искусства сильного героя, в котором объединились бы воедино черты героя-мыслителя, героя-проповедника, способного повести за собой, увлечь силой слова и собственного примера, героя действенного, активного, решительного и бескомпромиссного в утверждении своей жизненной позиции.

Предоставим слово письмам.

В КНИГЕ И НА ЭКРАНЕ

«Лит. Грузия» — «У такого человека, как Дата Туташиа, мы — советские люди (т. е. русские, грузины, татары, украинцы) должны учиться добру!» — написал в своем письме челябинец А. Валеев. К этому письму мы еще вернемся, но, думается, тему оно создает для нашей беседы верную. На выход в свет Вашего романа «Дата Туташиа», а затем на демонстрацию по ЦТ многосерийного фильма «Берега», поставленного по роману, откликнулось действительно множество

людей. Верно заметила И. Мангуса из Риги: «Десять лет Вы писали роман, сейчас Вам всю жизнь надо будет читать письма и отвечать на них».

Поскольку ответить всем просто физически невозможно, я попробую стать своего рода посредником между Вами и авторами писем. Но прежде один вопрос «от себя».

Ощущаете ли Вы сами какую-то разницу в письмах, полученных от тех, кто откликнулся на роман, и кто — на фильм?

Ч. А. — По-моему, Вы предлагаете мне проделать работу по анализу и классификации столь специфического вида эпистолярной литературы, как почта писателя и сценариста, поскольку сценарий «Берегов» я же и написал. Не знаю, проводил ли кто такое сравнение, но попробую.

Значительная часть откликов на роман содержит советы, пожелания, предложения по поводу судьбы героев, отдельных линий и т. п. Я считаю, очень полезными такие письма, и не потому, что по ним принимаешься что-то править в своей книге. Нет, они дают представление об интеллектуальном уровне читателя, его духовных запросах, словом, дают картину «читательской конъюнктуры», а это для писателя необходимо.

Другая часть писем — восторженно-благодарственная. Не считите за нескромность, просто доброжелательным читателям и зрителям, наверное, приятнее писать авторам слова одобрения...

«Лит. Грузия» — Должен сказать, что таких оценок в почте действительно абсолютное большинство, хотя в них преобладают не просто восхваления, а порой — весьма серьезные аналитические разборы и рассуждения. И эмоциональное отношение к герою.

«На таких людях, как Дата Туташиа, держится земля, дружба между народами. И все доброе на земле». Л. Лихачева. Новокузнецк.

«Дата... заставил многих призадуматься о настоящем, о прошлом, о будущем». С. К. Лисицын. г. Южный Харьковской обл.

«Благодарю за то, что Вы верите в добро, в то, что хорошие люди на земле существуют». Н. А. Косарихина, г. Запорожье.

Но справедливости ради надо сказать, что встречаются среди откликов порой и такие, где авторы выражают несогласие с какими-то частностями:

«Воспринимая Амирэджиби как собеседника и как оппонента своим устоявшимся и вполне сформировавшимся взглядам, я очень часто не соглашаюсь с ним в детальной точности различного рода частностей». Тов. Осокин из Саратова (вместо своих инициалов сообщивший, что он библиофил).

А есть и просто сердитые письма, вроде присланного Ф. Салаватовой из Набережных Челнов:

«Вы выставили вековые недостатки своего народа на суд зрителей... Ваш фильм «Берега» возбудил у меня такое чувство, будто у меня убили близкого человека».

Уверяю Вас, я не отбирал специально эти письма, просто они «вытащились» из тех четырех мешков по принципу ло-

тери. И все же (или тем более) мне кажется, в них содержится весь спектр типичных откликов, что вызвали роман и фильм. Возвращаясь к вопросу, приведу в заключение фразу из письма Э. Я. Межевич (Москва): «Я думаю, каждому художнику очень важно знать, дошло ли его творение до души людской, для чего, собственно, оно и предназначено».

Ч. А. — Если бы по складу характера я был человеком честолюбивым, то мог бы, ознакомившись с различными взглядами, содержащимися в письмах, сказать самому себе: «Дошло!» и блаженствовать до одурения. Что и говорить, отклики читателей и зрителей подбадривают, помогают работать, учат трезво относиться к тому, что делаешь, я бы даже сказал, вырабатывают иммунитет против мании величия, довольно распространенного среди работников литературы и искусства профессионального заболевания. Но, как говорится, слава богу, речь не о том.

Заметил ли я разницу в своей почте как романист и как сценарист? В чем вижу эту разницу?

На роман пришло больше писем, которые бы я назвал отзывами профессионалов. Их авторы — хорошо образованные, посвященные в тонкости писательского мастерства люди. Излишне говорить, какой интерес представляет эта почта, где каждое письмо — рецензия, и порою умнейшая.

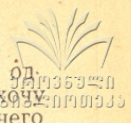
На фильм тоже пришло много писем с советами, предложениями, иногда сожалениями, что такой-то эпизод решен так, а не эдак. Некоторые предлагают продолжить фильм, проследить за дальнейшей судьбой героев, нередко — вплоть до наших дней.

Подавляющая часть этих писем — отзывы об игре актеров, где лавры первенства, и вполне заслуженно, отданы исполнителю главной роли, народному артисту СССР Отару Мегвинетухуцеси.

Но помимо внешних отличий есть и более глубинные.

Проза, любое описание действия, портрет, пейзаж трансформируется читателем в зрительные образы, в «собственный фильм». Художественная литература как бы провоцирует на это, в самой себе неся архитектонику кинодействия, что характерно даже для древних литератур. На эту особенность прозы не раз обращал внимание своих учеников, как известно, С. Эйзенштейн. Словом, путь от устного или письменного повествования к построению пластических изображений проложен человеческой психикой не только в дотелевизионные и докинематографические, но даже, можно сказать, в долитературные времена.

Таким образом, справедливо говорить не просто о способности человека трансформировать повествование в кинодействие, но о присущем ему **свойстве**, развитом и возведенном в новое качество полувековым активным воздействием на него искусства кино. Любопытно, что в части отзывов на роман «Дата Туташхиа» проявилась склонность создавать «собственный фильм» еще до того, как по телевидению были показаны «Берега».



Знакомство же с почтой по фильму столкнуло меня с ним необычным явлением, размышлениями о котором я поделиться здесь, хотя бы лишь в качестве гипотезы, ничего не утверждая и не навязывая.

Авторы этих писем в большинстве своем не читали романа и, во всяком случае, не проводят сравнений и сопоставлений с ним, что я считаю естественным и правильным, так как фильм, по какому первоисточнику он ни создан, является оригинальным произведением и судить о нем надо по критериям и законам кинематографического искусства.

Так вот, мне кажется, что кинематографический, а теперь еще и телевизионный опыт не только помог человеку усовершенствовать способность мыслить зрительными образами, но и научил создавать или воссоздавать из зрительных образов литературный первоисточник. То есть человек начал прокладывать обратный путь — от пластического изображения к литературному образу.

Повторяю, это не тот случай, когда, посмотрев фильм по известному первоисточнику, зритель начинает рассуждать об их сходстве или различии. Нет, он в своем воображении создает «свой роман», опираясь на жизненный опыт и интуицию, на знание специфики кино и литературы.

Что толкает зрителя на это? Очевидно, причин здесь множество, и они заслуживают специального исследования и обсуждения...

Если же исходить из моего личного опыта, то после чтения полученной почты мне начало казаться, что дело вот в чем. Читатель художественной литературы в большей или меньшей степени всегда соучастник творческого процесса. Скажем, диалог или описание дают ему стимул самому домысливать наружность героя, тембр его голоса, дикцию, манеру поведения, жесты, все умышленно или неумышленно опущенные автором при описании детали, всю эстетику произведения.

Кинематограф же все это дает в готовом виде, предлагает, скажем, героя именно с такой наружностью, голосом, дикцией, походкой и т. д. Зритель вынужден принимать предложенную ему схему, он, если можно так выразиться, лишь потребитель искусства, тогда как читатель — всегда соавтор. И это отражается в восприятии произведений кино и литературы, их оценках.

«БУДЬ МОИМ БРАТОМ, ДАТА!»

«Лит. Грузия» — В прочитанных мною письмах меня привлекла одна черта, объединяющая их в страстном, активном стремлении к утверждению нравственных принципов, в осознанном желании обрести в произведении искусства — будь то роман или фильм — этический эталон, образец для подражания. Как мне кажется, в этом обе категории Ваших корреспондентов сходятся в восприятии героя. Создают ли они собственный зрительный образ Дата Туташхиа или же, наоборот, идут к его литературной реконструкции от экранной

версии, они единодушно признают в нем героя, человека / исключительных нравственных и человеческих качеств, человека мысли и действия. И судя по письмам, и те и другие давно ждали такого, в нем была потребность.

«Я имею сына и дочь и очень хочу, чтобы мой сын походил характером на Дата». Лариса Мехтиева из Баку.

«Очень счастлива, что встретила с Дата, который мне и моим друзьям поможет жить еще чище и интереснее». Фаина Попова из Сызрани.

«Этот человек не хотел ничего, кроме добра людям». Теодор Сыч из Новошахтинска Ростовской области.

«Не знаю, был ли такой герой или это взято от многих людей вашего народа, но все, что он делает, говорит — внушает большую любовь, уважение к нему лично и его народу». Моисейченкова из Кременчуга.

Дело доходит даже до того, что Дата (литературному и экранному персонажу!) жалуются на какие-то беды и несправедливости, ищут у него поддержки и совета, даже приглашают его в гости как живого, реального человека!

Вот как обращается к нему Сергей Дмитриевич Тараман из села Мелекино Донецкой области: «Здравствуй, дорогой брат Дата Туташкиа! Приезжай ко мне в гости, ты тоже наверно изрядно устал, борясь со своими врагами и несправедливостью. Живу я в хорошем курортном месте, дом мой в 150-200 метрах от золотистого азовского пляжа...» И в заключение восклицает: «Будь моим братом, Дата!».

Можно, конечно, подивиться трогательной наивности подобных исповедей, можно умилиться их искренности, но, как мне кажется, содержат они нечто гораздо более важное, вызревшее. Видно, затронул чем-то Ваш герой многие души, в чем-то ответил на ожидания и чаяния, иначе не получил бы такого отзвука.

Ч. А. — На мой взгляд, мы имеем здесь дело с явлением нравственного поиска, столь характерного для наших людей вообще, и особенно в наше время. Нравственность — основной регулятор в процессе общения человека со средой, добывания пищи духовной и материальной, общения с другими людьми, с обществом.

Основным же показателем нравственности и индивидуума, и общества я считаю способность к сотворению добра, и очень рад, что у меня оказалось столько союзников. В конечном счете, главный критерий для оценки уровня духовного развития того или иного народа и общества — качество и степень их гуманности, а гуманность не что иное, как активное добротворчество.

Думаю, главный смысл приведенных отрывков из писем сводится к тому, что человеку нравственному изначально присуще творить добро самому, пользоваться добрыми делами других и радоваться им, где, когда и кем бы они ни совершались. Есть, конечно, и такие, кто требуют добра от всех, сами же думают лишь о том, чтобы стричь купоны с собственного эгоизма и альтруизма других.

Думаю, среди авторов полученных нами писем большинство может быть названо потенциальным, а подчас и действующим «Дата Туташиа». Слава богу, вокруг нас гораздо больше таких людей, кто заслужил право иметь братом Дата или человека нашего времени, подобного ему, и я убежден, подсознательно они мечтают о таком человеке не только для того, чтобы «взять» от него, но и чтобы отдать свое, проявить активную доброту, стать верным другом и братом.

«Лит. Грузия» — Может быть, такое пристрастно-благожелательное отношение к человеку другой социально-исторической обстановки, действия которого совсем не похожи на сегодняшней обычный поведенческий стандарт, следует объяснить «тоской по герою», объединяющему в своем лице три таланта — мысли, слова и действия?

Ч. А. — Людей, несущих в себе самые возвышенные качества и жаждущих в деле реализовать их на благо ближнего, обществу — великое множество вокруг нас. Я верю в это. Еще больше тех, кто жаждет обрести преданного друга, благородного носителя нравственных совершенств, способного к бескорыстному добротворчеству, без оглядки на то, «а что я буду с этого иметь?» Человек рожден, чтобы сперва научиться отдавать, а потом — получать, брать. И моим корреспондентам хочется пожелать с той же активностью и заинтересованностью, как в героях литературы и искусства, искать черты героизма и нравственности в реальной действительности, вокруг себя, в самих себе — а для этого есть все основания, поиск не будет безуспешным!

Сотворенное добро уже существует объективно, оказывая благотворное воздействие не только на «объект», но и на того, кто сотворил его!

Убежден, добро можно считать одним из видов энергии, которая не исчезает. Мы знаем, что воздается за содеянное зло, но точно так же воздается за содеянное добро. Лично я точно знаю, за какие свои поступки в жизни какими победами и поражениями я заплатил.

Самый благодарный объект приложения нашей способности к добротворчеству — наш народ, наша Родина.

Что можно сказать С. Тараману и другим авторам подобных писем? Не скупитесь делать добрые, благородные дела во имя Родины, и у вас будут братья, подобные полюбившемуся герою.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН УМИРАЛ!»

«Лит. Грузия» — У многих из Ваших корреспондентов один вопрос вызвал наибольшую заинтересованность и даже, можно сказать, противоречия в оценках. Я имею в виду гибель Дата Туташиа, так полюбившегося читателям и зрителям, в результате коварства и предательства со стороны враждебных ему представителей царской охраны и вдобавок от руки сына, правда не ведавшего, что он обрекает на смерть собственного отца. Что это — поражение добра и призна-

ние его беспомощности в извечном единоборстве со злом? Некая случайность, не подтвержденная художественной логикой произведения? Эпизод, имеющий символический или аллегорический смысл? Как соответствует подобный финал героя высказанному Вами убеждению, что добро не пропадает и не исчезает, то есть в конечном счете оказывается победителем над злом?

Во многих письмах содержится решительное несогласие с подобным решением судьбы героя.

«Надо сделать так, чтобы этот прекрасный человек жил! Просто обидно до глубины души за такой конец». Татьяна Кащенко из Алушты.

«Хотелось бы увидеть, что он поправился (его находят друзья, на встречу с которыми шел Дата) и как в дальнейшем сложится его судьба революционера, мужа и отца». Е. Е. Шнейдер и другие из Минска.

«Конечно, жаль, что Ваш герой не дожил до великих дней Октября, а он, по нашему мнению, сделал бы еще много полезного для революции и своего народа». Семья Чернецких из г. Славянска.

А группа телезрителей из г. Иваново прямо так и пишет: «Мы заявляем решительный протест по поводу неправильного окончания телефильма «Берега» — и далее предлагают собственный вариант окончания или продолжения фильма: Дата Туташхиа, спасенный случайно оказавшимся поблизости от места трагического происшествия пасечником, выздоравливает, участвует в революционных кружках, в стачках ивановских ткачей, сражается в дивизии Чапаева и Конармии Буденного и, наконец, счастливо завершает свои дни в кругу семьи, окруженный внуками, уже в должности председателя колхоза!

Есть, правда, письма, авторы которых увидели в предложенном автором финале биографии героя историческую символику, аллегорический смысл: «Конец очень интересен: героя, витязя добра и справедливости, убивает собственный сын. Сын этот, как олицетворение современного человека, который забыл или не знает законов отцов». Г. М. Хватова из Горького.

Независимо от того, имелось ли в виду подобное толкование развязки или оно оказалось неожиданным даже для автора, надо сказать, что абсолютное большинство писем спорит с ним.

Господствующая точка зрения наиболее решительно и темпераментно выражена в письме челябинца А. Валева, которого мы уже цитировали вначале:

«Не хочу! Не хотим!!! Не хотим, чтобы умирал Дата Туташхиа. Нам такие герои нужны как воздух. Мы должны воспитывать своих детей хорошими людьми на примере хороших людей. Хорошие люди, как Дата, должны жить!»

Ч. А. — Да, есть что-то в профессии писателя от палача и убийцы. Но ведь даже в жизни в различных обстоятельствах преступление квалифицируется по-разному. Как известно, человек, совершивший убийство, обороняясь, оправдывается судебным вердиктом! Тут важно, чтоб оборона была необходима!

Вообще убийца не подлежит ни оправданию, ни милосердию.

Помните южноамериканский анекдот о человеке, который хотел указать своему попутчику родного брата в компании двух приятелей на другом берегу реки? Он не нашел лучшего способа, как пристрелить двух «лишних», и сказал: — Вот тот, что остался. Это, конечно, крайний случай. Но сколько людей стали жертвой корысти и злости, неосторожности и невнимательности! Разве могут быть аргументы для оправдания подобного!

Однако профессия писателя настолько уважаема у нас, что порой ему «сходят с рук» даже подобные убийства, совершенные им на бумаге, которая, как известно, все терпит.

Но логика жизни, логика искусства, логика истории иногда делает неизбежной смерть героя. Так, кажется, любой иной конец жизненного пути Дата был бы изменой правде жизни. Каждое последующее поколение в определенной степени выступает как отрицание предыдущего. Это особенно справедливо для эпох переломных, революционных, для человека, общества, человечества. А ведь именно в такую эпоху и происходит действие романа и фильма. И разве смерть Дата — его поражение?

Каждое поколение вырабатывает и исповедует свои собственные взгляды, нравственные критерии, отношение к миру и обществу. Логика времени, логика художественной правды, логика развития правды требовали именно такого конца. И выстрел прозвучал!

Если бы герой был «осужден на смерть» в книге только для того, чтобы, по хитроумному расчету автора, глубже «вместиться» в память читателей, вызвать у них сожаление и сочувствие, то никаких оправданий это не имело бы. Автор, ставящий себе целью выжать слезу по адресу своего героя, обрекает себя и свою книгу на поражение.

Дата Туташиа убит, он не мог жить и действовать дальше, оставаясь таким, как он выведен в книге и в фильме. В таком трагическом финале, хоть большинство, как видно, и не разделяет моей точки зрения, лично для меня наиболее сильно выражено предощущение его торжества, вера в победу человеческой совести, разума и благородства. Вера в победу добра.

Беседу вел Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ

ДНЕЙ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ...

...В письмах Бориса Пастернака, адресованных в канун войны Нине Табидзе, чувствуется отмеченная им самим «новая жажда жить и действовать»; в них — отзвук нравственного кодекса поэта, объясняющего нам то ощущение счастья, которое вопреки всему назревало в нем. В одном из писем Борис Пастернак касался источника этих ощущений: «Ясность линий и цели все мне облегчает, я ко всему наперед готов и за все судьбе и небу скажу спасибо». И еще: «...Мне же вести себя по-другому нельзя, а эта неотменимость преисполняет меня счастьем».

Впервые после четырехлетнего перерыва им были написаны и опубликованы стихи. Это — цикл «Переделкино», названный позднее иначе — «На ранних поездах» — и вошедший в одноименную книгу 1943 года, включенную, в свою очередь, в 1945 году в сборник «Земной простор», объединивший предвоенные и военные стихи 1941 — 1945 годов.

«Переделкино» — новый «световой ливень» в творчестве Пастернака. Вновь, как и «летом 1917 года», обостряется спасительное и чудотворное чувство кровного родства с природой и жизнью. Жизнь снова становится ему названной «сестрой». И если «Сестра моя — жизнь» открывалась неожиданным, казалось бы, лермонтовско-грузинским стихотворением «Памяти Демона», а «Второе рождение», обнародованное десять лет спустя, зачинали уже вполне объяснимые своей «грузинской» адресованностью «Волны», то камертоном переделкинского цикла суждено было стать стихам, где новый «выход в свет», предопределенный не только новыми веяниями года, не только явственно различимой чутким слухом поэта новой, здоровой пульсацией народного сердца, но и неотделимой от всего этого природой русского Подмосковья, этот новый, повторяем, «выход в свет», точно в былые времена, воскресил в памяти поэта «выход к морю»... На сей раз это воображаемое море возникло где-то за стволами переделкинских деревьев. И над соснами Подмосковья вознеслись волны явно кобулетского прибрежного простора:

В траве, меж диких
бальзаминов.
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув,
И к небу головы задрав.
Трава на просеке сосновой

Непроходима и густа,
Мы переглянемся — и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены,
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

...И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,
И столько широты во взоре,

Ведь это берег у кобулетского курзала 1931 года: поплавок, афишная тумба. И разве так уж неразличимы здесь отголоски тех — десятилетней давности — ямбов:

Передо мною волны моря,
Их много. Им немислим счет.
Волна подаст свой голос в хоре
И новой очереди ждет...

...Гуртом, сворачиваясь в
трубку,

Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.
Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель еще не полн,

Перекличка этих ямбов — через десятилетие — знаменует в симфоническом развитии и самодвижении поэзии Пастернака воскрешение духовной, а не только музыкальной темы «Второго рождения». В «Инее», «Городе», «Вальсе со слезой», «Дроздах» эта тема нарастает, чтобы достигнуть музыкальной вершины в поистине светоносном стихотворении «Опять весна», а духовной своей кульминации — (по примеру тех же «Волн», где «выход в свет, и выход к морю, и выход в Грузию из Млет» оказался равнозначным выходу к «далям социализма») — в стихотворении, ставшем сердцевинной, средоточием смысла, породившего весь цикл, и давшем ему общее название — «На ранних поездках»:

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,

И так покорно все извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится все время мне,
Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.
А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мгlistой дымкой янтара.
Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.
А волны все шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

Но все их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.
...Растет и крепнет ветра
наatisk,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на
смотру.

Обходят линию прибоя,
Уходят в пены перезвон,
И с ними, выгнувшись трубою,
Здоровается горизонт.

По делу в городе бывал.
...В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком

Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.
Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.

Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов
Холодного

Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

22 июня 1941 года было еще впереди, хотя «в воздухе пахло грозой», как пелось в популярной песне тех дней. Однако Море, Небо и Земля — во всем охвате своего образно-символического значения, совпадающего со смыслом понятия Народ, — тревожными волнами, грозвыми облаками, дыханием почвы и судьбы вторгались в сердце и слух поэта. И что бы она ни предвещала, — тревога эта была чудесна и была единственным источником счастья, ибо она была истинной, а не ложной, правдой, а не выдумкой, живою, а не внушенной колдовскою силой мертвой и мертвящей буквы. И если о предоктябрьском «лете 1917 года» в судьбе Пастернака Марина Цветаева говорила, что «слово Пастернака о Революции, как слово самой Революции о себе — впереди», что «летом 17-го года он шел с ней в шаг: вслушивался», то ныне мы могли бы так перефразировать эту «формулу»: слово Бориса Пастернака об Отечественной войне — впереди. Весной и в начале лета 1941 года он илет в шаг со временем: вслушивается.

Были дважды два слова, которых из песни не выкинешь: «слушайте революцию» и «шум времени». В 1941 году их действительный смысл сошелся — не мог не сойтись и не осуществиться в Пастернаке. И он мог бы сказать о лете сорок первого года то, что сказал о лете семнадцатого — с естественным коррективом на четвертьвековую дистанцию и разность эпох: «Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным. Мне теперь кажется, что, может статься, человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой, более мужественной и чистой жизни и не знает о своих тайных замыслах и их не подозревает. Но стоит поколебаться устойчивости..., достаточно какому-нибудь стихийному бедствию или военному поражению пошатнуть прочность обихода, казавшегося неотменимым и вековечным, как светлые столбы тайных нравственных залеганий чудом вырываются из-под земли наружу. Люди вырастают на голову, и дивятся себе, и себя не узнают, — люди оказываются богатырями. Встречные на улице кажутся не безымянными прохожими, но как бы показателями или выразителями всего человеческого рода в целом».

В книге Бориса Пастернака, которая по мере «вслушивания» поэта в шум времени и музыку истории, росла и расширялась сообразно последовательной смене своих названий — «Переделкино» — «На ранних поездах» — «Земной простор»

— в этой поистине ясновидящей и одухотворенной книге было передано, в применении к 1941 году, «это сказочное на- строение», «это ощущение повседневности, на каждом наблюдаемой и в то же время становящейся историей», «это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза».

Поэтический дар Бориса Пастернака, правомочный не только «услышать будущего зов», но и «привлечь к себе любовь пространства», и этою весною, как и тогда, тем летом, смог вычитать и выслушать в самой природе письма и нотопись — светопись — счастья, человечности, естественности, свободы:

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнава, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда,
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой.
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду ледяном быстрина,
Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья — бред бытия.

Такова любовь «пространства», из конца в конец «охваченного горячим тысячеверстным вдохновением и кажущегося личностью с именем, ясновидящим и одушевленным». А вот и «будущего зов», услышанный поэтом в майские праздничные дни сорок первого года, за месяц с небольшим до двадцать второго июня, названный им в стихах «Присягой» и совместивший в себе голос счастья и голос тревоги, голоса доблести, подвига и славы:

Толпой облеплены ограды,
Б шагах печатный шаг с утра,
Трещат пропеллеры парада,
Орут упорно рупора.
Три дня проходят как в угаре,
В гостях, в театре, у витрин,
На выставке, на тротуаре,

Три дня сливаются в один.
Все умолкает на четвертый.
Никто не открывает рта.
В окрестностях аэропорта
Усталость, отдых, глухота.
Наутро отпускным курсантом
Полкомнаты заслонено.

В рубашке с первомайским
бантом

Он свешивается в окно.
Все существо его во власти
Надвинувшейся новизны.
Коротким сном огня и счастья
Все чувства преобразены.
С души дремавшей снят
наглазник.
Он за ночь вырос раза в два.

Так перекликается «речь половодья» с «огнем и счастьем», опалившим сына, присягнувшего «отстоять права» и «отдать жизнь».

Грянула война. Перечитайте «Страшную сказку», «Правду», «Бобыля». Это чувство горя и горечи, печали и боли — за первые жертвы, за детей и женщин, за первые разрушения — не могло не отстояться стихами, не выразиться стихом. И если ритму стихотворения хоть в какой-то мере суждено передать душевный жест и состояние духа как пишущего, так и тех, ради кого и от имени кого он пишет, то «Страшная сказка» даст нам возможность приобщиться к этому состоянию (напомним и одновременно родившийся ахматовский «Первый дальнбойный в Ленинграде»):

Все переменится вокруг,
Отстроится столица,
Детей разбуженных испуг
Боеки не простится.
Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.

Усеченный ямб, как бы сменивший в силу этого стремительность своего природного мажора на скорбно-элегическую сосредоточенность, сохранен и в «Правде» (поначалу озаглавленной иначе — «Духу родины»), хотя предмет раздумья здесь иного масштаба и иного плана, и мысль поэта перенесена от конкретных человеческих судеб к конфликту противоборствующих сил истории, к этическому смыслу разыгравшейся трагедии:

Чего бы вздорного кругом
Вражда ни говорила,
Ни в чем не меряйся с врагом,
Тебе он не мерило. .
Ни с кем соперничества нет.
У нас не поединок.
Полмиру затмевает свет
Несметный вихрь песчинок.
Пусть тучи пыли до небес,
Ты высишься над прахом,
Вся суть твоя — противовес

К его годам прибавлен
праздник.
Он отстоит свои права
На дне дворового колодца
Оттаивает снега пласт.
Сейчас он в комнату вернется
К той, за кого он жизнь
отдаст.
Он смотрит вниз на эти комья.
Светает. Тушат фонари.
Всё ежится, как он, в истоме,
Пресечивая изнутри.

Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
как Ирод в Вифлееме.
Настанет новый, лучший век.
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

Коричневым рубахам,
Ты взял над всякой спесью
верх
С того большого часа,
Как истуканов ниспроверг
И вечностью запаса.
Пусть у врага винты, болты,
И медь, и алюминий.
Твоей великой правоты
Нет у него в помине.

Это воистину обращение к духу родины, высказанное как бы на духу, почти про себя и для себя, словно в продолжение сбереженных «в сердце сердца» интимных раздумий начала тридцатых годов о главной правде века, о том, что «страны века громче отдельных правд и кривд», что нужно «верить революции в целом, судьбе, новым склонностям сердца... Веку, а не неделе», о том, что «все живо, векам не пропасть, и жизнь без наживы — завидная часть». Это потрясающая по искренности, по глубине анализа и силе самоуглубления рефлексия. Это область духа. Но как только такая адухотворенность устремилась вовне, чтобы в непосредственных участниках героической эпопеи, «безымянных героях осажденных городов» увидеть и воспеть честь и достоинство, правду и самоотверженность лучших сынов века — в стихи Бориса Пастернака на время и, казалось бы, неожиданно ворвалась торжественно-стремительная хорейская стихия, завладев двумя или тремя стихотворениями, чтобы затем вновь уступить место пристально-описательным полновесным ямба (а то и с дактилическими выдохами в рифмовке) или протяжно-волнообразным вариациям трехстопных ритмов. Такое движение и динамичное перевоплощение пастернаковского стиха вполне понятно и весьма закономерно, особенно если вспомнить им самим выраженное как-то отношение к этой ритмической подоснове стихотворного речения — в случае с пушкинскими ритмами: «Как много зависело от выбора стихотворного размера!.. Едва с подражаний Оссиану или Парни... молодой человек напал на короткие строки «Городка» или «Послания к сестре», или позднейшего кишиневского «К моей чернильнице», или на ритмы «Послания к Юдину», в подростковом пробуждался весь будущий Пушкин. В стихотворение, точно через окно в комнату, врываются с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи... Точно этот, знаменитый впоследствии, пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования... Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи были выражены в величинах длительности некрасовским трехдольником и некрасовской дактилической рифмой». Борис Пастернак — через Блока — как бы получает в наследие все эти ключи к тайнам «русского существования». Это особенно сказалось в стихах военных лет и последующих, хотя еще амфибрахий «Марбурга» воскрешал — в более стремительном потоке — степенное течение некрасовского амфибрахия. Но, как говорится, неисповедимы пути поэтической интуиции... И так уж получилось, что четырёхстопный хорей в военные стихи Пастернака пришел как бы окольным путем. Это стало ясным, когда, вслед за классически-торжественным —

Безымянные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти пережат,
Вы векам в глаза смотрели,
С пригородных баррикад, —

у поэта возникла потребность применить к подвигу самоотверженных воинов знаменитое руставелиевское изречение, ставшее афоризмом и столь популярное в предвоенные годы, когда в связи с юбилеем «Витязя в тигровой шкуре» один за другим публиковались русские переводы поэмы. Афоризм этот в наиболее распространенном русском переводе гласил:

Лучше смерть, но смерть со славой,
Чем бесславных дней позор.

Эта заповедь патриотической доблести и гражданской чести оказалась вплавленной в чисто пастернаковскую бытовую разговорную материю, явив таким образом необходимый и естественный сплав, каким и была естественность и органичность героических решений и свершений защитников родины в те дни:

Вам казалось — все пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Связав таким образом нравственную заповедь, донесшуюся из глубины веков и из исторической дали родины своих друзей, с самоотверженной одухотворенностью соотечественников и современников, поэт завершил и свою оду вновь классически-торжественной кодой:

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

Это все еще 1941 год — самый страшный, самый тяжелый год войны. И чем грознее была беда, обрушившаяся на страну, тем сильнее духом, воодушевленнее и великодушнее был поэт. В стихах, письмах, очерках 1942-43 годов подводятся итоги всем этим первоначальным раздумьям и душевным порывам и делаются новые наблюдения и выводы, превосходящие и опережающие Победу. Даже простая хроникальная информация о жизни Бориса Леонидовича в эту пору сама говорит за себя. Послушаем одного из наиболее авторитетных и безупречных биографов и исследователей творчества Бориса Пастернака — известного поэта и критика Льва Адольфовича Озерова:¹

«В самом начале сентября 1941 года Пастернак писал жене в Чистополь: «Я делаю все, что делают другие, и ни от чего не отказываюсь, вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обученье строю и стрельбе...» Еще через три дня: «Вчера у меня счастливый день. Утром я стрелял лучше всех в роте (все заряды в цель) и получил отлично»... В начале и

¹ В статье не привлекаются факты из прекрасных воспоминаний 1974 г. Я. Хелемского, ибо она написана раньше — Г. М.

в ходе Великой Отечественной войны Борис Пастернак добивался, чтобы его послали на фронт. Об этом он писал в письмах, адресованных жене — З. Н. Пастернак, находившейся в ту пору с детьми в Чистополе. «Я просил Фадеева устроить мне поездку на фронт. Он взялся за это очень горячо, но вот видишь, я по сей день в Москве. Теперь я обратился с той же просьбой в редакцию «Красной звезды» и, наверное, на днях уеду в названном направлении числа до 20-го...» — пишет Пастернак в ноябре 1942 года. В начале декабря того же года: «Три недели тому назад я выразил желание побывать на фронте Фадееву и в редакции «Красной звезды». Это приняли так горячо, что у меня создалось опасение, дадут ли мне полчаса для необходимых сборов. Последние две недели я каждую ночь (в редакции работают ночами) звонил в «Красную звезду» и каждый раз мне отвечали, что меня снарядят на днях». Поездка состоялась лишь в августе 1943 года... В политотделе Третьей армии, которой командовал генерал-лейтенант А. В. Горбатов, возникла идея о создании книги, посвященной битве за Орел. Эту мысль поддержал начальник военно-исторического отдела Генерального штаба генерал-майор Н. А. Таленский. Для подготовки книги было решено обратиться к писателям. 28 августа 1943 года бригада писателей, в которую входили А. С. Серафимович, К. А. Федин, Б. Л. Пастернак, В. В. Иванов, вдова Н. Островского — Р. П. Островская и другие, выехала на фронт. Писатели участвовали в митингах, беседовали с солдатами и офицерами. Так, Б. Л. Пастернак вместе с А. С. Серафимовичем и Р. П. Островской участвовал в митинге, посвященном книге «Как закалялась сталь» и армейцам-корчагинцам. В другой раз Пастернак читал солдатам стихи из книги «На ранних поездах».

Л. А. Озеров приводит и такие сведения о журналистской работе Б. Пастернака в годы войны: «...Сохранилось его обращение «К бойцам Третьей армии». В этот период Пастернак принимал участие в военных сборниках, печатался в газетах «Красная звезда» и «Красный флот»; по приглашению командования фронтом участвовал в сборнике «В боях за Орел». В бумагах Пастернака сохранились отчеты штаба фронта, использованные им при написании таких стихотворений, как «Смерть сапера», «Разведчики», «Преследование» и др.

Стремление всеми доступными ему средствами участвовать во всенародной военной страде настолько захватило Бориса Пастернака, что он даже судьбу своих шекспировских переводов стал воспринимать в этой целенаправленности. Так, в мае 1942 года Борис Леонидович писал главному редактору Детгиза в связи с предполагаемым переизданием «Гамлета»: «...Передовая часть юношества будет знакомиться с Гамлетом по этой, наиболее живой и естественной трактовке, как делает она это и сейчас и как вероятно это в еще большей степени будет с «Ромео и Джульеттой». Потому что, несмотря на сдержанность рекомендации в послесловии, Гамлет провел неслыханную, ошеломляющую зиму на фронте и в лазаретах, у постелей умирающих и в обстоятельствах вынужденных переселений...»

Естественно, что испытания войны, которые оказались также и в прямом смысле этого слова испытанием — т. е. экзаменом — для всего советского народа и создаваемого им общественного уклада, с новой силой оживляли в Борисе Пастернаке весь комплекс переживаний и раздумий, связанных с историческим переломом, переворотом, который, несмотря на понятные и непонятные, закономерные и противозаконные осложнения, продолжал лежать в основе хода времен, цементируя их связь и служа им не только причиной причин, но и движущей силой, но и «телеологическим» ферментом, но и нравственным оправданием и духовной опорой. Ясное сознание исторической правомочности и моральной правомочности этого перелома продиктовало Борису Пастернаку в ноябре 1942 года, в день, когда внимание всего мира было приковано к Москве, стихи к Октябрьскому двадцатипятилетию, предназначенные тогда для «Комсомольской правды» и озаглавленные лаконично и красноречиво — «1917 — 1942»:

Заколдованное число!
Ты со мной при любой
перемене.
Ты свершило свой круг и
пришло.
Я не верил в твоё
возвращенье.
Как тогда, четверть века
назад,
На заре молодых вероятий,
Золотишь ты мой ранний
закат
Светом тех же великих
начатий.
Ты справляешь свое
торжество,

И опять, двадцатипятилетье,
Для тебя мне не жаль ничего,
Как на памятном первом
рассвете.
Мне не жалко незрелых работ,
И опять этим утром осенним
Я оцениваю твой приход
По готовности к свежим
лишеньям.
Предо мною твоя правота,
Ты ни в чем предо мной не
повинно,
И война с духом тьмы
неспроста
Омрачает твою годовщину.

В очерках сорок третьего года, в стихах и письмах этой поры все настойчивее и убежденнее звучит продолжение лейтмотива этого стихотворения в сопровождении всех, сошедшихся в симфоническом контрапункте побочных и ветвящихся «историсофских» раздумий, неразлучных, однако, и нераздельных с реальной, действительной средой и конкретным окружением, которые служат им и поводом, и стимулом, и питательной почвой. И в час, когда мир оказался расколотым на противоборствующие силы и ввергнутым в хаос смертоубийственной стихии, как раз и оказывается восстановленной «дней связующая нить», и «связь времен» являет свое торжество, и «удельное» пространство Правоты принимает с готовностью в свое лоно время, сиречь, историю, а время готово сжаться, чтобы вместиться в уютное и любезное ему пространство. Этим же пространством, этим воистину Земным простором оказывается родина Двадцатипятилетия... Что только не наводит на мысль об этом! Вот немецкое офицерское кладбище в середине освобожденного Орла: «Его хорошо описал Всеволод Иванов. Среди пыли и мусора соседних разрушений этот лес вы-

строенных по ранжиру черных орденов казался господом самой ограниченности среди бессмертного безмолвия страдания». Зрелище разрушенного уклада переносит наблюдателя к мысли о добровольно, из исторической самоотверженности нарушенном четверть века назад ином укладе и о высокой цели, питавшей гордость и героизм народа-добровольца: «Не все иностранцы знают: совсем недавно Россия была купеческой страной. Блеску наших умственных верхов завидовала Европа. Это наше дело, почему, купеческие сыновья и дети профессоров, не говоря уже о народе, мы на время по-своему распорядились нашими запасами и знаниями. Кто хочет судить Россию по густоте устоявшегося уклада, должен был это сделать до 1914 года. Теперь предмет ее гордости иной». И вот речь вплотную переходит к этому «предмету гордости», который и цементирует «связь времен», воссоединяет начальное звено двадцатипятилетия с ее нынешним. «Заколдованное число» «свершает свой круг» и приходит, вновь и с новой силой образуя предмет гордости страны. А страна: «В спаленных ли неприятелем областях, в индустриальной ли близости Москвы или на нетронutom войною востоке лицо ее одинаково, несмотря на военные и географические различья. Подобно кинувшейся в лицо бледности или краске, все ее черты заслонены светом ее нынешнего, никому не снившегося исторического часа. Ее природой остается природа ее переворота. По замыслу врага, его война должна была быть тою раз в тысячелетие развернувшейся эпохальной бездной, которая вместе с Европой и всем ему негодным должна была поглотить главный предмет ее ненависти — русскую революцию. Между тем как раз русская революция, то есть наша добровольная скромность и привычка к лишениям, оказалась эпохальной бездной, поглотившей его войну». Этот знак равенства между грандиозным историческим событием и «добровольной скромностью» или «готовностью к свежим лишениям» может показаться неожиданным при всей своей метафорической природе. Сближение же Революции и Отечественной войны могло породить вопрос о степени и мере действия причин, прямо лежавших в природе переворота в эту новую военную пору. И одним из объяснений того, почему «природой» военного подвига страны «осталась природа ее переворота», Пастернаку представляется существование причинной цепи, в силу которой факторы прямые порождают косвенные, а они в свою очередь осеняют «светом тех же великих начатий» четвертьвековой давности, замыкая круг и вовлекая военное звено — на особых правах — в цепь революционных десятилетий. И метафорический знак равенства становится ясным и понятным: «Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения. Эти наблюдения преисполняют... чувством счастья, несмотря на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны». По сути дела об этом же пишет Борис Леонидович в конце того же 1943 года в Тбилиси Нине Алексан-

дровне Табидзе: «Мне, конечно, корыстно и эгоистически хочется, чтобы Вы были здоровы и крепки и жили долго. Впервые, те же усилия прилагаю и я, и мне хочется встретиться с Вами в этих стараниях. Но кроме того все неопределимое и неслышанное, что легло на наши плечи, все незапамятные золотые радости и все загадки, трагедии и недоразумения, все это делалось ради людей, ради многолюдного молодого множества, от которых мы когда-нибудь узнаем, чего не знали, и которым многое должны будем рассказать. И до этого надо дожить, Нина».

А наблюдения, которые «преисполняли чувством счастья» и заносились в очерки военных лет, красноречиво гласили и о новизне «закаленных характеров», и о традициях духа, сердца, совести, собственных тем, чей характер был закален и подготовлен к подвигу, а затем и к победе. Обобщения возникали потом, а пока и глаз, и слух, словом, душа, радовались вот таким, скажем, встречам в городе, только что освобожденном от врага: «Мы сидели в гостеприимном кругу секретарши Чернского райкома А. А. Кукушкиной и ее молодых помощниц... Наши хозяйки, деятельницы комсомола и городских учреждений, то отрываясь от нашей беседы, то к ней возвращаясь, разносили по очереди чай... Их развитие и непринужденность вызывали в памяти что-то близкое, давно и лично пережитое. Девушки напоминали лучшую университетскую молодежь прошлого, курсисток девятьсот пятого года. Разговор вращался вокруг двух тем: души времени и особенностей места. Душой времени была война». А «особенности места» были таковы, что прочнее прочного связывали эту нынешнюю «душу времени» с великим духом русской литературы, на такую высоту поднявшим русский девятнадцатый век — от его истоков до устья, впадающего в двадцатый. И Пастернак продолжает свои наблюдения и заметы: «Умная и энергичная А. А. Кукушкина одновременно и принимает нас на правах хозяйки, и распоряжается ужином, и заботится о нашем ночлеге, и с живою искоркой дает направление нашей беседе. От нее мы узнаем не только тяжелые подробности немецкого пленения Черни, Орла и Мценска, но и любопытные черты из драгоценной истории края. Читатель помнит: это места биографии Жуковского, Дельвига, Толстого, Тургенева, Фета, Лескова и Бунина. Неожиданно я начинаю понимать, отчего такой естественностью дышат слова наших собеседников и их манеры. Мы у первоисточника («мы дома, у первоисточника всего, чем будет цвести столетье» — Г. М.) наших лучших национальных сокровищ. В этих уездах сложился говор, сформировавшийся наш литературный язык, о котором сказал свои знаменитые слова Тургенев. Нигде дух русской неподдельности — высшее, что у нас есть, — не сказался так исчерпывающе и вольно. Наши знакомые — уроженки этих гнезд. На них налет высшей русской одаренности. Они кость от кости и плоть от плоти Лизы Калитиной и Наташи Ростовской». Так в восприятии Пастернака «душа времени» находит и обнаруживает свои корни не только в почве позавчерашнего — в масштабе истории — девятьсот пятого года, но и в более глубоких недрах

века-предшественника, вплоть до времен русского Гамлета Пьера Безухова. (Позволю себе переставить слагаемые зна-
когого нам пастернаковского сравнения — «английский Пьер
Безухов—Гамлет»). И из этой исторической перспективы, вме-
щающей, обнимающей, охватывающей и антинаполеоновскую
отечественную войну со своими декабрьскими последствиями, и
освободительное брожение послепушкинской эры, с такой трепет-
ной чуткостью запечатленное Тургеневым, и зеркалом толстов-
ского гения отраженные токи и импульсы русской революции,
сфокусированные историей в своем девятьсот пятом году, и
«свет великих начатий» Октября 1917 года — из этой именно
исторической глубины выводит Борис Пастернак родословную
своих собеседниц, по-своему, свойственной ему метафорической
«идеографией» завершая данный фрагмент своего рассказа:
«Когда мы утром встаем с сеновала, мы видим вчерашнее об-
щество еще ярче при солнечном свете. Перед нами обломки
города, который, наверное, живописно располагался на холмах
и утопал в садах, а теперь своими руинами хищно и мстительно
напоминает какой-то дагестанский аул времен Шамиля.
Следом за своей вдохновительницей по его развалинам выво-
дом ходят питомцы революции и ее блостительницы, наводя
до последней мелочи порядок в разоренном районе, и совер-
шают дела величайшей государственной важности так же при-
рожденно расторопно, как нагнулась бы их бабка за сбитым
яблоком в траву или пошла бы щипать кур на птичий двор».

Как прекрасны сами по себе и каким, не только восхи-
щенным и не только зорким, но и прозорливым оком увидены
и другие участники орловской эпопеи — от генералов до ря-
довых солдат: «Так вот они, наше счастье все военное предоп-
ределение, творцы орловской победы и косвенные пособники
последующих!.. Перед нами приветливый и моложавый коман-
дующий, гвардии генерал-лейтенант Александр Васильевич
Горбатов, друг и сподвижник покойного Гуртьева. Ум и заду-
шевность избавляют его от малейшей тени какой бы то ни бы-
ло рисовки. Он говорит тихим голосом, медленно и немного-
сложно. Повелительность исходит не от тона его слов, а от их
основательности. Это лучшая, но и труднейшая форма на-
чальствования. Рядом с ним глубокомысленный и дальновид-
ный генерал Кононов и образованный и блестящий генерал Са-
бенников. Еще ранее, минувшей ночью, мы познакомились с
генералом Ивашекиным, находчивым и решительным страте-
гом в минуты опасности и осложнений и добродушным собе-
седником на отдыхе и за столом...» А вот почти импрессиони-
стическая портретная зарисовка комдива полковника Кустова
 («части которого... первыми ворвались в Орел», начав до этого
«знаменитое наступление, которое привело к прорыву немец-
кой обороны»): «У полковника все так слажено, что его не
заботят мелочи передвижения. Изящный и насмешливый, он
намеренно изображает из себя верх светской беспечности...
Кустову подводят трофейную лошадь. Он легко на нее взви-
вается и, попорхав на ней по всем правилам высшей манеж-
ной выездки, возвращается и сдает ее вестовому... В его кра-
сивом орлином профиле есть что-то от героев 12-го года, туч-

ковское, багратионовское...» И кого бы ни касалось перо Пастернака — всюду видна не только высокая и справедливая оценка военного таланта или иных деловых качеств данного человека, но и нечто глубоко личное, интимное, сокровенно-характерное для него и потому-то определяющее нравственную природу его подвига. Именно такая прозорливость дает возможность Пастернаку так обобщить свое восприятие не только лишь боевой последовательности орловской операции: «Она мне представляется звеном за звеном в своей нравственной логике и справедливым ходе. Я стараюсь вспомнить, как в последний раз (потому что когда-нибудь эта безнаказанность ведь должна была кончиться) поднялись немцы пятого июля в свое бешеное наступление с двух хитроумных пунктов, чтобы перерезать с севера и с юга наш курский выступ. Как семь дней подряд бились, бились они с очень слабой наградой за свою похвальную осатанелость. В течение первого дня ими было выпущено больше снарядов, чем за всю польскую кампанию, а за три первых дня — столько же, сколько за весь поход во Францию. Мы отвечали им артиллерийским огнем еще более густым, примерно из двух тысяч стволов с двух километров фронта, и к концу первой недели все их продвижение было сброшено со счетов. Они вернулись в исходную позицию. С двух хитроумных пунктов, с севера и с юга, мы стали срезать их орловский выступ. Все перевернулось, названия, роли, соотношение сил. Немецкое наступление стало называться обороной с безотчетным предчувствием отступления, в которое ему суждено было превратиться. В математике и логике такие вещи называются выводом и следствием, в мире нравственном — воздаянием».

Мысли об этом «воздаянии», столь родственном, по терминологической своей меткости, блоковскому «возмезию», не могли не привести Пастернака вновь к широчайшим обобщениям, с вовлечением в логический ход излюбленных им имен и символов, остающихся верными ключами к загадкам истории и тайнам духа. И вот пишется предпоследняя, но по сути и глубине своей завершающая главка пастернаковской «Поездки в армию» (так называется, вслед за «Освобожденным городом», второй из блистательных военных очерков Бориса Пастернака):

«Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Подлость универсальна. Нарушитель любви к ближнему первым из людей предаст самого себя.

Сколько заслуженной злости излито по адресу нынешней Германии! Между тем глубина ее падения больше, чем можно обнаружить справедливого негодования.

В гитлеризме поразительна утеря Германией политической первичности. Ее достоинство принесено в жертву производной роли. Стране навязано значение реакционной сноски к русской истории. Если революционная Россия нуждалась в кривом зеркале, которое исказило бы ее черты гримасой ненависти и непонимания, то вот оно: Германия пошла на его изготовление. Это задача посторонняя, окраинная, остзейская, и

ее провинциализм тем отчетливее, что ему присвоены всемирные масштабы.

Весь девятнадцатый век, в особенности к его концу, Россия быстро и успешно двигала вперед свое просвещение. Дух широты и всечеловечности питал ее понимание. Начало гениальности, подготавливавшее нашу революцию как явление нравственно-национальное (о политической подготовке ее мы не смели судить — это не наша специальность), было поровну разлито кругом и проникало собой атмосферу исторического кануна. Этот дух особенно сказался во Льве Толстом, русскими средствами выразившем природу гения и его предвзятость, подобно тому, как на заре английской самобытности такое же начало, общее двадцати предшественникам, впитал и воплотил в себе Шекспир. Но что такое гений?

Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен и ненавязчив. Те же черты новизны и оригинальности сложили нашу революцию.

И всегда рядом с неряшливою щедростью самородка следует что-нибудь завистливо рядовое и посредственное. Дела и поступки счастливого соперника кажутся ему чудачеством и безумием. Невежда начинает с поучения и кончает кровью.

Такая-то таблица умножения подъехала к нам на громящем «тигре» и самоходной пушке «фердинанд», и во мгновение ока она должна была показать, как все эти фразеры Рудины с их завиральным прекраснодушием провалятся во здравие трезвой немецкой практики и доброй кружки пива, и, о ужас, дважды два само провалилось, а широта одухотворения осталась и переживет и это страдание, и многие другие».

В этом философско-публицистическом отступлении мы без труда узнаем уже знакомые нам черты и штрихи пастернаковских характеристик Толстого, вновь заметим отблеск и сияние ленинских оценок Толстого в столь же широком историческом контексте, вновь вычитаем вариационное продолжение концепции заключительных строф «Высокой болезни» и развитие знаменательных параллелей, неоднократно выраженных Пастернаком знакомыми нам звеньями сравнений и сближений Толстого с Шекспиром, Шекспира с Революцией, Революции с Грузией. Тема девятнадцатого века в его сопряженности с двадцатым, столь часто возникавшая перед нами со страниц и более ранних и более поздних пастернаковских раздумий о революции, уже и тогда с достаточной явственностью перекликающаяся с блоковской концепцией «возмездия», не могла не возникнуть вновь в этом девятьсот сорок третьем году, хоть и в ином историческом приложении и перед лицом «воздаяния», постигшего «железо» со стороны «души» и «одухотворенности». Вслед за пушкинскими и некрасовскими (даже, как мы видели, руставелиевскими!), ритмы Блока не могли не ожить в поэзии Пастернака этой поры. И они действительно воскресли в ней в двух главных обликах, которые условно можно было бы определить как музыкальный лад «минора» и «ма-

жора». То, что в прозе «Освобожденного города» связывалось с судьбою русских женщин тургеневского и толстовского мира, а на фоне горя и разрушений, причиненных и оставленных врагом, воспринималось столь драматически, в стихах того же времени и на ту же тему не могло не отозваться нотами страдания и боли, гнева и воздаяния. Таково было, скажем, описание преследования врага после Орловской битвы, когда каждый шаг победного пути обнаруживал страшные следы творимых извергами зверств и надругательств:

Везде встречали нас известия,
Как, все растапывая в мире,
Командовали эти бестии,
Насилуя и дебоширя.

...Деревья падали, и в
хворосте

Лесное пламя бесновалось,
От этой сумасшедшей скорости
Все в памяти перемешалось.
Своих грехов им прятать

не во что.
И мы всегда припоминали

Подобранную в поле девочку,
Которой тешились каналы.

...В неистовстве как бы
молитвенном

От трупа бедного ребенка
Летели мы по рвам и

рытвинам
За душегубами вдогонку.

Тянулись тучи с промежутками,
И сами, грозные, как тучи,

Мы с чертовней и прибаутками
Давили гнезда их гадючьи.

Не нужно обладать абсолютным музыкальным слухом, чтобы тут же, чуть ли не синхронно ощутить прилив родимых блоковских ритмов и даже разглядеть оставленные этим приливом следы щемяще-знакомых слов-образов, из девятьсот десятого года этой магией занесенных:

Под насыпью, во рву
некошенном,

Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы

брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним

лесом.
Всю обойдя платформу

длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

...Вагоны шли привычной
линией,

Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;

В зеленых плакали и пели.
Вставали сонны, за стеклами

И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами

блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

...Не подходите к ней с
вопросами

Вам все равно, а ей —
довольно:

Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.

И если Блок мог назвать это свое стихотворение «бессознательным подражанием эпизоду из «Воскресения» Толстого», то Пастернак теми же неисповедимыми путями поэтической интуиции мог почудившиеся ему на Орловщине толстовские видения скрестить с теньями, отброшенными блоковскими трагическими фигурами, и передать это мгновенное душераздирающее озарение музыкой, ритмической пульсацией своего стиха.

...А война все откатывалась на запад...

«ПОЭТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ» И ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Сравнительное изучение литературных явлений — актуальнейшая задача современного литературоведения. Решается она в пределах как одной национальной литературы, так и более широко — на материале литературы мировой, позволяющей выявить типологически сходные или различные явления¹. Сравнительное изучение грузинской литературы, которая, по верному наблюдению исследователя, «недостаточно «вписана» в широкий контекст развития европейской литературы»², нуждается в расширении и углублении. Многовековая грузинская поэзия, в которой весьма своеобразно перекрещивались пути литератур Востока и Запада, представляет безусловный интерес в свете марксистско-ленинской концепции, единства мирового исторического процесса. Литература «малых» стран, как заметил еще М. Горький, нередко позволяет сделать выводы более общего смысла и значения, выявить тенденции, характерные не только для самих этих стран.

Сравнительное литературоведение ставит перед собой разные аспекты исследования; нас занимают здесь два вопроса: 1) лирика Г. Табидзе и ее соотносительность с литературным процессом 10—20-х годов; 2) сравнительное изучение поэзии Г. Табидзе в грузинской литературоведческой науке. Каждый из этих вопросов достаточно обширен сам по себе и, разумеется, никак не может быть исчерпан рамками журнальной статьи. Коснулись мы лишь некоторых работ с тем, чтобы выявить постановку самой проблемы.

Последние два десятилетия отмечены знаком исключительного и преобладающего интереса к творчеству Г. Табидзе. И это понятно, так как говорить о Галактионе Табидзе значит говорить

¹ Ю. Тынянов. Тютчев и Гейне. В кн.: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 387—388.

² И. Неупокоева. Революционно-романтическая поэма первой половины XIX века. М., 1971, с. 291—292.

и о магистральных путях развития многонациональной советской лирики. Именно в этом жанре созданы лучшие его творения, хотя он автор и ряда поэм, среди которых «Книга мира» (1956) произведение широкого эпического звучания.

В статье Тициана Табидзе «Кавалер ордена Одиночества» впервые затрагивается вопрос сопоставительного анализа отдельных стихотворений Г. Табидзе с поэзией П. Верлена и Э. По. «Галактион Табидзе, — пишет автор статьи, — интересен не только поэтическим талантом, но и манерой письма, теми литературными влияниями, которые он усвоил». Примечательно уже само название статьи, она в данном случае выражает позицию самого Г. Табидзе — кавалером ордена Одиночества окрестил признанный теоретик символизма Ст. Малларме поэта-декадента, графа Вилье де Лиль Адана.

В апрельском номере газеты «Ахали накади» («Новый поток») за 1920 год помещена была статья поэта Т. Гранели, которая содержит весьма интересную оценку поэзии Г. Табидзе. «По направленности своей поэзии, — писал Т. Гранели, — Галактион Табидзе — символист. Он рисует свои переживания сквозь символическую призму; в его поэзии просвечивает рафинированный, утонченный мистицизм. Поэзия Г. Табидзе пронизана огнем индивидуализма, он верует только в свое поэтическое «я» как часть неограниченного и неделимого мироздания, которое есть отражение видимой реальности. Поэт постоянно ищет по ту сторону предметов рассеянные в мире краски, любит сочетать музыку и переживание, синтез которых способен удовлетворить эмоциональное и эстетическое чувство человека».

Ограничимся этими свидетельствами дореволюционной критики, в которой, как видим, уже выработался определенный критерий оценки творчества Г. Табидзе. А пришлось обратиться к ним затем, что в современном грузинском литературоведении поэзия Г. Табидзе первых двух десятилетий получила крайне противоречивую оценку. Тут наметилась тенденция сглаживания, стремление представить с самого же начала раннюю лирику поэта как реалистическую, революционную, желание отмежевать его от декадентских течений начала века.

В переизданной монографии проф. Д. Бенашвили читаем: «Если бы в первый период своего творчества Г. Табидзе был бы символистом, как это утверждает большая часть литературоведов, то тогда он не смог бы стать зачинателем нового этапа развития грузинской литературы, не сумел бы художественно воплотить огромную тоску, охватившую подавляющую часть общества в результате поражения революции»³.

Достаточно, однако, обратиться к истории, скажем, русской литературы, творчеству Владимира Маяковского и Александра Блока, первый из которых начинал как футурист, а второй — символист, чтобы убедиться в несостоятельности подобного аргумента. Едва ли кто-либо всерьез станет оспаривать новаторство этих поэтов.

Вот другая, не менее категоричная выдержка: «Автор настоящей работы, — пишет в своей монографии о Г. Табидзе кри-

³ Д. Бенашвили. Галактион Табидзе. Тб., 1972, с. 21.

тик Р. Тварадзе, — никоим образом не разделяет точку зрения о причастности Галактиона Табидзе к символизму или же какого бы то ни было влияния на него символизма»⁴.

В монографии акад. Г. Джибладзе, которая появилась еще при жизни поэта, вскрывается генезис некоторых ранних стихотворений Г. Табидзе и, что особенно существенно, указывается, что поэты-«голубороговцы» в своем творчестве ориентировались на автора поэтического сборника «Crâne aux fleurs artistiques». В монографии углубляются те положения о генетической связи поэзии Г. Табидзе с символизмом, которые наметились уже в до-революционной критике.

Хронологически грузинский символизм большинство исследователей ограничивает рамками первых двух десятилетий начала века. В книге И. Кенчошвили «Галактион Табидзе и европейская литература» утверждается, что не только начальный период, но и все творчество Г. Табидзе связано с поэтикой символизма⁵.

В разное время на связь раннего творчества Г. Табидзе с европейским и русским символизмом указывали К. Гамсахурдиа, И. Абашидзе, Г. Асатиани, Л. Каландадзе, Г. Маргвелашвили, Ш. Радиани, С. Чилая, Т. Чиладзе, Т. Чхенкели и многие др.

При том разногласии взаимно исключаящих друг друга положений, на которое мы обратили внимание читателя, автору монографии «Грузинский символизм» Нелли Думбадзе, видимо, стоило разобраться в истинном положении вещей. Сделать это необходимо было еще и потому, что эта важная и принципиальная дискуссия переросла рамки отечественного литературоведения (вспомним статьи о грузинском символизме Д. Мирского и Ю. Суровцева, написанные с диаметрально противоположных позиций). Знакомство с монографией Н. Думбадзе приводит читателя в замешательство, так как автор обходит молчанием творчество Галактиона Табидзе. Объяснить это, видимо, можно тем, что Г. Табидзе не состоял, как известно, в поэтическом объединении «Голубые роги», не выступал с эпатажными манифестациями и декларациями. Однако, как выясняется, своим творчеством Г. Табидзе во многом предопределил, стимулировал творчество поэтов-«голубороговцев». В их программной статье «Дадаизм и «Голубые роги» из «блестящего триумvirата поэтов» — С. Шаншиашвили, Г. Табидзе, И. Гришашвили особо выделен именно Г. Табидзе, так как «он более других тяготеет к символизму; первый сборник его стихотворений уже свидетельствует о том, что Г. Табидзе вырастит «Цветы Зла» символизма, и мы многого ждем от него... Как бы высоко ни ценили мы то, что он нам дал в настоящем, еще большего мы ждем от него в будущем»⁶.

Под социально-эстетическую основу грузинского символизма Н. Думбадзе подводит труды и воззрения А. Джорджадзе, что и определило, по утверждению исследователя, «специфическую», отличительную черту символизма в Грузии. Здесь же говорится о том, что поэты-«голубороговцы» были единственными, кто идеа-

⁴ Р. Тварадзе. Галактион. Тб., 1972, с. 115.

⁵ И. Кенчошвили. Галактион Табидзе и европейская литература. Тб., 1974, с. 70.

⁶ Журн. «Меоцнебе ннамореби», № 10, 1916.

лизировал прошлое своей страны. Так ли это? Сошлемся на один лишь только пример.

Истоки раннего творчества Тициана Табидзе — видного поэта-символистского объединения «Голубые роги», весьма многообразны. Некоторые стихотворения цикла «Города Халдеи» (1916) генетически восходят к творчеству А. Блока и А. Белого. В 1921 году Т. Табидзе пишет поэму «Ангел на коне» — «диссертацию на звание короля» декадентской поэзии. Поэма явилась тематическим углублением, развитием стихотворного цикла «Города Халдеи».

Увлечение молодого Т. Табидзе философией и эстетикой А. Белого наложило известный отпечаток на его символистскую поэму «Ангел на коне». Видеть в поэме Т. Табидзе исключительно отзвук статьи А. Белого «Апокалипсис в русской поэзии» было бы неверно, она значительно шире. Безысходность автора поэмы «Ангел на коне» окрашивается в религиозные, мистические тона. Юношей он «впервые увидел отрока — ангела на коне — светлую надежду апокалипсиса». Лейтмотив этот проходит через всю поэму. Через апокалипсис провидит черты новой России — «большого луга зеленого» и Андрей Белый. И эта новая, по Белому, Россия облачается в милые его сердцу одеяния идеализированной патриархальной старины.

Будущая Россия с ее заводами и фабриками, механической культурой убивает, по мнению А. Белого, «индивидуальный организмы общества». Отсюда идеализация патриархальной старины, прошлого. Россия будущего — это «большой луг зеленый, зацветающий цветами. Именно в этой исторической ретроспекции смыкается идеал Т. Табидзе и А. Белого.

Как видим из этой аналогии, поэты-«голубороговцы» были не единственными, кто идеализировал прошлое своей страны.

При выяснении особенностей природы грузинского символизма, этапов творческой эволюции Г. Табидзе необходим самый беспристрастный и объективный подход. Только с учетом истоков генезиса — национального и мирового — можно дать подлинное представление о своеобразии творческой индивидуальности Г. Табидзе. «Весь дух марксизма, вся его система, — писал В. И. Ленин, — требует, чтобы каждое положение рассматривалось лишь: а) исторически; б) лишь в связи с другими; в) лишь в связи с конкретным опытом истории»⁷.

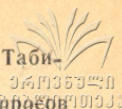
Вначале же мы подчеркнули важность и актуальность вопросов сравнительного литературоведения на современном этапе. Наука уже не может, как справедливо указывает А. Бушмин, обойтись без генерализации, без выявления общего в писателях, без раскрытия тех связей, которые объединяют их в то, что называется литературой данного времени. «Только на основе известной общности писателей можно установить различия между ними, выявить неповторимые черты каждого в отдельности»⁸.

Именно этим запросам современного литературоведения отвечает фундаментальный труд проф. М. Квеселава «Поэтические

⁷ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 329.

⁸ А. Бушмин. Методологические вопросы литературоведческих исследований. Л., 1969, с. 49.

интегралы» (1977), посвященный творчеству Галактиона Табидзе.



Прежде чем в общих чертах коснуться некоторых вопросов монографии, следует, видимо, сказать об авторской установке, не совсем в данном случае обычной. М. Квеселава так определяет характер и назначение своего труда: «Разговор здесь носит предварительный, подготовительный характер, и если впечатления, изложенные в книге, послужат материалом для будущих исследований творчества Г. Табидзе, то назначение и правомочность настоящей работы будут оправданы — большей претензии у нее нет, поэтому я не полемизирую ни с кем, и не одобряю желания, навязывающего мне какие-либо суждения» (с. 7).

Такому характеру изложения материала соответственно подчинена и форма, названная «беседой» о поэзии Г. Табидзе. Если мы примем ее, то нужно признать, что «беседа» носит разносторонний характер, густо перенасыщена фактами, цитациями, заимствованными из самых разных источников. Наряду с отступлениями или «приписками», как именует их сам автор, — субъективными и лирическими, имеются в монографии целые главы, написанные научно, правда, без оснащения соответствующим аппаратом. Нацеленность этих бесед достаточно очевидна. С целью решения того или иного «поэтического интеграла» М. Квеселава вводит в текст книги развернутые философские мотивации Гегеля, Кьеркегора, Хайдеггера, Ясперса и др. Все это, безусловно, свидетельствует о высокой культуре и эрудиции автора, но рассуждения и выкладки часто обретают несколько обособленный характер, уводят читателя в сторону от главного вопроса — поэзии Галактиона Табидзе. Подступы к решению того или иного «интеграла» бывают настолько перегруженными, что в отдельных случаях ослабляется внимание к самой стихотворной структуре поэзии Г. Табидзе в ее собственном, типологическом значении.

В дневниковой записи Г. Табидзе от 19 ноября 1932 года имеется одно ключевое, на наш взгляд, высказывание. Оно свидетельствует о самом широком подходе, понимании, органичном вживании и постижении лучших творений человеческого гения. «Чтобы создать что-либо значительное, — пишет Г. Табидзе, — необходимо все душевные силы сконцентрировать в одной точке. Л. Толстой неоднократно повторял эту мысль Шиллера... По моему твердому убеждению, чтобы создать что-либо великое, нужно всем своим существом стать частью другого, великого и сущего. Если безошибочная интуиция поможет тебе увидеть, глубоко почувствовать то другое, сущее, если органично соединишь тебя с ним, то тогда это настоящий залог того, что ты, действительно, создашь что-либо значительное».

Тут речь идет не об эпигонском, мелкотравчатом понимании искусства, а именно о высоком постижении, глубокой концентрации мысли, чувства, что в свою очередь может породить ответную отдачу — «родить нечто великое, значительное, но качественно уже иное».

Живая связь с творчеством видных представителей европейского и русского символизма, их теоретическими установками имела, по нашему убеждению, несомненное значение для формирования поэтики Г. Табидзе.

В одном месте монографии М. Квеселава имеется такое рассуждение: «Если мы упоминаем имя Галактиона Табидзе в ряду таких корифеев европейской поэзии, как Валери, Георге, Рильке, Элиот и Маяковский, то вовсе не потому, что он испытал чье-либо влияние, нет. Кроме Маяковского и, возможно, Малларме он вовсе даже и не знал этих поэтов» (с. 216). И дальше идет рассуждение автора (с. 217—221) о поэтике Ст. Малларме и Поля Валери, из которого читатель узнает, что М. Квеселава не разделяет точку зрения «большинства литературоведов, которые относят Ст. Малларме к символистскому направлению». «В творчестве Малларме так значителен поток классицизма и парнасизма, что пренебрегать этим не следует. Думается, показательно и то, что свои первые стихотворения он напечатал в альманахе парнасцев» (с. 218). М. Квеселава так завершает свою мысль: «Что я хочу сказать этим? Во всяком случае не то, что поэтические интегралы Г. Табидзе испытали на себе какое-то влияние Малларме или же тем более Валери. Разумеется, нет. К этим видам поэзии каждый идет своим путем и создает собственный мир». (с. 221).

Думается, что не следует ограничивать знакомство Г. Табидзе с европейской поэзией творчеством Маяковского и Малларме, тем более что контактные формы связи Г. Табидзе с европейской и русской литературой нуждаются еще в прояснении.

Новые данные из архива Г. Табидзе, которые нам удалось обнаружить, проливают дополнительный свет на знакомство поэта с философско-эстетическими принципами, положенными в основу символизма. Истоки эти в той или иной степени не могли не повлиять на формирование его собственной поэтики.

В личном архиве Г. Табидзе сохранились переведенные им отрывки из книги Ф. Ницше о Вагнере — туринское письмо 1888 года, а также некоторые другие фрагменты, причем те места, которые обратили на себя внимание грузинского поэта, в рукописи подчеркнуты¹⁰.

В стихотворении «Вагнер» (1915) Г. Табидзе проявляет исключительно тонкое понимание новаторства музыки немецкого композитора. Вагнер, по свидетельству Т. Манна, имел решительное значение для формирования искусства символизма. «Он (Р. Вагнер — Н. Ц.) музыкант такого склада, что даже людей немзыкальных привлекает к музыке... Для Бодлера встреча с Вагнером явилась не чем иным, как встречей с музыкой... А после встречи — безудержный восторг, вселивший в него честолюбивое стремление, уподобив слово музыке, сравниться при помощи одного лишь искусства слова с Вагнером, что имело важнейшие последствия для французской лирики»¹¹.

Стихотворение Г. Табидзе «Синие кони» (1915) классифицировалось до самого последнего времени в грузинской литератур-

¹⁰ Архив Г. Табидзе, фонд 021371—II.

¹¹ Т. Манн, т. X, М., 1961, с. 123.

ной критике как символистское, М. Квеселава предлагает нам новое прочтение этого лирического шедевра. На основе принципа «разрыва», который характеризует творчество Г. Табидзе в целом, исследователь приходит к выводу, что «Синие кони» — это отрицание трансцендентного и возвращение к реальному, изначальному миру. «Совершенно ясно, что при создании стихотворения, — пишет М. Квеселава, — Г. Табидзе вдохновлялся стихотворением Н. Бараташвили «Мерани», вдохновлялся и только. Здесь тоже стремление вырваться за «пределы судьбы», но находящейся не вовне — «стране безмолвия и вечности», а в самом поэтическом воображении автора. Г. Табидзе говорит, что в том «краю вечности» он ничего не нашел кроме «холодного и бесприютного» безмолвия; там, в «желаемом пристанище», душа не ликует, так как вокруг только «бездушные дни» и «целый лес человеческих скелетов». Поэтому синие кони Г. Табидзе стремительно несутся не к краю безмолвия, а как «сонные призраки» устремляются к нему же, в подтверждение чего поэт и говорит — «все здесь». А синие кони — это собственная мысль поэта, «блуждание морских волн», кружение собственного рока, круговорот неразгаданных химер — сам поэт, а не кто-либо иной, находящийся вовне. Этим Г. Табидзе принципиально отличен от Бодлера, который только за чертой вселенной ищет пристанища» (с. 63). И дальше: «Путешествие Каина в трансцендентных сферах безрезультатно, и он вновь возвращается к реальной действительности с тем, чтобы «создать свой собственный внутренний мир» (с. 66). «Фауст Гете отрицает трансцендентные основы и, подобно Каину, возвращается вновь к действительности, к собственной личности» (с. 69). Таким образом, резюмирует автор, «это движение от себя к самому же себе, где сначала низкая ступень, затем — более высокая. Вместе с этим, это высота изображения и разума — высшая сфера интеллекта и эмоций, с высоты которой жизнь человека, по словам Гете, подобна аду» (с. 69).

В этой связи хотелось бы поделиться с читателем своими соображениями методологического характера. Поэзию Г. Табидзе М. Квеселава делит на три вида: 1. Стихотворения традиционные или логическо-семантические, в которых соблюдаются правила классической поэтической речи; 2. Стихотворения ассоциативные, в которых логическо-семантический строй стихотворной фразы ослаблен; 3. Стихотворения интегральные, в которых поэтическая семантика или обычная метафорическая и образная структура почти целиком нарушены.

Согласно той классификации, которую предлагает нам М. Квеселава, стихотворение «Синие кони» должно лежать в плоскости второго и третьего ряда, так как в известной своей части оно и ассоциативно и, кроме того, поддается интегральному прочтению. Стихотворение таким образом не может быть признано традиционным, т. е. обладающим признаком классической литературы, соответственно и метод познания и отображения реальной действительности не может являться реалистическим. Преобладающее в стихотворении «Синие кони», как нетрудно убедиться, субъективное начало — реальный мир — дается сквозь мироощущение, мирозерцание субъекта, сквозь призму его восприятия. Признаки, которые сформировали литературное течение, известное под назва-

нием символизма. «К чему сводилось в самых общих чертах новаторство Бодлера, Верлена, Рембо и, в некоторой степени, Малларме? К тому, что они ввели в лирику коренным образом преобразованный субъективный фактор... Они стали изображать внешний мир через душу и тело лирического героя, сквозь его ощущения. Они придали изображению действительности как бы дополнительное измерение, основанное на отношении субъекта к объекту»¹².

Другое соображение касается принципа дробления, выделения из целостной структуры какой-то ее части, рассматриваемой как главная, определяющая. Такое вычисление не представляется нам оправданным, оно затрудняет целостное восприятие и оценку лирического стихотворения. «Именно целостный характер литературно-художественного произведения, — пишет проф. Макс Верли, — приводит к тому, что каждый отдельный аспект характеризует целое. Едва ли оказывается возможным выделить отдельные проблемы, так как смысл и функция каждого единичного элемента становятся ясными в постоянно повторяемом герменевтическом кругообороте, совершающемся между частью и целым»¹³. Подтверждение этой мысли мы находим и в высказывании В. Шкловского: «Художественное произведение — определенная система, оценка частей которой понятна только в структуре... Это единство — несомненно единство художественного построения, созданное мироощущением творца»¹⁴.

Г. Табидзе не только хорошо знал, но и высоко ценил творчество видных представителей символизма — Ш. Бодлера, П. Верлена, В. Брюсова и др. Справедливость этой мысли можно было бы довольно широко проиллюстрировать, но мы ограничимся отдельными фактами.

Поэзия Поля Верлена — «самого вдохновенного и самого длинного из современных поэтов» (А. Франс) произвела на Г. Табидзе огромное впечатление. Стихотворение «Чиануреби», в котором Г. Табидзе оплакивает своего духовного отца, где широко известно. Не лишен интереса и такой факт: в VII томе академического издания Г. Табидзе среди недатированных стихотворений имеется одно, адресат которого до последнего времени не был известен. Приводим подстрочный перевод этого стихотворения:

Бедного поэта желчь и накипь
И абсента холодная судорога.
Не повторится лира Парижа,
Да и не надо, чтоб повторилась.

То паденье тебе не к лицу.
О тебе — баллада Франсуа Вийона;
И долго еще без тебя, далеко,
Подражать тебе будут дыханье Лондона и Вены.

Возможно, оно написано под впечатлением стихотворений Поля Верлена. А то, что стихотворение отражает трагическую

¹² Д. Обломиевский. Французский символизм. М., 1973, с. 293.

¹¹ М. Верли. Общее литературоведение. М., 1957, с. 78.

¹⁴ В. Шкловский. Тетива. М., 1970, с. 80, 65.

судьбу «бедного Лелиана», его посмертную славу, адресовано именно ему, подтверждается и черновым автографом, где прямо называется имя Поля Верлена.

Из П. Верлена грузинский поэт сделал двенадцать переводов, причем из циклов, весьма характерных для самого Верлена — «Сатурнические поэмы», «Романсы без слов» и др. Известная стихотворная формула «De la musique avant toute chose», к которой так часто апеллируют исследователи, если и имела значение для формирования поэтики Г. Табидзе, то все-таки не такое решающее, как переводы стихов Верлена, вхождение в его творческую лабораторию, в мир его поэтических образов.

Внутреннюю, духовную близость Г. Табидзе чувствует и к Шарлю Бодлеру. В статье «Дорогие могилы» (1919) дается высокая оценка «замечательного» стихотворения Ш. Бодлера «Благословение». «Весьма печально, — отмечает Г. Табидзе, — что стихотворение «Благословение» написано не на грузинском языке, хотя подобные мысли широко рассеяны и в произведениях Акакия Церетели. «Благословение» так близко грузинскому духу, тому положению, в котором пребывают достойные преклонения сыны Грузии»¹⁵.

Все это несомненное свидетельство генеалогического родства поэзии Г. Табидзе с французским символизмом. Заблуждаются те исследователи, которые пытаются оградить его от веяния времени, от того литературного движения, которое захватило во второй половине XIX и в начале XX века многие страны Европы. Получило оно и несколько запоздалый отзвук в грузинской поэзии. Как большой поэт Г. Табидзе не мог остаться равнодушным к гласу времени.

В заключение хочется отметить одно неоспоримое достоинство монографии М. Квеселава «Поэтические интегралы». Наряду с обширнейшим литературным материалом, который привлекает автор, — это сам метод сравнительно-исторического изучения, который незаслуженно, как отмечает сам автор, игнорировался (с. 215) из страха обезличивания собственной литературы. М. Квеселава обращается именно к этому методу исследования, который доказал свою правомочность и перспективность, он положен в основу многих работ советской компаративистики — это труды акад. М. Алексеева, Н. Конрада, В. Жирмунского и др.

Объем настоящей статьи не позволяет полностью осветить проблемы, связанные с грузинским символизмом и сравнительным литературоведением. Лишь в общих чертах коснулись мы самой постановки отдельных вопросов, несомненно сложных и важных, требующих дальнейшей разработки, весомой научной аргументации.

¹⁵ Г. Табидзе, т. XII, с. 61—62.

К ПОРТРЕТУ НИНЫ ЧАВЧАВАДЗЕ

В августе 1828 года в Тбилиси состоялось венчание юной грузинской княжны Нины Чавчавадзе и автора бессмертной комедии «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. Если принять выдвинутое недавно предположение, что Грибоедов родился в 1790 году, то ему в день свадьбы было тридцать восемь лет. Той, что стояла с ним под венцом, не исполнилось еще и шестнадцати... Тут задумываешься не столько о возрастной разнице, сколько о неизбежном несоответствии в развитии. Чем могла пленить пятнадцатилетняя девушка, почти подросток, Грибоедова — человека блестящего ума, огромной учености, прошедшего через многие жизненные испытания и вынесшего из них немало горьких плодов, живущего словно под знаком какой-то зловещей обреченности? Конечно, исчерпывающе на этот вопрос мог ответить только сам Грибоедов. Для нас же несомненно главное: Нина Александровна уже в раннем возрасте была натурой незаурядной. И лучшее свидетельство тому — любовь к ней Грибоедова. Но существуют и другие свидетельства.

Сослуживец Грибоедова К. Ф. Аделунг, познакомившийся с Ниной Александровной в Тифлисе перед ее свадьбой, писал: «...она очень любезна, очень красива и прекрасно образована». Н. Н. Муравьев, служивший в те годы на Кавказе, вспоминал: «Нина была отменно хороших правил, добра сердцем, прекрасна собой, веселого нрава, кроткая, послушная...». Муравьев признавался, что от него «несколько нравилась». Но более сильные чувства к ней питал его друг Сергей Николаевич Ермолов (двоюродный брат Главнокомандующего на Кавказе А. П. Ермолова). По словам Муравьева, Ермолов был «страстным обожателем» Нины Чавчавадзе.

К этим и другим известным фактам сегодня можно добавить еще один — пламенное увлечение пятнадцатилетней Ниной Александровной полковника русской гвардии Николая Дмитриевича Сенявина, старшего сына прославленного адмирала. В Пушкинском доме в Ленинграде хранится несколько писем Николая Сенявина, главная тема которых — его безответная, горькая любовь. Удрученный своим несчастным положением, Сенявин пишет, пожалуй, больше о себе, чем о предмете своей страсти. И все же за строками его писем вырисовывается на редкость обаятельный образ Нины Александровны. Эти письма, не публиковавшиеся до сих пор, восполняют наши представления о ней¹.

¹ Мы публикуем наиболее интересные отрывки, касающиеся Н. А. Чавчавадзе. В более полном объеме письма Сенявина будут напечатаны в подготавливаемом Пушкинским домом сборнике, посвященном Грибоедову.

Любовная драма Сенявина разыгралась в Тифлисе весной 1828 года, когда Грибоедов выехал в Петербург с текстом Туркманчайского мирного договора. Сенявину шел тогда двадцать девятый год. До Грузии он служил в столице, но его репутация повредила связь с движением декабристов. Во время следствия по «делу 14 декабря» он был арестован и три месяца содержался на гауптвахте Главного штаба (там же находился под арестом Грибоедов). Поскольку участие Сенявина в движении было незначительным, его освободили, но без «очистительного аттестата» — свидетельства полного оправдания в глазах правительства. «Высочайшим» решением арест был вменен ему в наказание. Летом 1826 года, когда началась война с Персией, «провинившимся» представилась возможность заслужить окончательное «прощение» ратными подвигами на Кавказе. Сенявин решил, вероятно, не терять ее и весной 1827 года выехал в действующую армию. Не задерживаясь долго в Тифлисе, он направился в полк, стоявший в крепости Шуша.

Через десять месяцев война с Персией завершилась подписанием Туркманчайского договора, и Сенявин вернулся в Тифлис, где поселился в доме князя Орбелиани. В Тифлисе он застал своего давнего друга, с которым вместе служил в Петербурге, Бориса Гавриловича Чилиева. Настоящее имя Чилиева — Бабане Чилашвили. Уроженец Грузии, он с детства жил и воспитывался в Петербурге. Там же служил в гвардейском Финляндском полку. В 1826 году Чилиев перевелся на Кавказ. Человек замечательного ума, широкой образованности, незаурядной храбрости, он был любим многими своими современниками. Чилиев был знаком с семьей Чавчавадзе и ввел в нее Николая Сенявина. Тогда же, весной 1828 года, он покинул Тифлис по делам службы, не подозревая, что в сердце оставшегося там друга начинала возгораться пламенная страсть. С апреля он стал получать письма Сенявина, в которых тот, подобно гетевскому Вертеру, со всей откровенностью дружбы раскрывал ему свою душу, посвящая его в тайну своей любви, тайну своих страданий. Сенявин с отчаянием признавал, что встречает со стороны своей возлюбленной равнодушие, а порой и холодность. Поэтому он писал другу не столько о ней (тем более, что ее достоинства Чилиеву и так были известны), сколько о себе, о своем жалком положении. Его письма — это любовная исповедь, взволнованный лирический монолог, местами от волнения путанный и бессвязный. Отчаянию Сенявина нет предела. Он укоряет друга за то, что тот обратил его внимание на Нину, за то, что тот не может приехать и поддержать его в минуту страданий. Отчаяние приводит Николая Дмитриевича к мыслям о самоубийстве. Но предоставим слово самому Сенявину.

«Я не знал, не ведал того, что со мною могло случиться и что могло бы поколебать меня... Так, любезный друг, одному тебе откроюсь; истинно, только тебе и никому в мире!.. Ты не поверишь, до какого безумия я люблю Н. Все готов для нее жертвовать. Но что я говорю? Надо опомниться! И что всего ужаснее, что эта прелесть так привыкла видеть подле себя страдающих, что и меня записала в число, обыкновенное для всех несчастных... Я всегда смеялся над влюбленными, а теперь достоин сам презрения. Ты согласен, любезный, что это гибель моя? Но как из ее освободить-

ся?... Ты не поверишь, в каком я неприятном положении ^{бес-}шусь на тебя до невозможности. Ты! Ты заставил меня ^{страдать,} а сам уехал! Зачем ты это делал, скажи?.. Итак, вот ^{участь моя,} а за меня никто!.. Видел я ее почти каждый день; ^{встречал} на улице недолго. То был у них; один раз с твоего отъезда. Да видел в Собрании, где она была очаровательна, и это как камень легло на сердце моем, ибо, братец, все падает пред нею. Тем более меня терзает, но, ей-ей, не ревность, ибо не смею ревновать ту, которую обожаю... Ты предлагаешь, чтоб я приехал к тебе, но это значит потерять две недели, не видеть прелести! О, ежели бы ты сюда хоть на неделю или менее мог приехать!.. Может быть, ты бы произвел, что она хоть взглянула на меня ^{сострадательным} взором» (11 апреля).

«Цветок целого мира пленил меня, и в уснувших чувствах моих пробудилась, наконец, страсть, дотеле мною незнаемая. Ты не знаешь: я так влюблен, что готов пренебречь целым светом, дабы обладать ангелом!. Все, что в мире есть священного, я не нахожу уже более ни в ком, как в ней одной. Ее одну я обожаю, ее одну только вижу, об ней одной только думаю. И признаюсь, что лишен всякого спокойствия: и днем, и ночью ангельский образ ее рисуется в моем воображении. Для нее одной я готов лишить себя всего! Ах! С нею одной только может быть блаженство здешнего мира, без нее — гибель и мучение... Приезжай! Может быть, при тебе она будет снисходительнее ко мне... Новостей никаких не пишу к тебе, ибо меня ничто в мире не занимает...» (24 апреля).
«...когда б ты знал, когда бы ты мог иметь хоть малое понятие, как сильно, как пламенно я люблю! Есть в природе этакое влечение, которого постичь нельзя. Те минуты, которые я ее вижу, считаю, что живу на свете. О ты, всевышний, обещающий нам блаженство будущей жизни, награди меня хоть в этой тем, чтоб я жил, а жизнь моя тогда, когда ее вижу!..» (4 мая).

«Последнее письмо мое было преисполнено горести, но теперешнее превосходит все. На днях идут все в поход; около 20 нынешнего месяца и я тоже оставляю Тифлис с самым сокрушенным сердцем. Мне кажется, я его более не увижу. Не увижу и тебя, друг мой. Поверь, что предчувствие справедливо, но лучше в тысячу раз умереть, чем переносить эти мучения. Ты не поверишь, как я страдаю! О ежели бы я не имел родных, давно бы меня не было на сем свете. Счастливым я быть не могу. Что же в жизни без счастья? Где найду я себе другую, хоть скольконибудь подобную ей? Нигде, ибо доживши до 28 лет, видал ли что-нибудь похожее? Нет, в мире не может существовать такого совершенства! Красота, сердце, чувства, неизъяснимая доброта, как умна-то! Божусь, никто с ней не сравнится! Прощай. Обнимаю тебя. Горести слезы мешают мне писать...» (8 мая).

Возбужденное, лихорадочное состояние привело Сенявина к болезни. «Желчная горячка», как он ее называет, заставила его остаться в Тифлисе в то время, как его товарищи выступили в поход.

«Поверь истинному другу: есть много, кон страдают по ней, но так сильно, как я, верно — никого... После болезни я ее почти не видал, (только) мельком раз в саду. И, как кажется, она весь-

ма хладнокровно увидела меня... Боюсь, что она только одна беспрестанно в памяти моей. И днем, и ночью только и вижу, что ангельский образ! Во всей вашей Грузии мерзость, исключая ее! Она божество в целом мире! Если умру, то последняя она из памяти моей исчезнет!. Теперь в Тифлисе такая скука сделалась, что ты себе представить не можешь. Все разъехались, и я остался совершенно один. И беспрестанно слышишь, что все получают награды, ибо беспрестанное счастье Паскевичу. И Карс сдался. Я все пропустил, столько глупостей наделал — нет возможности! Остался в Грузии, когда мог быть в Молдавии. И даже здесь все потерял, ибо ранее 15-го июля не могу выехать в отряд. И все чрез кого? Чрез любовь!..». (28 июня).

В августе Нина Александровна стала женой Грибоедова. Для Сенявина, несомненно, это было сильным потрясением. Он даже обиделся на Чиляева за то, что тот был на свадьбе. Однако уже осенью Николай Дмитриевич стал обращать внимание на младшую сестру Нины Александровны Катеньку Чавчавадзе.

В последующие годы Н. Д. Сенявин продолжал изредка писать Чиляеву. Он признавался, что смертельно скучает по Тифлису, где пережил «наисчастливейшее время», и что мечтает о женитьбе—«да вот беда: другой Ниночки не найду!». С 1830 года Сенявин командовал 29-м егерским полком. В тот же полк был переведен и Сергей Ермолов, еще один экс-поклонник Нины Чавчавадзе. «Как часто мы с ним вспоминаем былые времена, — писал Сенявин брату Бориса Чиляева Егору Гавриловичу. — Судьба как нарочно соединила двух самых жестоких соперников». Осенью 1830 года Сенявин решил посвататься к Екатерине Александровне Чавчавадзе. Он писал тогда Борису Чиляеву: «Ежели Катя не вышла, то посватай меня. Ей-богу, для этого приеду в Грузию. Я не шучу! Только сделай серьезно, ибо такой вещью не шутят. О, ежели бы удалось, считал бы себя самым счастливым человеком...» Через некоторое время Чиляев сообщил ему «согласие князя (Александра Чавчавадзе, отца — В. Ш.) и всего его драгоценного семейства». Это известие осчастливило Сенявина. Он стал дожидаться отставки, которую мог получить только после окончания польской кампании. «Не знаю ничего, что делает прелестная, очаровательная, божественная для меня Катерина Александровна. Минуты времени кажутся для меня веками, и я не могу дождаться этого времени, когда полечу в счастливую Грузию», — писал он другу осенью 1831 года. Сенявин надеялся, что сможет поехать в Тифлис весной следующего года и сделать официальное предложение.

В 1832 году Сенявин вышел в отставку, а в следующем году умер в возрасте 33 лет. Обстоятельства последних месяцев его жизни и смерти нам неизвестны.

Станислав ЛАКОБА

«ГОЛУБОЕ ИМЯ — БЛОК...»

Имя Александра Блока неразрывно связано с Андреем Белым, Мне кажется, что Блока невозможно понять в отрыве от Белого, без их удивительной, многолетней и драматической переписки. «Вы точно рукоположены Лермонтовым, Фетом, Соловьевым, продолжаете их путь, освещаете, вскрываете их мысли, — писал Белый Блоку. — Необычайная современность, скажу, даже преждевременность, тем не менее уживается с **кровной преемственностью**».

3 января 1903 года Блок отправил из Петербурга первое письмо Белому, а уже на следующий день Белый, не зная, что ему послано письмо, писал Блоку из Москвы. Обменявшись посланиями, оба поэта восприняли этот факт как «крестное знамение»: письма их перекрестились в пространстве.

Очень рано влияние на поэтов-ровесников оказали философия и мистическая поэзия Владимира Соловьева. Блок писал Белому: «...**боюсь еще...**, утратить соловьевские **костыли**, подпиравшие меня **сильно...**». Белый отвечал: «Милый, дорогой Александр Александрович, не бросайте же... соловьевских **«костылей»**. Поддай боже всем такие **«костыли»**. К этому же времени относится и увлечение Блока Индией, буддизмом и перевоплощениями.

Белый писал Блоку: «...Мое глубочайшее убеждение, что Вы и Брюсов нужнейшие поэты для России. В Брюсове сила законченности, в Вас еще большая сила непосредственности, и со временем Вы будете (очень скоро) первым русским поэтом». Но через год после этого между Белым и Брюсовым произошел странный конфликт. Об осени—зиме 1904 года Белый вспоминал: «...Предо мною порой раскрывался «маг» Брюсов, не брезгающий гипнотизмом и рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам... за отысканием приемов весьма подозрительного психологического эксперимента... Мне был чужд, неприятен и, более того, отвратителен этот «Брюсов», сидящий в Валерии Брюсове...» Конфликт под видом «дружбы» сопровождался телепатическими феноменами и медиумическими яв-

лениями. Брюсов обливал потоками грязи Белого. Наконец тот «призвал силы, опоясался «молнией» и ударил в Брюсова». Но конфликт на этом не иссяк. Белый решает вызвать на дуэль Брюсова, грозившего «изнутри» убить его нравственно, духовно и даже физически. Едва Белый подумал о поединке, как ему передали, что Брюсов видел сон: Белый убил его уже однажды «на дуэли после ссоры в кабачке в Кельне в XVI веке...»

Это повлияло на отношение Блока к Брюсову: «...Я совсем разлюбил стихи Валерия Брюсова, почти без исключений. Над ним жестоко посмеялся кто-то»...

В эти годы состоялось личное знакомство Александра Блока с поэтом Виктором Стражевым (1879 — 1950). Молодых людей, почти ровесников, объединяло многое. Оба начинали как актеры, прекрасно декламировали стихи Майкова, Фета, Полонского, Апухтина. На обоих огромное воздействие оказал Вл. Соловьев. Литературные критики того времени усматривали в стихах Стражева, в их духовности «нечто от Блока».

Они познакомились на многолюдном вечере осенью 1906 года в Петербурге. Вот как описывает эту первую встречу в своих «Воспоминаниях о Блоке» Виктор Стражев: «...Вот он, Блок, сидит почти против меня по другую сторону длинного стола, за которым жуют и пьют именитые и неименитые, громкие и тихие поэты и прозаики — планеты, кометы и аэролиты тех лет. Помню: с какой-то безвольностью я тянусь к нему, больше всего к нему... По совести мог бы я тогда признаться, что влюбился в него, т. е. делю участь многих современников. Все время я подглядываю Блока, украдкой слежу за его сдержанными жестами, ловлю его слова, долетающие до меня в шуме застольных разговоров. Мой сосед справа, А. И. Куприн, трогает меня локтем и, указывая малозаметным движением руки на Блока, тихо спрашивает:

— Кто этот молодой человек?

— Блок... — так же тихо отвечаю я.

— Это Блок? — с каким-то неожиданным для меня удивлением переспрашивает Куприн и, забывая про свою тарелку, внимательно смотрит на Блока...

Кто-то предложил, когда кончилось «столование», просить Блока читать стихи... и, конечно, «Незнакомку», уже прославленную жемчужину его стихов, впервые — и еще недавно — просиявшую на «средах» у Вячеслава Иванова. И Блок читал.

На белом глянце изразцовой печки, занимавшей весь угол комнаты, рельефно отчеканилась его фигура в строгом изыске контуров. Он стал как будто выше, чем был на самом деле. С заложенными позади руками, чуть запрокинув голову, стоял он, прислонившись спиной к печке, и, выжидая тишину, смотрел... смотрел, казалось, в ту даль, куда улетало его лицо, где оживало творимое им видение, о котором вот-вот зазвучат его стихи. И когда застыла в комнате тишина, он начал:

— По вечерам над ресторанами...

Читал он негромко, глуховатым голосом, укрощая ту внутреннюю взволнованность, которая передавалась, покоряя слух не модуляциями голоса, а самым ритмом льющейся строки.

— ...Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

Кончил. Посмотрел вопрошающими глазами. По лицу скользнула застенчивая улыбка, которую можно было понять:

— Но разве я виноват, что то, что я прочел, так хорошо.

Кто-то от удовольствия крикнул. Двое-трое аплодировали.

В шепоте и глазах других было общее одобрение. Блок оторвался от изразцов, слегка наклонился в сторону сидевшего недалеко на диване И. А. Бунина и сказал почти с робостью ученика, облекая в нее изысканную и тонкую учтивость младшего к старшему, что ему очень бы хотелось услышать мнение Ивана Алексеевича.

Бунин очень похвалил стихи и заговорил о том, что не может примириться с отходом от строгости классической рифмовки в поэзии новых поэтов в сторону рифм приблизительных и неточных, ведущих, по его мнению, к звуковому обеднению стихов. Может быть, он «придрался» к «дамами—шлагбаумами»... Мягко, но, видимо, с полной убежденностью, пользуясь полувопросительными фразами, Блок, ставший, как известно, одним из канонизаторов неточной рифмы, стал защищать ее допустимость и законность освобождения стиха от гнета точной рифмы. Он сказал, что прежде всего он ценит в рифме ее органичность, ее смысловое содержание и с мелькнувшей улыбкой признался, что ему нравятся его органические рифмы — «ресторанами — пьяными».

Здесь моя память потухает. Я не помню, что было еще в тот вечер. Уходя, я уносил только одно впечатление от Блока. Как та, о которой было им сказано:

Вот явилась. Заслонила

Всех нарядных, всех подруг, —

так сам он явился и заслонил для меня всех и все остальное в ту первую с ним встречу»¹.

Но литературная встреча поэтов произошла раньше. В 1904 году Виктор Стражев издал в Москве первый сборник стихов и рассказов, а через год в журнале «Вопросы жизни» появилась разгромная рецензия А. Блока на стихи молодого автора. На вечере в Петербурге осенью 1906 года Виктору Ивановичу довелось обменяться с Блоком несколькими фразами. Причем Блок спросил у Стражева, очень ли он огорчил его своей рецензией на его первую книжку. «Я смущенно ответил, — вспоминает Виктор Стражев, — что очень надеюсь на то, что следующей своей книжкой я заслужу с его стороны лучший отзыв. И он — позднее — не обманул моей надежды».

¹ Публикуется впервые. Рукопись «Воспоминаний...» передала автору статьи дочь поэта — доктор технических наук, профессор Ирина Викторовна Стражева-Янгель.

Блок на самом деле отозвался восторженно о второй книге стихов поэта, вышедшей в 1907 году. Через несколько месяцев после ее издания А. Блок поместил в журнале «Золотое Руно» (1907, № 6) статью «О лирике», в которой подробно становился на разбор произведений современных ему поэтов — К. Бальмонта и С. Городецкого, И. Бунина и С. Соловьева, Ф. Сологуба и...

«Хорошо озаглавил свою вторую книжку Виктор Стражев: «О печали светлой», — писал Александр Блок. — Это из пушкинского стиха. Маленькая книжка заставляет совсем забыть первые и очень неудачные опыты поэта... Душа новой книги — лирическая душа... Лучшие строки Стражева о природе: «Светит ясною росинкой глубь зацветшего куста» или: «И затопила дёрь лесная меня густою тишиной», или «Заночевали легким станом летуны-тучи в вышине», или «Звоны, певы, гулы, гуды в тишине полей плывут».

Очень целен и свеж отдел «Шестопсалмие». И вся книжка свежа и проста, как ее белая одежда, в ней — думно и светло...»

Статьей Блока «О лирике» остался недоволен Андрей Белый. Причиной недовольства послужил тот факт, что стихи его близкого друга Сергея Соловьева были подвергнуты критике. 27 сентября 1907 года Белый писал: «...Я стал мнителен и недоверчив до чрезвычайности. А внешних поводов много: хотя бы твоя статья в «Золотом Руно», с которой я несогласен абсолютно... Она поразила как громом Сережу... окружающих, искренне удивила Брюсова...» А. Белый очень сильно переживал этот «внешний повод», в результате чего у него произошел «инцидент». В том же письме Блоку он сообщал: «Сегодня разорвал все с Зайцевым, Стражевым и прочими из «Недели»... Стражев чернел, как сажа, от злости: стоял, застыв в злобе. Было что-то из ужасных сцен Достоевского...»¹

Видимо, толчком к нападкам Белого на Стражева послужила положительная оценка Блоком его стихов в той же статье «О лирике».

Во второй и в последний раз Блок и Стражев встретились в зиму 1906 — 1907 гг. в Москве. Тогда было задумано издание литературного сборника «Корабли» в пользу разбитого параличом писателя Николая Ефимовича Пояркова, участника ряда изданий «символистов», автора книжечки «Поэты наших дней». Участие в «Кораблях» приняли В. Иванов, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, М. Кузмин, И. Бунин, А. Белый, А. Блок, Б. Зайцев, В. Стражев и другие поэты.

Н. Е. Поярков и В. И. Стражев были очень дружны. И вот, в один из зимних дней Николай Ефимович пригласил Виктора Ивановича к себе.

«Сейчас придут Вячеслав Иванов и Блок!» — сообщили Стражеву, едва он вошел.

¹ Борис Зайцев — прозаик: газета «Литературно-художественная неделя» выходила в Москве с 17 сентября по 8 октября 1907 года под редакцией поэта В. Стражева.

«За чаем В. И. и Блок, — вспоминает Виктор Иванович, — читали себя и чьи-то еще стихи, привезенные ими от петербургских поэтов. Блок прочел: «Брату», «Незнакомка», «Дева млечного пути» и т. д., то, что отдавал он в сборник. Читал и В. И. Иванов.»

На этот раз Блок показался мне немного иным, каким-то внутренне озабоченным. Но магнитная сила его была для меня та же... В. И. предложил ему, справедливо полагая доставить этим отменное наслаждение Н. Е.-чу, прочесть... ну, разумеется, «Незнакомку».

Блок не заставил повторить просьбы — читал.

Зная эти стихи наизусть, снова слыша их в чтении самого Блока, я не получил такого же впечатления, какое осталось у меня при первой встрече на вечере в Петербурге. Мне показалось, что поэт уже устал читать свой шедевр.

Потолковав о «Кораблях», о каких-то злободневных литературных новостях, петербургские гости заторопились куда-то и, прощавшись, ушли...

...В октябре 1906 года А. Блок познакомился с актрисой Натальей Николаевной Волоховой, работавшей с Мейерхольдом и Комиссаржевской. Итогом этого бурного увлечения поэта явился сборник стихов «Земля в снегу», вышедший в июле 1908 года. Интересно, что первым откликнулся на книгу великого поэта Стражев. Это становится ясным из письма, датированного 14 сентября того же года: «Многоуважаемый Виктор Иванович. Спасибо Вам за Ваши милые слова — первый отзыв о «Земле в снегу», какой я слышал, очень приятно для меня. Посылаю Вам маленькое стихотворение для «Северного Сияния», которое очень меня интересует. Жалею только, что «без политики», знаю, впрочем, что теперь за всякую политику сдапают. И все-таки очень мечтаю о большом журнале с широкой общественной программой, «внутренними обозрениями» и т. д. Уверен, что теперь можно осуществить такой журнал для очень широких слоев населения и с большим успехом..., если бы не правительство... Я сейчас в деревне (...с Шахматова), а к 1 октября, примерно, вернусь в Петербург... Если успеете, напишите мне два слова сюда. Искренне уважающий Вас Александр Блок».

Журнал «Северное Сияние» осенью 1908 года задумала издавать В. Н. Бобринская, и Стражев был приглашен заведовать в нем литературным отделом. Изданием журнала, его программой руководили такие известные деятели культуры, как художник и искусствовед, глава и идеолог группы «Мир искусства» А. Н. Бенуа, известный литературный критик Ю. И. Айхенвальд, художник И. Я. Билибин...

Возглавляя один из отделов «Северного Сияния», Виктор Стражев обратился в 1908 году к Блоку с просьбой предоставить для публикации свои стихи. Тот быстро отозвался вышешприведенным письмом. Стражев отмечал, что оно очень характерно «для Блока той поры, когда в сознании своего писательского долга и своей крепнущей поэтической силы он сбрасывал с себя груз «декадентства» и «мистики», уходил от сообразов «мерзковщины» и «красивого уюта» и через «сума-

тоху сердца» выходил на иные пути: общественность, народ, Россия, проблема интеллигенции — вот что было теперь. В центре его дум и устремлений. Приведенное ко мне письмом помечено: 14-е сентября. А вот что заносил он в свою записную книжку двумя днями раньше: «Мечты о журнале с традициями добролюбовского «Современника...» Распроститься с «Весами...». Написать доклад о единственно возможном преодолении одиночества — приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью».

Однако «Северное Сияние» успеха не имело и через год перестало существовать. Осталось лишь несколько номеров этого журнала. В одном из них можно отыскать то «маленькое стихотворение», которое Блок послал Стражеву. Оно посвящено Наталье Волоховой. Вот как описывает ее Андрей Белый: «Волохова — очень тонкая, бледная и высокая, с черными, дикими и мучительными глазами... с руками худыми и узкими. С очень поджатými губами, с осиной талией, черноволосая, во всем черном... Александр Александрович ее явно боялся; был очень почтителен с нею... Мое впечатление от Волоховой: слово «темное» с нею вязалось весьма; что-то было в ней — «темное». Мне она не понравилась».

К началу февраля 1908 г. относится обращенное к Волоховой стихотворение «Она пришла с мороза», а 1 марта Наталья Николаевна уезжает в Москву. Блок едет следом за нею. Здесь между ними происходит долгое и напрасное объяснение. Известный исследователь жизни и творчества Александра Блока Владимир Орлов в книге «Гамаюн» отмечает, что «памятником этой встречи остался один из лирических шедевров Блока»:

Я помню длительные муки:
Ночь догорала за окном;
Ее заломленные руки
Чуть брезжили в луче дневном.

Вся жизнь, ненужно изжитая,
Пытала, унижала, жгла;
А там, как призрак, возрастаю,
День обозначил купола;

И под окошком участились
Прохожих быстрые шаги:
И в серых лужах расходились
Под каплями дождя — круги;

И утро длилось, длилось, длилось...
И праздный тяготил вопрос;
И ничего не разрешилось
Весенним ливнем бурных слез.

Произведение долго обрабатывалось и исправлялось. Вскоре Волохова приехала в Петербург. Они встретились холодно. Он записал: «Не было любви, была влюбленность». И все же в сентябре Александр Блок посылает новый вариант этого стихотворения Виктору Стражеву, которое его очень «интере-

сует». Стражев выполнил просьбу поэта. Во втором номере журнала «Северное Сияние» за декабрь 1908 года опубликовано «Воспоминание» Блока. Оно, видимо, представляет собой последнюю редакцию произведения, названного ранее. В первой строчке «Я помню длительные муки» и написанного поэтом между 4 марта и 14 сентября. В отличие от весеннего варианта стихотворение состоит не из четырех, а из шести строк.

Я помню горестные муки:
Ночь догорала за окном.
Твои заломленные руки
Чуть брезжили в луче дневном.

Я помню — вся ты поникая
В углу дивана замерла,
А там, как призрак, возрастая,
День обозначил купола...

И под окошком участились
Прохожих быстрые шаги,
И в серых лужах расходились
Под каплями дождя — круги..

О, никогда так скудно-светел
День не вставал, как в этот час!
И я не понял, не заметил
Всей глубины огромных глаз...

И ты потом сама дивилась,
Когда совсем угасла страсть,
Кому так трепетно молилась,
Чья над тобой вставала власть...

Сама не знала ты, откуда
Цветок тоски свой лик вознес,
Как разрешилось это чудо
Весенним ливнем бурных слез.

Рассказ о некоторых штрихах из литературных связей Блока, Белого и Стражева на колоритном фоне начала века будет очень неполным, если не коснуться важной стороны в их творчестве — темы «Востока и Запада».

В 1916 году Виктор Иванович Стражев тяжело заболел и переехал в Абхазию, где прожил одиннадцать лет. В это же время Блок и Белый создают свои программные произведения, а Стражев издает в Сухуме (1923) сборник стихов «Горсть», посвященный абхазскому народу и восточным влияниям на него. Словно реквием звучит его «Махаджир»:

Завесил вечер синими чадрами
Родные берега.
Но все горят-горят прощальными кострами
Высокие снега.

Земли моей я взял и на чужбину

Священных семь горстей.

«Вот все, что я сберег, — скажу угрюмо сыну, —
От родины твоей.»



Как же решали все три поэта проблему родины, Востока и Запада? Корни этой темы восходят к религиозно-философским и историческим взглядам Владимира Соловьева. В светоконцепции «арийской культуры» и грядущей катастрофы «желтого» нашествия Россия — «третий Рим» — призвана, как и прежде, отстоять христианский Запад в борьбе с надвигающейся опасностью восточных орд. Сохранить себя, веру или покориться — вот формула будущего России. И поэт Владимир Соловьев еще в 1890 году в стихотворении «Ex oriente Lux» («С Востока свет») вопрошал:

О, Русь! В предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Тревога Соловьева, его эсхатологические предчувствия оказали эпохальное воздействие на мировоззрение русских символистов. «Идея «панмонголизма», — писал Вл. Орлов в статье «История одной «дружбы-вражды», — произвела глубокое впечатление на Блока и Белого еще в пору их юности».

С одухотворенной силой в июне 1908 года прозвучали стихи Блока «На поле Куликовом». Еще раз судьба родины, России сверкнула в волчьем оскале желтого Востока. А слова Владимира Соловьева: «И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло» раскинулись эпитафией во всю ширь бескрайних степей. «Желтая опасность» нанесла смертельную рану Руси в ее ясном и долгом пути предопределенности. И сам «путь — стрелой татарской древней воли пронзил» грудь страны... А за рекой, совсем рядом — уже «поганая орда». Обреченность? Нет. В борьбе, по Блоку, духовное, нравственное очищение, противостояние «желтокровию». Предупреждение грядущей, возвращающейся из веков опасности, чей голос слышен «сердцем вещим»...

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Летом 1910 года А. Белый впервые прочитал цикл «На поле Куликовом». Стихи потрясли его. Он вспомнил: «Куликово поле» было для меня лейтмотивом последнего и окончательного «да» между нами. «Куликово поле» мне раз навсегда показало неслучайность наших с Александром Александровичем путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас... В десятом году я уже задумывался над темой «Петербурга». И пусть «Петербург» носит совершенно иной внешний вид, чем «Куликово поле», однако глубиной... едва

«слышимой читателю, укладывается в стихи Александра Александровича».

В романе «Петербург» (1913 — 1914) Белый, будто эхо, отзывался на стихи Блока: «...Брань великая будет, брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет, будет Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!».

«Петербург» был второй частью задуманной Белым трилогии «Восток и Запад». Он видит, как разлагается «арийская» культура под воздействием желтых микробов. Еще в повести «Серебряный голубь» (1910), открывающей трилогию, Белый писал: «...У нас всех монгольская кровь, не ей удержат нашествие: нам всем предстоит пасть ниц перед богдыханом». В июне 1911 года, уже работая над созданием «Петербурга», он сообщал Блоку: «Читаю «Войну и Мир», и мне ясно: 1912, 1913, 1914-й годы еще впереди. Мы живем в эпоху Аустерлица; и поступь грядущих вторжений видимых... невидимых осознаем одинаково («Куликово поле»).

Мы оба любим Россию...

Герои «Войны и Мира» сначала танцевали в зале у Ростовых, потом вызывали друг друга на дуэли, но... все сошлись на полях сражений. Все были под одним Бородином. Так и мы. ...Скрип повозок татарских уже слышен, а удельные князья еще ссорятся. Да не будет Калки!».

У Белого проблема Востока и Запада разрешилась в его занятиях антропософией («человекомудрие»), которой он увлекся, начиная с мая 1912 года, под руководством доктора Рудольфа Штейнера. Примерно через год, в 1913 г. Белый признавался Блоку: «... Что же делать, если «доктор Штейнер» стал лучшей частью души Андрея Белого. В себе не ведаю деления на «свое» и «штейнеровское».

Блок не принял антропософии Штейнера, хотя высказывания доктора о будущих судьбах России были близки поэту. Штейнер предсказал тогда революцию, Ленина, замечая по этому поводу: «Русская народная душа бесконечно глубока, но русские люди не досрели до русской народной души — никакой выправки, все только теоретизируют — их бы в ежовые рукавицы, воинскую повинность отбывать: еще через несколько лет будет дан России выразитель души народа, русский Учитель, а пока — руки по швам и учиться азбуке!».

И вот прогремела Февральская революция. Белый принял ее, но по-своему оценил происшедшее, примкнув к группе философов, писателей, публицистов, издававших альманах «Скифы» (1917 — 1918). Вместе с А. Ремизовым, Ивановым-Разумником, С. Есениным, К. Петровым-Водкиным Андрей Белый понимал революцию не в социальном плане, а абстрактно-романтическом. Идеолог группы Иванов-Разумник считал, что «скифы» призваны нести в мир «идею духовного освобождения человечества». «Скифство» было недовольно политикой Временного правительства, выдвигая идею «всемирного народного восстания», призванного разрешить проблему «Во-

стока и Запада». Белый и «Скифы» восторженно отнеслись к событиям Великого Октября. Пути Блока и Белого вновь перекрестились, хотя это событие они понимали по-разному. Свидетельство этому — «Двенадцать» и «Скифы» (январь 1918) Блока и «Христос Воскрес» (апрель 1918) Белого, который разъяснял позже: «Поэма была написана приблизительно в эпоху написания «Двенадцати» Блока; вместе с «Двенадцатью» она подвергалась кривотолкам; автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии... Что представитель духовного сознания и антропософ не может так просто присоединиться к политическим лозунгам, — никто не подумал (все влипли в stadные переживания); между тем: тема поэмы — интимнейшие, индивидуальные переживания, независимые от страны, партии, астрономического времени... Современность — лишь внешний покров поэмы. Ее внутреннее ядро не знает времени».

А 17 марта 1918 года, только что прочитав «Скифов», Белый писал Блоку: «... Какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово поле». Все, что Ты пишешь, взмывает в душе вещи те же ноты: с этими нотами я жил в Дорнахе... То же, что Ты пишешь о России, для меня расширяется до Европы. Там назревает крах такой же, как и у нас... Еще многое будет... Если Россия и Европа не стряхнут с себя «железную пяту» — скоро мы увидим открытые человеческие жертвоприношения...»

Прошло всего несколько лет после написания «Скифов». 4 ноября 1921 года в столице молодой Абхазской республики состоялся вечер, посвященный памяти Блока. В переполненном зале театра звучали чеканные строки «Скифов».

Александра Блока уже не было — стихи его жили. Газета «Голос трудовой Абхазии» писала тогда: «Интересными в литературном отношении были два доклада В. И. Стражева и Л. М. Фимского... Была дана и литературная иллюстрация в наиболее характерных для поэта произведениях, переданных мастерски: Стражевым в лирической части с присущими этой стороне творчества поэта элегичностью и тихой мечтательностью, и Римским, сумевшим чёткой «Двенадцати» и «Скифов»... оттенить всю ширь... темперамента поэта в революционном устремлении его пророческого духа». Виктор Стражев, живший теперь в Сухуме, где мирно уживались и Восток и Запад, тоже по-своему нашел разрешение этой проблемы для себя. Поэтому он не принял «Скифов» Блока. А 16 августа 1919 года Стражев написал ответное стихотворение «Антискифы», посвященное Блоку¹:

О, да! Зови на братский пир, поэт!
Но перестрой встревоженную лиру.
Нет! Не грози лавиной злобных бед
Старшому — западному миру!
Нет! Пусть иной и светловейный миф

¹ Стихотворение В. Стражева публикуется впервые.

В твоих стихах услышат наши братья,
Пойдут ли к нам, коль им раскроет скиф
Тяжелых лап свои объятия?
Нет! Ложь и ложь! И снова трижды ложь!
Нет! Нам не надо скифской маски!
Могильный сон курганов не тревожь.
И не мути злозычьем сказки.
Докучно было нам всегда
Европы жадной скопидомство,
Но страдальный путь не ляжет наш туда,
Где злое зреет вероломство.
Наш путь — НАШ ПУТЬ. И нам пугать не стать
Чужою азиатской рожей.
На этот раз — какая боль внимать
Ей — лире милой и пригожей!



Под палящими лучами юга, в «стране жемчужно-голубой», где «горы — остывшие сны», Стражев погрузился в знойную безмятежность и тихую лирику. А когда-то, в ранних стихах, и его волновала тема, которую через всю свою жизнь самоотверженно пронес Александр Блок. Тогда, десять лет назад, Стражев писал другое:

...И ты, Восток, медлительный и страстный,
Как маг, идущий из времен,
В былом и будущем над этим миром властный.

Но даже «Скифы» не смогли поколебать любовь Виктора Ивановича к Блоку-лирику. «Я жил на Кавказе, в Сухуме, — вспоминал Стражев. — В жаркий августовский день 1921 года шел я по улице и заметил на стене дома свежий квадратик бумаги. Экстренная телеграмма. Подошел и прочел. Телеграмма сказала: умер Блок. Я перечел еще раз: так ли? Да, так. По-нурившись, побрел. Встретил знакомого.

— Что с вами? Вы плачете? — удивленно спросил он.
Что ж. Мне и сейчас не стыдно этих слез.

Блок ушел. Но остался одним из духовных спутников, тайной радостью...»

Прошло много лет. В память о великом поэте душа Стражева отозвалась¹:

Розы радости — страданья,
В сердце блеклый лепесток,
В темной памяти сияньем
Голубое имя — Блок!
Мир был душен. Мир был тесен,
Выла пьяная пурга,
Но тоска метельных песен
И доньше дорога!
В них томилось и молилось,
Веря в некий добрый срок,
То, что в злую ночь лучилось
Кратким светлым словом — Блок.

¹ Стихотворение В. Стражева публикуется впервые.

Живая точность тайн...

...А как с «определением поэзии», как с ее тайнами и секретами? Поэзия ставит на пути своего определения преграды непреодолимые. (Причем не глухие, а какие-то маневрирующие...). Кажется, нет ничего яснее блоковских стихотворений, они созданы по закону предельной ясности и простоты, и тем не менее в этой ясности тайна, которая, и раскрываясь, не перестает быть тайной. Ничего общего с раскрытием фокуса. Тайна тут связана с сокровенным... Может случиться и так: чем больше постигается тайна, тем больше она ею остается... Блок писал: «Но мир прекрасен, — втайне». Область прекрасного — тайна. (Убивая тайну, можно убить и прекрасное). Открытие — тайна. Тайна, которая как открытие. Открытие, сохраняющее святость тайны. Поэтому приходится говорить о некоем, не совсем обычном, способе постижения.

Видимо, удовлетворительного с формально логической точки зрения определения поэзии быть не может, потому что в формуле поэзии все равно окажутся такие величины, как неопределимость, необъяснимость и т. д.

Блоковские стихи тем и околдовывают, что невозможно определить, что в них главное, — это заданная неопределенность. Если возможно сказать: вот это главное в этом стихотворении, значит оно не великое произведение. Блок утверждал (зрелый Блок в 1920 году): «...во всяком великом произведении главное то, чему нет имени, чего не назовешь, неразложимое, необъяснимое, о чем говорят только такими общими словами, как «творческий дух», «хмель», «музыка». И еще: «Чем более стараются подойти к искусству с попытками объяснить его приемы научно, тем загадочнее и необъяснимее кажутся эти приемы... искусство неразложимо научными методами, искусство и наука суть области, глубоко различные в самой сути своей, и смежны лишь на поверхности». Видимо, определение поэзии возможно лишь средствами самой поэзии... Вспомним стихотворение Пастернака, так и называющееся — «Определение поэзии»:

Фрагмент из неоконченной работы А. Цыбулевского о Блоке, часть которой публикуется также в № 11 «Литературного обозрения».

...Это — круто налившийся свист,
Это — пение сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.



Нужно не смешивать эту неопределимость поэзии с неопределенностью. Это не значит, что в поэзии нет главного — раз главному нет имени, раз главное неопределимо.

Неопределимость и неопределенность — разное. (Неопределенность — всегда недостаток, неопределимость выступает обычно как достоинство. Неопределенность конечна, Неопределимость — бесконечна). Таким образом в поэзии есть своя особая неясность, которая суть определенность.

Эти и последующие рассуждения нужны не сами по себе, а для уяснения таких качеств в сторон поэзии, которые могут не только сбить с толку читателя, но и поэта привести к конфликту с самим собою. Более того — существуют объективные свойства и качества поэзии, дающие основания и повод не только к различному, в том числе прямо противоположному, непримиримому их толкованию, но и служащие, так сказать, теоретическо-психологической базой и основой поэтических направлений, школ и течений, даже таких крупных, как, скажем, условно, пушкинское и некрасовское начала. Во многих своих аспектах эти противоречия внутри единой поэзии — вечные, неустранимые — существующие по сей день и независимые от социальных преобразований. Тем больше оснований ими заняться. Блок — величайший лирик — писал о своей ненависти к лирике, а это значит (помимо всего остального) и то, что какие-то свойства поэзии, может быть, вводили в заблуждение самого Блока. Как никто, он знал, что поэзия и наука — разное, а сам, быть может, ловился в сети их поверхностного сходства. Это значит, что поэту, «прежде чем начнет петься», приходится вышутываться и продирается в лесу противоречий. И вполне законен вопрос: а может быть, «ненависть к лирике» — неизбежный этап любого творческого процесса? Говорят, Шаляпин на вопрос: «Что нужно для того, чтобы запеть?» Ответил: — «Это так просто — достаточно открыть рот!». Блок представляется нам «поющим» поэтом, пение которого возникает само собой без усилий. Многие (не только сам Блок) ценят и любят поэзию именно за это ее качество — легкость, нескованность произнесения, как бы самопроизвольность, ничем не стесненную. «Достаточно открыть рот». «Да, так диктует вдохновенье», — писал Блок. Поэзия не терпит вымученности, трудности: «так написалось» — это законный ответ поэта на вопрос «почему». «Так написалось — и не подлежит обсуждению». Именно так, а не иначе, и именно так потому... что это в конечном счете не поддается объяснению. (Занятно, не правда ли? Необъяснимость, выступающая в качестве убедительного аргумента).

В этой связи интересно письмо Блока редактору С. К. Маковскому по поводу правки «Итальянских стихов»: «...Хочу только ответить Вам на Ваше недоумение относительно

моего несогласия исправлять стихи. Я писал Вам, что ничего не имею против некоторых Ваших замечаний «грамматических» — внешним образом... Для меня дело обстоит вот как всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах не слу- чайна, за ней скрывается то, чем я внутренне не могу по- жертвовать; иначе говоря, мне так «поется», я не имею силы прибавить, например, местоимение к строке «вернув бывалую красу» в «Успении» (сказать, например, «вернув ей пре- жнюю красу» — не могу — не то.)».

Знаменательны и попытки самого Блока исправлять свои стихи после того, как они «написались»: «После упор- ной работы я увидел, что мои переделки стихов (главным об- разом сокращения) были напрасны. Поэтому я восстанавли- ваю многие выкинутые строфы и строки».

Конечно, не следует из этого делать фетиш, мы знаем, как улучшались стихи Блока после его собственной редак- туры (как правило, первоначальные варианты стихов слабее окончательного текста). Но все это не отменяет и не опро- вергает момента (и, может быть, самого существенного) в творческом процессе — необъяснимой правоты строк, при- шедших сразу, по наитию.

Вся эта неаргументированная оснащенность поэзии, где в качестве основания, кажется, выступает «прихоть пев- ца» — «так поется» — может отвлеченно привести к некой замкнутости, кастовости, исключительности поэзии. Кажется, что особенности поэзии могут поглотить ее без остатка. В ней, в конце концов, не окажется ничего, что не было бы поэ- зией, что могло бы иметь какие-то другие связи, источники и основания. Стихи говорят о стихах — и ни о чем больше, поэзия ради поэзии и даже — «искусство для искусства»... Специфичность поэзии катастрофически растет, она готова за- слонить собой все, еще немного, и мы перестанем видеть в лирике Блока что-либо, кроме чистой струи лиризма. И вдруг настораживающее:

Молчите, проклятые книги,
Я вас не писал никогда.

И тот же самый Блок пишет о лирических ядах, о на- ваднении лирики, причем для него это не вопрос теоретиче- ский — в нем бессонные раздумья... Значит, это не так про- сто петь — «достаточно открыть рот»? Значит, скорее про- исходит по Маяковскому:

Прежде чем начнет петься,
Долго ходят, разомлев от брожения,
И тихо барахтается в тине сердца
Глупая вобла воображения.

У Блока наоборот — ходьбы не было; все создавал си- дя. И дело не в брожении. Ходьба не обязательный предше- ствующий творчеству акт. Но неужели, чтобы петь — нуж- но познать и ненависть к пению? Чтобы быть лириком — пройти самому и школу ненависти к ней? В самом деле, есть

состояния, когда ненависть к лирике кажется естественной и необходимой. Так представлялось Блоку. Как можно совместить чистую лирику — «восторг души первоначальный» и «нищих на мосту зимой» — весь «трепет этой жизни бедной»? Блок писал в «Записной книжке»: «Одно только делает человека человеком: знание о социальном неравенстве». Блок, веривший в будущее, писал о том, что «оптимизм — самое небогатое и примитивное мироощущение». «Жизнь прекрасна, как всегда» — для Блока не следствие оптимизма, а вывод, который вынесен из знания трагичности и неприглядности жизни. «Жизнь прекрасна» — говоря по-блоковски — это «тайное знание»... («Но мир прекрасен — втайне»). Да, ненависть к лирике логически закономерна, если считать, что она убаюкивает, отравляет сладкими ядами, уводит от настоящей борьбы. Все правильно:

**Но песня песней все пребудет,
В толпе — все кто-нибудь поет.**

Как же совместить отрицание песни с вечностью песни, с тем что она «пребудет»?

И Блок все время подсознательно ощущает противостественность своей войны с лирикой, какую-то ошибку в постулате, в отравном пункте логически неуязвимой системы. И поэтому он всегда рад ее крушению, рад творчеству, которое опрокидывает ее построения. Вот что он пишет А. Ахматовой 14 марта 1916 года:

«Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они не пустяк, и много такого — отрадного, свежего, как сама поэма».

Итак, с одной стороны — чистая стихия, песня с качеством песни, поэзия с качеством поэзии, чья суть неуловима, — «поэзия дышит там — где она захочет», — и, с другой стороны, начинаются опосредствования: зависимость поэзии от времени, от государства, от общества, от политических симпатий и антипатий... Значит ли, что «ненависть к лирике» Блока — нечто временное, исчезающее автоматически с уходом «страшного мира»? Или это категория вечная? И через много лет Маяковский выразит ее еще страшнее, еще трагичнее::

Наступать на горло собственной песне.

Что если это вечная категория, которая будет всегда. «покуда жив на свете хоть один прит?».

А может быть, это своего рода супер-тема любого стихотворения — то, что скрывается в нем за всеми покровами? О чем бы ни говорило стихотворение, о чем бы ни была его тема — это сквозит за его темой? Противоборство, борење лирики с антилирикой (Блок приписывал антилирические качества эпосу)...

Блоку издавна было свойственно понимание того, что «социальный вопрос есть великий двигатель настоящего времени». Да, конечно, судьбы поэзии зависят от общества и го-



сударства, поэзия может быть поставлена в зависимость и на службу тех или иных интересов. И в то же время ее течения и истоки проходят «на глубинах, недоступных для государ-ства и общества».

Эту независимость поэзии в такой ее проекции, как вопрос «назначения поэта», Блок вновь с особой остротой ощутил на заре рождения первого в мире социалистического государства. Блок субъективно стремился направить свое перо на службу революции. В понимании независимости поэзии не было у Блока ничего контрреволюционного. Это был объективный взгляд на положение вещей. Не только нераздельность, но и неслиянность поэзии со всем происходящим, — Блок писал об этом в предисловии к «Возмездию»... Маяковский предпринял героическую попытку перепрыгнуть этот рубеж, эту диалектическую грань противоречия, закрыть глаза на то, что:

Поэзия пресволочнейшая штукавина:
Существует — и не в зуб ногой.

Время показало, что более правильное представление пропорций принадлежало Блоку...

Блок считал, что все истинно великие произведения двойственны по своей природе. В отзыве на перевод Холодковским «Фауста» для издательства «Всемирная литература» Блок написал следующее: «...надо брать перевод Холодковского, не редактируя его, только местами чуть-чуть тронуть. Эту последнюю оговорку заставляет меня сделать одно из самых темных мест второй части. Когда Эвфорион летит со скалы, хор поет: «Ikarus! Ikarus! Iammer genug!» То есть: «Икар! Икар! Довольно стенаний!».

Фет переводит: «Все ты, Икар, Икар, все погубил!».

Холодковский: «Горе! Икар! Икар! Горе тебе!» (как в издании Гербеля 1878 года, так и в издании Девриена 1914 года).

Таким образом, у нас искони держатся одного только толкования этого места, то есть в восклицании хора видят только заключительную страдательную ноту. Кажется, его можно толковать и по-другому, — то есть в голосе хора не одно страдание, но и крик освобождения, крик радости, хотя и болезненный. Во всяком случае, этому месту надо дать ту же двойственность¹, которая свойственна всем великим произведениям искусства. «Предел стенаний» имеет, по существу, великий, а следовательно и двойственный, символический смысл».

Крайне интересно употребление понятия двойственность и в ответе Блока на вопрос анкеты о Некрасове: — Как вы относитесь к народолюбию Некрасова?

«Оно было неподдельное и настоящее, то есть двойственное (любовь — вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле».

¹ Выделено Блоком.

Это не случайные мысли Блока, рожденные случайным поводом (отзыв, анкета), напротив, тут скорее применение к случайному поводу того, что постоянно его занимало. Случайность повода — только подчеркивает постоянство этих мыслей, непрестанность и углубленность в них Блока. Это особенно ощутимо по кажушейся мизерности замечания в отзыве о переводе Холодковского: в необъятном море «Фауста» обратить внимание на сущую «безделицу», но в том-то и дело, что безделица — ответила думам Блока. В мизерности ее заложен гигант принципа; возможность преодоления в искусстве однозначности логического мышления, возможность одновременного объединения прямо противоположного — жары и холода, ночи и дня. Так в некрасовской анкете Блока не в первый для него раз произносится: любовь — вражда, а в отзыве на перевод Фауста в реплике хора Блоку слышно не одно страдание, а и радость освобождения. Вместе. Этот к тому времени (1919 год) четко осознанный, почти сформулировавшийся принцип двойственности стихийно присутствовал с самого начала в блоковском творчестве, им пронизаны самые вдохновенные взлеты; вспомним песню Гаэтана из драмы «Роза и Крест» с его странным для уха Изора и Бертрана и непонятно воздействующим чарующим припевом: «Радость—страданье—одно».

Блок не дал досконального разъяснения, что он имел в виду под двойственной природой искусства, он только дал говорящее о многом общее наименование для ответов на большой круг недоуменных вопросов в отношении загадочных свойств искусства. Не нужно отмахиваться от этого слова — «загадочный». Отнимите у поэзии загадку — и поэзии может не стать. Загадка — как раз и находится в самой сердцевине, в самой сфере двойственной природы искусства. Заметим, именно двойственности, а не двусмысленности; двойственности, а не неопределенности. Вспомним Б. Пастернака:

Поэзия, не поступайся ширью,
Храни живую точность — точность тайн..

Живая точность тайны! Тайна со свойством точности. Это тоже в сфере двойственной природы искусства, двойственности, которая не отменяет требование точности, конкретности, ясности, «неслыханной» простоты изложения, а напротив, подразумевает ее. Она не имеет ничего общего с неопределенностью, неясностью, двусмысленностью, туманностью — идущих от нечеткости мысли или выражения. Это тайна. Но не мертвая тайна фокуса, а живая тайна, подобная тайне бытия.

Тайна, остающаяся тайной..

Я помню нежность ваших плеч —
Они застенчивы и чутки.
И лаской прерванную речь,
Вдруг, после болтовни и шуток.

Волос червонную руду
И голоса грудные звуки.
Сирени темной в час разлуки
Пятиконечную звезду.



И то, что больше и странней:
Из вихря музыки и света —
Взор, полный долгого привета,
И тайна ВЕРНОСТИ... твоей.

С одной стороны, тут все ясно, все может быть расшифровано и раскрыто, в том числе... «и тайна верности» и почему о ней говорится таким образом в те годы, когда, по Блоку же!

...в любом семействе дверь
Открыта настежь зимней вьюге,
И ни малейшего труда
Не стоит изменить супруге,
Как муж, лишившейся стыда.

С другой стороны (и тут начинаются проявления двойственной природы искусства), в этом стихотворении все, в конечном счете, остается... необъяснимым. Все. Да и должно оставаться. Чудом. Тайной.

Если человека не будет необъяснимо волновать даже знак препинания, скажем, вот это тире:

Я помню нежность ваших плеч —
Они застенчивы и чутки... —

этот человек, вероятно, окажется глухим к поэзии, его будут удовлетворять лишь ее объяснимые, рационалистические основания. В самом деле, в какой мере поэзия Блока открыта и говорит о ясности ее постижения, в той же мере поэзия Блока закрыта и не может быть исчерпана «всеобъемлющими» истолкованиями и объяснениями.

В этой, так сказать, антиномии есть своя положительная сторона: отказ от исчерпывающего, до последнего винтика, понимания поэтического «феномена» с помощью средств понимания и приближает нас к пониманию поэзии. Таков парадокс. Понимание поэзии включает в себя и отказ от ее понимания. «Непостижимо!» — вот первое движение и первый возглас души, постигающей музыку.

Два равновеликих наслаждения доставляет поэзия: наслаждение пониманием и непониманием ее. Кто не испытывал удовольствия, «понимая» стихи, но кто не знал его, «не понимая»? Кто не любил поэта, еще не до конца вникая в смысл им сказанного? В какой-то мере запрограммированная непостижимость... Восприятию искусства свойственна не только схема — от «незнания, от неполного знания — к полному знанию и к знанию», — но и нечто обратное — от знания к незнанию! Это, может быть, самое поразительное в искусстве.

Конечно, только понимая, мы более полно можем наслаждаться поэзией и можем испытать счастье понимания. Чем больше мы знаем о произведении, тем больше оно воздействует на нас эмоционально. Но многое зависит от качества этого знания (есть знания, которые можно уравнивать с незнанием — они ничего не дают для восприятия поэзии, они могут быть ей даже враждебны). Объяснить поэтический образ — значит и в чем-то ограничить ширину его охвата. Есть объяснения, претендующие на полноту, от которых пропадает ощущение полета. Полет превращается в передвижение, транспортировку по воздуху. Объясняя стихотворение, нужно помнить, помнить Блока: «Прав тот критик, который творит свою волю, который на основании собранных им фактов строит свою систему, например социологическую. Но горе тому, кто вздумает толковать художественные произведения. Ему удастся истолковать только всякую дрянь: чем злободневнее (то есть «безыскусственнее») произведение художника, тем более оно поддается толкованию. И наоборот: чем больше в нем элементов искусства¹, тем в более смешное положение попадает критик, его толкующий».

Произведение искусства оживет в следующем поколении, пройдя, как ему всегда полагается, через мертвую полосу нескольких ближайших поколений, которые откажутся его понимать. Толкование его там не оживет уже, потому что оно, по существу своему, логично¹ (ибо толкование не может не руководствоваться логикой); а произведение искусства спаяно не логикой, а иною спайкой».

Эта цитата взята нами из заметки Блока «Об искусстве и критике», написанной в 1920 году и навеянной ему чтением романа «Милый друг» Мопассана. В нашу задачу не входит останавливаться на пророчески звучащих словах Блока о прохождении произведением искусства мертвой полосы нескольких ближайших поколений.

В этой заметке представляет особый интерес то, как оперирует Блок понятием Художник, каким образом он ставит Художника вне логики и переносит его на почву великой двойственной природы искусства (Почва природы!). Что может быть отвратительней ситуации «Милого друга»? Трудно представить, какой силой и твердостью должна была обладать рука, чтобы довести это произведение до конца. Конечно же, это — сатира! Но Блок вопреки этой, казалось бы, естественной логике видит и другое в этом романе. Блок пишет, что, читая роман, он словно находился «в какой-то радужной клетке». В чем же дело? «...Он-то (Мопассан), художник, «влюблен» в Жоржа Дюруа, как Гоголь был влюблен в Хлестакова. И вообще в этом романе, как и в других, он обожает пошлость жизни». Вот тут-то мы и находимся в самой сердцевине этого таинственного агрегата — «двойственной природы» искусства. Не имея целью разбираться в его механизме, мы только укажем на те предупредительные вехи, которые поставлены Блоком перед входом в искусство. Осто-

¹ Выделено Блоком.

рожней! — предупреждают они. Не делайте поспешных умозаключений — искусство захватывает не логикой, и нужно иметь в виду все эти возможные тонкости, такие как, например, это: выражение отвращения через тайное обожание. (Непостижимо!!!) Тут мы вступаем в сферу, которая может называться: право художника.

Еще один пример. Из отзыва Блока в редакционную коллегию издательства Гржебина на стихи Д. Семеновского, которые были даны на рецензию Блоку Горьким. (Это в письме к Семеновскому прозвучали гениальные и неожиданные слова Горького о Блоке: «Блоку — верьте, это настоящий — волею божией поэт и человек бесстрашной искренности»).

«...у Семеновского, кажется мне, недостаточно культуры, поэтому он сходен с разными образцами во второстепенном; а иногда чувствуется просто даже «насвистанность».

За землю, за волю, за хлеб трудовой
Идем мы с врагами бороться,
В ком сердце горячее бьется,
На бой, на бой, на бой.

Это есть в каждом номере каждого пролетарского журнала. Подлинный поэт чувствуется в авторе второй тетради...

Громадны очи на лице
Спокойном, высохшем и смуглом,
Каменья теплятся в венце,
Как месяц золотом и круглом.

Это — по-настоящему сказано. Дальше поразило меня приятно, после насвистанного и просвистанного «Возвихрьсь, полымя алого стяга» — следующее:

Горя дрожащей бахромой,
Хоругви в небесах полощат.
Казаки с важностью немой
С коней оглядывают площадь.

Или:

С иконостасом на груди
С борами на багровой вые,
Кричат народу: «Осади!»
Сердитые городовые.

Поэт любитесь и казаками, и городовыми и не может иногда не любоваться, потому что он поэт и непременно спорит с тем другим своим «я», которое дробно барабанит: «Но восстанья пылающий сполох сжег дотла вековую тюрьму». То «я» никогда не простит другому, для которого «толпа колеблется, как рожь», которое слышит, как

Гремит расстроенный орган:
«Когда б имел золотые горы»...
Скотины рев, божба цыган...

Как все это хорошо!..»

Обращает на себя внимание сходство между понравившимися Блоку стихами и «Возмездием». В них есть нечто очень русское, эпическое, то пушкинское, упорительно реалистическое, останавливающее неожиданной музыкой («прозаическом предмете»: «морозной пылью серебрится его бобровый воротник».

Все это разные аспекты двойственности, двойственной природы искусства... Но нужно иметь в виду — все ее основания не могут быть заданы, запрограммированы заранее. В двойственности находит свое не предусмотренное выражение, пожалуй, не столько природа искусства, сколько натура поэта — ее сложность, ее ничем не стесненное физическое присутствие в произведении. Она проявляет себя даже вопреки заданности. И это тоже пушкинское: так Пушкин любит державным городом в «Медном всаднике» — любит ее просто, непредвзято, по-человечески (например, его парадами) — несмотря на все антидержавное этой поэмы. Может быть, потому что в этом любовании есть своеобразный обывательский демократизм, поддавшийся чисто зрелищной стороне парадной государственности, которая, кстати, будет изображена в поэме Блока «Возмездие» в сценах марширующей после похода пехоты. И в этом плане самое поразительное чудо, непревзойденное, — чудо описания Пушкиным приготовления Ольги к свадьбе с уланом. Ни одной нотки осуждения! Пушкин любит Ольгу. В этом чудо Пушкина — чудо свободного (тайная свобода!) непредвзятого отношения. Бесмертная классичность — отнюдь не олимпийски бесстрашна, а напротив, вся — чувство, вдруг выкристаллизовавшееся в слове.

Нужно сказать, что у Блока его двойственность проходила по другим линиям. Блок, пожалуй, нигде никогда не любит ни чисто зрительно, ни духовно «страшным миром». «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне» — имеет очень узкий смысл — дороже других краев — да, но я не люблю тебя. Пузатой, перинной, купонной...

Нет законов для искусства, есть только им самим для себя созданные. Это начало, с этого — пушкинского — произведения судятся по собственным, им для себя созданным законам — начинаются и кончаются «суждения об искусстве».

Но продолжим «неблагодарное» дело рассуждений об особенностях поэзии. Почему неблагодарное? Нужно помнить, что говорить «...об особенном месте, которое занимает поэзия и т. д. и т. п., — это может быть иногда и любопытно, но уже не питательно и не жизненно».

Рассуждения об особенностях важны постольку, поскольку предупреждают о возможности подставления законов толкования, имеющих свою ничем незаменимую силу, взамен — собственных, им для себя созданных — законов искусства...

В дальнейшем мы еще вернемся к этой теме взаимоотношения поэтического и логического (тут дело не обязательно должно доходить до конфликта), а пока заметим, что особые свойства поэзии не ставят ее в какое-то исключительное



94435940
3023010333

положение по сравнению, например... с физикой. Так, для А. Эйнштейна, оказывается, не всегда «грешить против разума» означало — грешить против истины:

«Поистине никогда и ни при каких условиях понятия не могут быть логическими производными ощущений. Но дидактические и эвристические цели делают такое представление неизбежным. Мораль: если вовсе не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти...»

Или еще более ошеломляющее у Н. Бора:
«...Нет никакого сомнения, что перед нами безумная теория. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной».

Что это на первый же настороженный взгляд, как не «лирическая», так сказать, методология в науке?! Видимо, если идти вглубь, то не окажется ничего исключительного в исключительности поэзии. Поэтическое мышление, при всей его необычности, не божественного, а человеческого происхождения, оказывается естественным и... научным.

Может быть, в этой связи есть основания упомянуть здесь о том, что Блок писал о парадоксе времени до Эйнштейна.

Рассуждения об особенностях искусства, о его незаменимости можно было бы длить до бесконечности. Они росли бы, как растет снежный ком, пока, уже повинаясь инерции и логике самих рассуждений, а не действительному положению вещей, — мы бы оказались готовы провозгласить, что в искусстве важно только искусство, но тут снежный ком, которому была уготована гладкая дорога, разбивается о первое же препятствие: «Во всяком произведении искусства (даже в маленьком стихотворении) — больше неискусства, чем искусства».

Никакой особой литературы, «никаких особенных искусств не имеется...» Вот — первая истина, первый урок Блока, под которым он клянется веселым именем Пушкина. Блок в искусстве меньше всего склонен был ценить именно искусство. Даже в символизме — наиболее близком ему литературном течении — ценил сокровища «отнюдь не «чисто литературные». Символическое, по Блоку, «связано с вопросами религии, философии и общественности».

Быть писателем для Блока значило включиться в магистральную линию русской литературы, которая не знает разделения поэзии и прозы, которая «тесно связана с общественностью, с философией, с публицистикой». Блок писал, что писатели старые самоопределялись не по литературным признакам и особенностям, а по «миросозерцаниям (славянофилы, западники, реалисты, символисты)». «Ненависть к лирике», отвращение к так называемым литературным особенностям вплоть до крайности: «молчите, проклятые книги — я вас не писал никогда» — это живой голос Блока, но не следует забывать, что это — «голос в хоре», в полифонии, так как другой его голос тут же клянется Пушкиным, что не следует давать имя искусства тому, что называется не так, что искусство нужно уметь делать.

Об этом голосе в хоре не следует забывать.

Итак, две истины?

Блок называет эти истины — истинами здравого смысла. Это не случайное уточнение. Тут скорее две правды. Две правды — тоже из терминологии Блока. И, видимо, нужно не задаваться вопросом, какой из двух правд отдать предпочтение, а искать пути их объединения, слияния в чем-то большем, чем одна правда. Именно в Истине. Однако Истина это особая — она из области поэзии, а потому в формуле ее окажутся неизвестные величины. Оговоримся сразу, блоковские искания не дадут нам окончательного, в «последней инстанции», ответа на «проклятые вопросы», но любопытно и полезно оказаться в их водовороте, в их потоке. Может быть, этот поток и является сам по себе истиной, так как трудно себе представить некую статическую истину (логически выразимую!), которая внятно скажет о том, что обладает другой, чем эта истина, природой...

Вступая во внутренне и нерасторжимо связанный круг блоковских мыслей, мы вступаем в подвижный мир — в нем «все течет». С Блоком мы в мире диалектики. К неподвижным, окаменелым понятиям Блок прикасается волшебной палочкой — и они начинают переливаться...

Блоковская подвижность понятий отвечает требованию гибкости и незакастности их, которое содержится в ленинском наброске «О диалектике». Причем блоковский поток соответствует не только букве, но и духу диалектики. Он взрывчат, как взрывчат в блоковском понимании романтизм — это дух, который струится под всякой застывшей формой и наконец взрывает ее...

Понимание стихотворения идет, как бы вяясь между осознанием его и ощущением того, что не может быть осознано. Равностепенно.

Дома растут, как желанья,
Но взгляни внезапно назад:
Там, где было белое зданье,
Увидишь ты черный смрад.

Так все вещи меняют место,
Неприметно уходят ввысь.
Ты, Орфей, потерял невесту, —
Кто шепнул тебе: «Оглянись...»?

Я закрою голову белым,
Закричу и кинусь в поток.
И всплывет, качнется над телом
Благовонный речной цветок.

В этом стихотворении (несмотря на то, что в нем все как бы оказывается подчинено идее, смыслу) — акустически прежде всего слышна музыка. Несмотря на строго выверенный смысл, стихотворение в чем-то родственно даже зауми... Оно нравится до понимания. Благовонный речной цветок — непостижимо! Это выше разумения. Он так необходим, не-

заменим тут, но откуда он взялся — непонятно и не может быть постигнуто. Это стихотворение может быть полноценно воспринято, даже если ничего не знать об Орфее. Хотя он тут не случаен: есть легенда — Орфей спускается в подземное царство за своей умершей женой Эвридикой, которую все же теряет, так как, выводя ее, оглянулся, вопреки запрету. (Первая строфа — пророчество — предчувствие — нечто большее, чем сказанное — бесконечность...) Интересно, что жена Орфея превращена Блоком в невесту — и в общем это не суть важно, хотя, быть может, звучит вопиюще для придирчивого и дотошного педантичного читателя. Может быть, тут невеста — возникла только из-за рифмы. Может быть. Казалось бы, нарушено обязательное правило для Поэта — не заниматься «подрифмовкой», ничего не делать ради рифмы — но и это нарушение оправдано: согласитесь, что «невеста» звучит сильнее, чем прозвучала бы «жена». Прозвучало бы при всей его соотнесенности с легендой — не так музыкально.

У Блока — мысль, мысль, мысль, в итоге — музыка, музыка, музыка. Музыка — не прямое следствие мысли. Но они нерасторжимы... Диковинно звучащий закон об отсутствии законов и правил для поэзии естественно дополняет в качестве еще одного закона — «безумная прихоть певца» — строка из стихотворения Фета «Псевдопозту», которой любил оперировать Блок в качестве термина (в свое время он расширит этот термин и скажет о «безумном артисте»).

В стихотворениях все закономерно: одно следует из другого, но направляет это следование «безумная прихоть певца». Поэтому в стихах вместо ожидаемого — неожиданное. Предугадать при всей закономерности появления, например, «благовонного речного цветка» — невозможно (даже если заранее отгадана рифма). Все правильно, все закономерно в стихотворении благодаря безумию, а не «разумию», логике. Достаточно ли стихотворение — безумно, чтобы быть логичным? — Можно так перефразировать Н. Бора применительно к поэзии. В стихотворении должно быть некое «безумие», но это «должно быть» — чуждо стихотворению, так как оно — вне догмата. Оно само создает свое «должно быть», а не ему его навязывают со стороны. (Правильно сказать: мы ценим стихи за некоторое «безумие» в них, — но это уже другое...). Безумие, закономерность стихов — такого рода, что они не могут быть заранее запрограммированы, заранее встать перед стихотворцем в качестве цели.

В предисловии к «Возмездию» Блок писал о «нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики». Именно в тот период, когда он больше всего искал и жаждал слиянности и зависимости, целенаправленности искусства, он ощущал одновременно его неслиянность со всем происходящим, его «улетающий характер», «дышащий там, где захочет».

О соединенности искусства с действительностью, о том, как в «эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта так же преисполняются бурей и тревогой», написал тома. Ощущение своего как общего, мирового, да-

же космического — великое ощущение Блока. Но очень мало говорилось о другой стороне единства противоположностей, мало, почти ничего о неслиянности, нераздельности. Вероятно, настало время второй половины формулы.

Пройдя школу «ненависти» к лирике и отвращения к лирическим началам поэзии, Блок вновь и вновь возвращается к теме «неслиянности» поэзии, которая тесно связывается, но не ограничивается темой «свободы творчества, невмешательства в дела поэзии». Вот что он выписывает из Потебни в свой дневник в 1921 году: «Поэт может настаивать на своем праве (на личную свободу), потому что цель его деятельности не может быть определена ни им самим, ни другими заранее. Но ведь и там, где эта цель заранее со стороны определима, вмешательство в самый способ ее достижения портит дело. И извозчик, нанятый до места или на час, хочет, чтобы не дергали и не мешали править лошаадьми».

Вслед за этим Блок снова вспоминает «безумную прихоть певца». Дело в том, что именно эта свобода, эта прихоть тесно связана с «неслиянностью» поэзии... Наличие дара, таланта — того, что не может быть заранее запланировано — может быть, и есть самый антисоциальный момент в искусстве. Но и тут мы оказываемся во власти текучести, гибкости — диалектики. Талант, дар, по Блоку, не принадлежит человеку — ему принадлежит только мастерство. Дар общества.

Роман ТИМЕНЧИК

ОБ ОДНОМ ПОСЕТИТЕЛЕ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

В дневнике Александра Блока 20 сентября 1912 года записано: «У меня — студент со стихами, довольно милый». По-видимому, в тот же день Блок писал своей матери: «У меня сидит очень милый студент — поэт». Оба эти упоминания до сих пор не комментировались. А между тем архив Блока позволяет установить, кто был этот «милый студент — поэт». В бумагах Блока сохранилось следующее стихотворение:

Колыбельная

Рождены мы на закате
Безмятежно золотом,
И с томленьем о возврате,
О бесследно прожитом.
Тот, кто хочет быть титаном,
Будет богом на земле.
Кто хотел быть океаном,
Будет каплей на стекле.

Все, что будет, будет вскоре,
И сплетется мой венок,
И опять в пустынном море
Остаешься одинок.
Забавляешься ты нами,
Неземная глубина,
Будто утлыми челнами
Пеннокудрая волна.



Под стихотворением — помета рукой Блока: «20 сентября 1912 г.». Это, по-видимому, означает, что стихотворение было записано в его присутствии, а возможно — и по его просьбе. Стихотворение подписано — «Н. Чернявский».

О дальнейшей судьбе Николая Андреевича (Колау) Чернявского, который стал видным участником послереволюционного литературного движения в Грузии, собирателем грузинского фольклора, интересно рассказано в воспоминаниях Г. В. Бебутова. Писал о нем в своих мемуарах и К. Г. Паустовский. В 1927 году в Тбилиси вышел сборник его стихов «Письма» (в обложке работы его давнего друга Кирилла Зданевича). В этот сборник была включена и «Колыбельная» — без даты, как и все остальные стихотворения в книжке.

Как же попал молодой студент к Блоку, к которому, как известно, так трудно было попасть «с улицы»? Его, как можно установить по косвенным данным, рекомендовал Блоку писатель Алексей Михайлович Ремизов, к мнению которого Блок всегда прислушивался. А к Ремизову Чернявского направил казанский профессор В. Н. Ивановский—Чернявский учился в Казанском университете и в 1915 году опубликовал свои стихи в «Сборнике студенческого литературного кружка» при Казанском университете. 30 сентября 1912 года Блок написал Ремизову о его протее: «Казанец сначала мне очень понравился, а под конец стал нравиться гораздо меньше. Правда, мне все это время скверно. Трудно судить о людях». Вероятно, при этом же свидании Блок посоветовал Чернявскому не торопиться с публикацией своих стихотворений, как он это часто советовал начинающим поэтам. В 1915 году, отвечая на предложение дать стихи в один из альманахов, Чернявский писал Ремизову: «Я, по совету Юрия Никандровича, Бальмонта и Блока и, конечно, по собственному убеждению, думаю погодить с выступлением в печати» (Юрий Никандрович — поэт Ю. Верховский, несколько лет перед первой мировой войной проживший в Тифлисе).

Насколько мне известно, Чернявский в печати со своими воспоминаниями о Блоке не выступал. Но, возможно, он рассказывал подробности своих бесед с Блоком тбилисским друзьям. Было бы интересно, если тбилисские старожилы вспомнили бы эти подробности, столь важные для понимания литературной судьбы Колау Чернявского и столь драгоценные для изучения житейского и творческого облика великого русского поэта¹.

¹ См. об этом очерк Г. В. Бебутова — «Дом под чинарами» за 1977 г.

Обретение синтеза

Во всех работах Евгения Сидорова прежде всего обращает на себя внимание ум, и притом не просто ум (ныне все умны), а ум, устроенный и организованный, как «жилище для жизни» — если вспомнить платоновское: «Ум — такое же имущество, как дом». Это ум ясный, сильный, быстро и четко находящий каждому явлению и предмету свое место, ум, которому есть на что опереться, ибо он в ладу с чувством и потому надежно застрахован от новомодной литературной болезни — витиеватого, жадного на терминологические побрякушки глубокомыслия. Отсюда и все остальные качества: отсутствие снобизма, широта интересов — Сидоров одинаково «уютно» чувствует себя и в сложной теоретической статье, и в легкой газетной рецензии, и непроходящий с годами «аппетит» как к преображенной искусством действительности, так и к чуду преображения «посредством образа».

Каюсь: открыв рецензируемый сборник, я была сначала несколько удивлена его разножанровостью: тут и высокая теория, и театр, и кинематограф, и раздел «Силуэты» (микропортреты современных поэтов) и даже, правда в приложении, — «Диалоги». Однако, прочитав его внимательно, пришла к убеждению: книга критика, его многолетний отчет перед читателем и должна быть такой — свободной и пестрой, а не прикидываться, как это обычно бывает, «солидным исследованием», не имитировать «цельность» — автор, все эти годы только тем и занимался, что писал монографию из отдельных статей по заранее намеченному плану, начисто и надолго отключившись от «мелочей» литературной жизни. от ее зигзагов и сюрпризов, как приятных, так и не очень.

Тем более, что при всей разножанровости, и в книге В. Сидорова, и в литературном «пространстве», ею обжитом и

Евгений Сидоров. «На пути к синтезу». Статьи. Портреты. Диалоги. Издательство «Современник». 1979.

Освоенном, нет ничего случайного: ни одного незначительного «населенного пункта», ни одной никуда не ведущей «тропинки»... Идешь по его «маршрутам», мысленно соотнося их с собственной «литературной картой», и не без зависти отмечаешь: та, которую «вычертил» Е. Сидоров, подробнее, внимательнее, детальнее твоей! Раньше других освободившись от расхожего критического предрассудка, от неписаного правила, гласящего: количество труда, затраченного на данного автора, должно быть строго эквивалентно величине его «лицевого счета» в «национальном банке идей», он равно внимателен ко всем без исключения героям своей книги, независимо от их литературного веса и ранга. И это не поза, а профессиональный принцип. Чтобы убедиться в этом, сравните его интервью с Евгением Евтушенко с рецензией на стихи пока еще никому не известного А. Королева или с эссе о тишайшем Алексее Фатьянове, чей истинный масштаб, как не без горечи констатирует критик, был скрыт не только от современников поэта, но и от самого Фатьянова. Все три работы написаны «в одной тональности», на одном уровне тщательности — без скидок или надбавок за заслуги... Сидоров вообще «хорошо держит дистанцию»: не самоутверждается за счет «критикуемых», но и не фамильярничают с ними, и даже в «разгневанных» своих статьях, таких, например, как реплика А. Передреву на его выпад против Б. Пастернака, остаётся в рамках корректности... И это при том, что Е. Сидоров — критик отнюдь не холодно-беспристрастный. Любая из его оценок содержит в себе некий дополнительный «момент» — им может быть и безотчетная реакция на «обаяние личности автора» или вполне подотчетное негодование, вызванное нарушением литературных приличий («О славе и тщеславии») — который вносит в его заключения оттенок личного выбора и предпочтения. Вот что он пишет в авторской вводке к главе «Силуэты»: «Эти заметки писались и печатались в разные годы... Автор объединил их вместе, руководствуясь уже одним тем соображением, что ведь было нечто, заставляющее его братья за перо после чтения именно этих поэтов. Это «нечто» иногда можно определить словом «взаимопонимание», иногда словом «любовь», но всегда останется недоговоренность, невысказанный остаток, ибо у критика, как и у читателя, в отношении к стихам и музыке немалую роль играет чувство, непереложимое на язык строгих понятий». И все-таки: как бы ни ценил Евгений Сидоров тот «невысказанный остаток», ту непереводимую на язык «строгих понятий» красоту, что живет в искусстве, он бы не был собой — сыном своего времени и поколения, если бы позволил себе хотя бы на мгновение забыть о требованиях, предъявляемых литературе «Разумом» и «Пользой»... Возьмите его статьи о современных прозаиках — В. Тендрякове и Ю. Бондареве, Ч. Айтматове и В. Распутине, В. Белове и Ан. Ананьеве. Здесь с особой контрастностью видно, с какой чуткостью откликается критик на колебания «туго натянутой струны гражданского беспокойства», с какой истинной озабоченностью, с каким хозяйским чувством ответственности говорит и думает о жизни, о ее

сложных духовных, экономических и моральных процессах, нашедших художественное, а иногда и не совсем художественное воплощение в книгах, им разбираемых!

В последнее время стало почти общепринятым, наиболее известным выступлением В. Гусева, делить действующую армию современных критиков на «социологов», открыто объявивших своим «плацдармом» «зону непосредственного контакта искусства с действительностью», и «эстетиков», отстаивающих, в противовес «дельной критике», интересы собственно искусства. Е. Сидоров не относится ни к тем, ни к другим, хотя одинаково свободно владеет как социальным, так и эстетическим анализом. Более того, судя по всему, он отнюдь не считает умение определить эстетическое достоинство вещи — лишним в наборе профессиональных навыков текущей критики. Видимо, этим объясняется и его неизменный интерес к проблемам литературного стиля (см. сборник «Время. Писатель. Стыль»). И тем не менее, Е. Сидорова определенно не устраивает ни роль «эксперта по оригинальности», ни амплуа публициста от критики. Он ищет третий путь, пытаясь объединить достоинства и преимущества обоих «методов». Иногда это ему удается, например, в статьях о Вл. Тендрякове, Е. Евтушенко, о «Гамлете» Г. Козинцева, иногда нет... Однако, когда присмотришься к этим неудачам внимательно, видишь, что причиной тому — не критик, а бедность самого материала, который не может удовлетворить в равной мере и жажду красоты, и жажду правды. Вот и приходится ограничиваться разбором чисто содержательных сторон того или иного произведения, то есть работать вполсилы, дышать одной половинкой легких... Характерный пример — статья об Ан. Ананьеве («Связь времен»). Е. Сидоров со свойственной ему доброжелательностью — и врожденной, и воспитанной, и культивируемой — не жалеет усилий, стараясь определить как можно точнее художественное своеобразие прозы Ан. Ананьева. Он и статью-то начинает с описания самого наглядного показателя стиля — фразы Ананьева — ветвистой, с усложненным периодом — иногда на целую страницу... Словом, всячески раздражает эстетические рецепторы, возбуждая художественное чувство, и они отзываются, но так вяло, так натужно, что Сидоров в конце концов устает от собственных силовых приемов и, оставив в покое высшую художественность, ограничивается под занавес уклончивыми замечаниями, типа: «Писатель... иногда склонен искусственно драматизировать, или точнее, мелодраматизировать сюжеты своих современных романов». Ни чистый «социолог», ни чистый «эстетик» очутиться в подобной ситуации просто не может. Первый потому, что по убеждению отвернулся от художественности, ему достаточно тех «слез», которые он может «пролить над вымыслом», второй, потому что никогда не возьмется писать о книге, которая не даст ему возможности, если и не «упиться гармонией», то хотя бы ощутить ее присутствие... Е. Сидорову нужны и гармония, и слезы, и притом не порознь, а вместе в слитном, нерасторжимом единстве! Не отсюда ли его тоска по синтезу — и в форме и в содержа-

16.03.53
002-111033

нии? Правда, сам автор понимает эту идею не так расширительно — как необходимость, и притом назревшую, в большем синтетическом, а не аналитическом романе, а, значит, и в синтетическом художественном сознании и мышлении. Он как будто и не замечает, в каком близком родстве, в какой причинно-следственной связи находится эта вроде бы сугубо теоретическая проблема с проблемами, вытекающими из обстоятельств сугубо практических, профессиональных, короче: с тем постоянным дискомфортом, который испытывает и сам Сидоров и вообще каждый критик, честно несущий «службу наблюдения» современных литературных явлений, то есть пытающийся говорить о литературе в целом, о литературе как едином организме и едином процессе... С тем невыносимым для профессионального достоинства разладом, который возникает в результате вынужденной необходимости постоянно жертвовать то «формой», то «содержанием», а значит то и дело менять критерии и «инструментарий» аналитический в зависимости от того, какой элемент преобладает в рецензируемом произведении — эстетический или голо-содержательный...

Не споря с Е. Сидоровым и не лишая его уверенности в том, что его сборник собирает в Книгу именно Идея, вынесенная в заглавие — НА ПУТИ К СИНТЕЗУ, — я все-таки беру на себя смелость утверждать, что работы его объединяет не единство идейной проблематики, а единство личности автора, которая, при всей организованности и конструктивности своего ума, достаточно чутка и реактивна, а значит и зависима от состояния и содержания литературной жизни. Больше того, не разделяя полностью этой генеральной Идеи в ее, так сказать, сугубо теоретическом, литературоведческом аспекте (тут я на стороне Эльчина, который, рецензируя в «Литгазете» предыдущий сборник Е. Сидорова «Время. Писатель. Стиль», совершенно справедливо отметил его чрезмерный «максимализм»), я вполне разделяю стимулирующее его беспокойство, ибо вижу в нем отражение и выражение реальных противоречий и реальных «недомоганий» нашей текущей критики.

Алла МАРЧЕНКО

КНИГА

ИЗДАНА

В МОСКВЕ

Вышла в свет книга Элгуджи Маградзе о жизненном и творческом пути выдающегося грузинского поэта, военного и государственного деятеля Григола Орбелиани.

Несомненной заслугой автора книги является в первую очередь то, что в результате привлечения обширного архивного материала и кропотливого научного анализа литературного наследия поэта воссоздан подлинный облик сложной и противоречивой натуры Григола Орбелиани.

Без преувеличения можно сказать, что Элгуджа Маградзе воскресил и реабилитировал имя одного из выдающихся грузинских поэтов XIX века.

Здесь нелишне вспомнить те споры и разногласия, которые имели место в грузинской литературной критике вокруг творчества и личности Григола Орбелиани.

Одни исследователи утверждали, что в Григоле Орбелиани уживаются две противоположные личности — поэт и военачальник. Иные вульгарные социологи, ничуть не стесняясь, называли Григола Орбелиани «озверевшим палачом». Были и такие, что приписывали поэту проповедь социального равенства, объявляли борцом против существующего социального строя и т. д.

Заслуга Элгуджи Маградзе в том, что, руководствуясь одним из ведущих принципов советского литературоведения — принципом историзма, он воссоздал подлинную картину социально-политической и общественной жизни того времени и на этом фоне показал подчас противоречивую, но цельную натуру Григола Орбелиани — поэта и гражданина.

Элгуджа Маградзе. «Григол Орбелиани», Изд-во «Советский писатель», 1980 г.

Автор историко-биографической повести критически переработал все написанное или сказанное до него о Григоле Орбелиани и совершенно справедливо выразил несогласие с тем, что высокие государственные посты, занимаемые им, и блестящая карьера полководца, якобы, умаляли его достоинства как поэта.

Есть немало примеров в истории зарубежной и русской литературы, когда писатели занимали в государстве высокие административные посты и продолжали оставаться превосходными писателями. За примерами не приходится далеко ходить. Достаточно назвать имена Гете, Державина, Карамзина...

Поэтому мы не можем не согласиться со словами автора, в которых он определяет свое отношение к предмету повествования: «Овеянный славой и величием жизненный путь Григола Орбелиани с его «ханством» и высокими титулами, генерал-адъютантством и наместничеством с течением времени будто покрылся пеплом тщеты и суеты мирской. И в этом пепле забвения мы ищем еще таящиеся искры, горящие угольки и жемчужины его творчества. Они интересуют нас, как нечто более существенное и значительное, и мы листаем страницы его жизни в основном для того, чтобы дойти до самых глубин истинной поэтической природы этого замечательного поэта Грузии девятнадцатого века». Эта благородная и нужная задача разрешена автором монографии с исключительной научной добросовестностью и знанием дела.

Несколько слов о жанровой принадлежности рецензируемого произведения. Свою книгу автор назвал «историко-биографической повестью»... Действительно, биография поэта изложена в ней на широком фоне общественной жизни того времени, однако повествование выходит за указанные рамки, так как помимо биографических сведений чисто событийного характера в повести дается подробный анализ поэтического наследия Григола Орбелиани и литературной жизни того периода.

Думается, более верным было бы причислить книгу Э. Маградзе к серии «Жизнь замечательных людей».

Говоря о жанровой сущности «Григола Орбелиани», следует учитывать два обстоятельства: личность того, кто пишет, и того, о ком пишут. В данном случае это имеет решающее, существенное значение.

Жизненный путь Григола Орбелиани был долгим, сложным, подчас противоречивым. Он находился в центре крупных исторических событий, происходивших на Кавказе. Поэтому писатель, рисуящий жизненный и творческий путь Григола Орбелиани, помимо таланта исследователя должен обладать и творческой фантазией, чтобы с ее помощью дорисовать картины общественных жизненных ситуаций, о которых нет никаких сведений в архивных материалах и письмах поэта.

Элгуджа Маградзе, обладая даром проникновения в творческую лабораторию поэта, монографически показал огром-

ную роль Григола Орбелиани в развитии грузинского стихосложения и литературного языка, с одной стороны, и с другой, с помощью художественного вымысла мастерски воссоздал жизненные ситуации того времени.

Вспомним сцены встречи Григола Орбелиани с послами Хаджи-Мурата и Шамиля; обе беседы — плод творческой фантазии автора, однако настолько они правдивы, настолько жизненны, что создается впечатление, будто автор был непосредственным их участником.

Обе сцены с исключительной точностью передают колорит времени, мудрость и образность языка горцев, подкупающую простоту и прямоту дагестанцев.

В повести наряду с анализом литературных течений, споров, исторических событий раскрываются и внутренний мир, и переживания поэта.

В книге с большим тактом и с учетом исторической перспективы говорится о значении присоединения Грузии к России.

«...с наступлением нового XIX века в судьбе страны началась новая эра, положившая конец многовековой трагедии грузинского народа. Истекающая кровью в неравной борьбе с турецко-персидскими захватчиками, обесиленная постоянными набегами лезгин, Грузия в начале столетия навеки соединила судьбу с Россией». И совершенно справедливо Э. Маградзе подчеркивает, что в результате присоединения к России «Грузия была спасена от угрозы полного физического уничтожения».

Книга Э. Маградзе имеет большую познавательную ценность. Помимо широкого исторического фона и подробных биографических сведений, в ней дается глубокий научный анализ поэтического наследия Григола Орбелиани.

В этом отношении особый интерес представляют главы — «Смирившийся заговорщик», «Поэт возвращается на родину». В них прокомментированы такие блестящие произведения, как «Заздравный тост», «К Яралу», «Иверия», «Да будут преданы позору имена...», лирические стихи, перевод думы К. Рылеева «Исповедь Наливайки» и др.

При этом примечательно то, что произведения Григола Орбелиани Э. Маградзе рассматривает в органической связи с действительностью, с теми событиями, которые вызвали в поэте те или иные чувства и мысли, отразившиеся в стихах. В результате такого подхода творчество поэта становится более понятным и осязаемым.

Анализируя думу Кондратия Рылеева «Исповедь Наливайки» в свободном переводе Григола Орбелиани, он устанавливает духовную связь поэта, с одной стороны, с декабристами, а с другой — с участниками заговора 1832 года.

Сравнив перевод с оригиналом, Э. Маградзе совершенно справедливо заключает: «Названия мест и имена героев приспособлены к грузинским условиям. Вместо Варшавы в переводе у него Мцхета, вместо «униатов, литовцев и поляков» — «кистины, персы и османы». Сам Орбелиани писал, что он изменил произведение Рылеева, приспособив его

к Грузии, «потому, что она прежде была в таком же положении, как Малороссия, когда была разорена персами и турками».

Перевод подобного стихотворения в то же время явился событием, равносильным написанию оригинального произведения на ту же тему, и этот факт имеет большое историческое значение как в деле изучения русской общественной мысли, так и тогдашних настроений поэта Григола Орбелиани.

«Исповедь Наливайки» вселяла в русский народ мятежный дух, дух восстания. «Исповедь» Григола Орбелиани — это также пламенный гимн поэта-борца свободе. В условиях царского самодержавия ни один грузинский поэт ранее Григола Орбелиани не возвысил голоса против деспотизма, и значение этого призыва никак не умаляет то обстоятельство, что «Исповедь» — перевод; напротив, поэт расширил поле воздействия этого стихотворения, распространив его на грузинский народ.

Под новым углом зрения освещена в книге острая полемика, развернувшаяся между представителями двух поколений — «отцами» и «детьми». Лагерь «отцов» возглавлял Григол Орбелиани, лагерь «сыновей» — Илья Чавчавадзе.

Автор книги не берет на себя роль судьи или обвинителя одной из сторон, он объективно показывает то огромное значение, которое сыграла эта полемика в становлении новой грузинской литературы и литературного языка.

Книга о выдающемся грузинском поэте XIX века Григоле Орбелиани написана предельно ясным, красочным языком и благодаря этому читается с большим интересом, как увлекательный роман.

Дмитрий КУМСИШВИЛИ

Собственный голос

Сергей Алиханов — уроженец Тбилиси. Многие стихотворения его книги посвящены родному городу, тбилисцам. Желтые листья на мощенных булыжником крутых улицах, «осеннейший» воздух, долгие ночные прогулки и разговоры под пронизанной светом фонарей сенью платанов, встречи, давно промелькнувшие, но влияние которых на судьбу оказалось непреходящим — придают книге ту непередаваемую атмосферу, которая так близка каждому тбилисцу и всем, кто часто бывает и подолгу живет в этом городе.

Когда читаешь книгу стихов, перед глазами проходят те или иные зарисовки, события, переживания. Но главное — должен обязательно появиться голос, интонация, некая связующая нить, дающая стихам право на существование. Призвание поэта — в конечном счете — это призывание к общению с людьми, и если со страниц книги слышится голос поэта, значит такое общение возникает.

Однако поэт не навязывает своего мироощущения, а как бы исподволь, изнутри звучание стиха входит и живет вместе с вами:

Я не любил людской обычай
Давать названья, имена
И ждать познания от различий.
Но беспредельность так страшна,
Когда не названа она.

Естественность интонации. А иной и быть не может в поэзии. Искусственность разрушила бы соразмерность, гармонию. А в соразмерности, думается, и есть поэзия. Интуиция в выборе размера, способность воплотить данное содержание в идеальную для него форму, может быть, и есть поэтический дар.

В стихотворении «Осенняя прогулка» семья выезжает за город. И в «золотистом» бездорожье осенних окрестностей

* Сергей Алиханов. «Голубиный шум». Стихи. Изд-во «Советский писатель», Москва, 1980 г.

витает неуловимая грусть не только об увядающей природе, но и о невозвратно уходящем времени:



И мы поедem покaтаться
По вечерeющим гoрам.
Так хoрoшo, бьeть мoжeт стaться,
Ужe нe будeт бoльшe нaм.

Неброские вещи, невпечатляющие события, действия, почти ничего не решающие и не изменяющие, в большинстве своем и составляют ткань действительности. Но все же трагизм ее явственно проступает сквозь спокойную, почти речевую интонацию:

В сумятицу свою вношу я ленту.
Очищу апельсин, подам пальто,
Перекручу магнитофона ленту —
Опять не то.
Мелодий нет — остались только ритмы.
Так нет судьбы, есть гости и звонки,
Шаги, движенья губ, жужжанье бритвы,
Шум улицы, пожатие руки.

И не надо «добавлять голосом», расставлять псевдопоэтические акценты — достаточно просто прочесть. А когда содержание корчится в неестественной форме, в лучшем случае до читателя доходит лишь понятийная информация, а никак не поэтическая.

Часто приходится слышать, да и читать о работе поэта. «Привычка к работе — вот главное в деле любом. Случится — и стену пробьешь закалившимся лбом. А дальше что делать? Все то же...» — пишет и Алиханов. Только неизбывная работа эта, по-видимому, заключается в аккумуляции жизненного опыта, а потом уж — поскольку это удастся — в воплощении этого опыта в слово. Труд этот — скрытый, внутренний. Так в кристалле лазера аккумулируется энергия, преобразуясь впоследствии в сильный световой импульс.

Читая лирику поэта, замечаешь, что многие стихи пронизаны иронией и самоиронией. Свойство это хотя и индивидуальное, но все же, думается, своего рода примета времени, отражение общей какой-то черты. Наверное, упрощение внешних форм общения людей друг с другом, кажущаяся легкость взаимоотношений нередко оборачиваются внутренней закрытостью, замкнутостью, закрепощенностью. Перечитывая классическую поэзию, слушая старинные романсы, поражаешься — независимо от таланта автора — открытости выражения чувств лирического героя. В наше же время лирический герой ушел в себя, закрылся, и больше всего боится — как бы о его истинных чувствах кто-нибудь не узнал. А уж если он в чем-то и признается, так обязательно прячется, чаще всего за смешок, за иронию. Не избежал этого и Алиханов в своей лирике.

Но бывает — не за что скрыться, некуда спрятаться и тогда в смехе — опять-таки в смехе! — и злость, и горечь, и боль:

УДК 82.01
303.01.01.03.03

С Анной всех я забываю
И не помню ничего.
Парня, парня одного
Анне я напоминаю.
Так она его любила,
Что и на меня хватило.

А вот в стихотворении есть и большое чувство и нет иронии. Но — не за что спрятаться, и лирический герой уходит в себя, исчезает, как бы растворяясь в воздухе:

Не говоря, признаюсь.
Не приходя, уйду.
Не встретившись, прощаюсь,
И ничего не жду...
С тобою встречу взглядом,
Ты не увидишь глаз.
С тобою буду рядом
Всегда, как и сейчас.

Стихотворение воспринимается как тихая молитва, творимая про себя. Но не приведи, чтобы той, кому оно, вроде бы, посвящено, вдруг подумалось, что это именно ей признаются... Безжалостная некоммуникабельность!

Но все ж таки двойственность отношений между людьми ранит поэта. Скрытая фальшь, которая царит в «домашнем тепле» дружеской пирушки, вдруг становится явной...

Выхожу на мороз. Белый снег закрипел под ногами.
Настоящие звезды вершат измененье времен.
Там, в домашнем тепле, я внимал ученической гамме,
Говоря, что Шопен прилежанием вновь возрожден.
И хозяин был счастлив, хозяйка умелая рада,
Я был тоже доволен, внимая фальшивой струне.
На веселой на этой пирушке суровая правда
Не нужна ни Шопену, ни тем музыкантам, ни мне.

Алиханов — поэт, как говорится, «интеллектуальный». Его стихи насыщены мыслью. Часто в строфе появляются казалось бы ускользающие от внимания подробности и детали, и привычная картина, например, спортивной тренировки — а в книге немало стихотворений о спорте — представляется с необычной точки зрения:

Где грубых защитниц тугой полукруг,
Где краткость свистков и sireны протяжность,
Полет я заметил нервических рук,
И томность финтов, и движений вальжность.
Чураясь полошущих сетки голов,
Вне связей командных, вне злости и спайки,

Была она словно погибших балов
Беспомощный призрак в расписанной майке.
Затянутая вентилятором в цех,
Так мечется бабочка между станками
И, не замечая смертельных помех,
Летает, и бьется, и машет крылами...



С недавних пор стало чуть ли не традиционным разделение поэтов на «молодых» и «немолодых». А определение «молодой поэт» приобрело какой-то снисходительный оттенок и применяется к людям, которым, мягко говоря, «за тридцать». Незачем приводить примеры из отечественной словесности, чтобы убедиться в том, что скидки на молодость в литературе, а тем более в поэзии никогда не делались. Да и сейчас это определение связано не столько с возрастом, сколько с искусственным администрированием в области, чуждой любых схем. Поэтому недостатки книги не будем относить за счет «молодости» автора. В аннотации сказано, что «стихи, вошедшие в книгу, написаны как бы на полях собственной биографии». Но похоже, что примечания на полях важнее самой биографии. Однако готового рецепта создания собственной судьбы нет, да и быть не может. А без судьбы и совершенствование мастерства, и расширение творческой темы, и все, что можно пожелать поэту в дальнейшем, может оказаться бесплодным.

Книга «Голубиный шум», как говорят, получилась. В ней есть и свободное дыхание, и тишина, и свое поэтическое виденье, и звучащие, несущие мысль паузы. И хочется предречь поэту восхождение на свою, собственную высоту — пусть медленное и трудное, но неуклонное.

Виктор ГОФМАН

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ

«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КАБАЧОК»

Литературно-художественная жизнь Тбилиси 1917—1919 годов была бурной и насыщенной. Создавались и быстро распадались различные литературные группировки и объединения, появлялись и исчезали новые газеты и журналы. Проводились многочисленные доклады, диспуты, вечера поэзии и музыки. Многие русские писатели и поэты побывали в эти годы в Тбилиси. В 1917 году сюда приезжали К. Бальмонт, сделавший доклад о Шота Руставели и прочитавший свой перевод «Витязя в барсовой шкуре», М. Шагинян, Е. Чириков, И. Северянин, В. Каменский и другие. Некоторые русские писатели оставались в Тбилиси надолго, сотрудничали в местной прессе, вели большую культуртрегерскую работу. Так, сразу включился в литературную жизнь города поэт С. Городецкий, приехавший в Тбилиси в 1916 году как корреспондент газеты «Русское слово» и сотрудник «Союза городов». С. Городецкий стал вести литературный отдел газеты «Кавказское слово», печататься во всех газетах и журналах. Он выпустил журнал «Свободная песня» (1917, № 1), посвященный творчеству солдатских поэтов, в котором напечатал стихи талантливого самородка Ивана Федорычева, и «Райский орленок» (1919, № 1) — орган детского творчества. В 1918 году С. Городецкий стал редактором журнала литературы и искусства «Ars» (1918 № 1—2, 1919, № 1), издаваемого А. Антоновской. Несмотря на несколько эстетский характер издания, журнал сыграл большую положительную роль, знакомя русских читателей с переводами стихов грузинских поэтов прошлых лет (Н. Бараташвили) и с образцами новейшей грузинской поэзии (переводы стихов В. Гаприндашвили, П. Яшвили, Т. Табидзе). При журнале «Ars» был открыт «Артистериум», на секциях которого читались лекции и устраивались художественные выставки, и «Цех поэтов» под председательством С. Городецкого, участники которого выпустили в 1919 году альманах «Ак-мэ».)

Одним из наиболее интересных поэтических вечеров, организованных редакцией журнала «Ars», был вечер грузинских поэтов, состоявшийся 6 июня 1918 года. На этом вечере поэты П. Яшвили, Т. Табидзе, А. Арсенишвили и другие читали доклады о группе «Голубые Роги» и свои произведения по-грузински и в русских переводах.

Значительное место в литературной жизни Тбилиси занимали выступления футуристов. Приехавший из России «отец московского футуризма» А. Крученых совместно с И. Зданевичем, Чернявским и армянским футуристом Кара-Дарвишем образовали «Синдикат футуристов», выступления которого привлекали большое количество публики и вызывали бурные прения.

Больше всего споров вызывал «заумный язык», изобретенный А. Крученых и горячо пропагандировавшийся И. Зданевичем, который писал: «Футуризм-заумный ставит задачей воплощение в слове таких сторон переживаний, которые не могли быть никак воплощены нашими предшественниками, пока поэзия имела дело со словом, привязанным к смыслу».

В обсуждениях докладов и стихов футуристов часто принимали участие грузинские поэты из группы «Голубые Роги», подвергавшие сомнению правомерность и общезначимость заумного языка, дающего право на слишком субъективное толкование мыслей автора. Отношение С. Городецкого к футуризму было в ту пору доброжелательно-покровительственным. В статье, опубликованной в «Кавказском слове» (№ 122 от 4 июня 1917 г.), он в целом положительно отзывался о книге А. Крученых «Учитесь художники» и приветствует футуризм. В рецензии на вечер футуристов в той же газете (№ 263 от 24 ноября 1917 г.) он ругает доклад петроградского поэта Ю. Дегена «Что такое русский футуризм» за поверхностность, а поэму И. Зданевича «Янко Круль Албанский» считает забавной. В то же время он был против включения его фамилии в афишу о выступлении «Синдиката футуристов» в ресторане «Имеди», протестуя против самой идеи выступления «перед жующей публикой», что не помешало ему, впрочем, устроить несколько позднее выступление своего «Цеха» в литературно-артистическом кабаре «Ладья аргонавтов».

10 ноября 1917 года в газете «Кавказское слово» было помещено объявление о том, что в воскресенье 12 ноября в доме № 12 по Головинскому проспекту состоится открытие Студии Поэтов, основанной Юрием Дегеном и Сандро Корона. Это было первое печатное упоминание о «Фантастическом кабачке» — литературном подвале, открытие которого, как писал тремя годами позднее владикавказский журнал «Творчество», «было самым крупным явлением в истории тифлисской литературной жизни». «Фантастический кабачок» был создан в традиции петербургских литературно-артистических подвалов «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». Все помещение во дворе дома по Головинскому проспекту № 12 состояло из одной пестро расписанной комнаты, которая едва вмещала 40 человек и ежедневно привлекала «довольно интимную компанию артистов всех видов искусства». В расписывании «Фантастического кабачка» принимали участие художники Ладо Гуднашвили (левая стена, потолок и верхняя половина лицевой стены), журналист А. С. Петраковский (правая стена и потолок), карикатурист Сэр Гей (псевдоним художника и журналиста С. Скрипицына, редактора сатирического журнала «Игла») (левая стена прихожей), скульптор Я. Николадзе (рисунок слева на своде расписал красками Ладо Гуднашвили), поэт Илья Зданевич (роспись правой половины свода), поэт Юрий Деген (ниша в лицевой стене напротив

входа, маленькая ниша в левой стене), а также польский художник Зига Валишевский¹.

Первоначально ведущую роль в «Фантастическом кабачке» играли футуристы. В феврале 1918 года они открыли ивектлечкай «футуристического университета» — «Футурвсеучбица». Главными лекторами были И. Зданевич и А. Крученых. Тематика лекций была разнообразной. Так, например, И. Зданевич читал «Об итальянском футуризме», «О театре в тупике», Крученых — «Слово как таковое», «Апокалипсис и речетворцы», «О безумии в искусстве», «История русского футуризма» и др.

После лекций разгорались «страстные прения», неизменными участниками которых были д-р Харазов, А. Селиханович, Т. Табидзе, П. Яшвили, Ю. Деген, Н. Чернявский и многие другие². Летом 1918 года в «Цехе поэтов» С. Городецкого произошел раскол, в результате которого из «Цеха» вышел ряд молодых поэтов. Эта группа во главе с Ю. Дегеном образовала художественное общество «Кольчуга» и при нем новый «Цех поэтов», который стал собираться по средам в помещении «Фантастического кабачка», куда вошел ряд лиц и не бывавших на заседаниях у Городецкого, как, например, Татьяна Вечорка и Борис Корнеев. «В новом цехе открылась полная свобода всяким поэтическим исканиям и потому дружные заседания его... проходили оживленно, разнообразно и интересно!»³. Этим заседаниям посвятил шутивную поэму один из членов нового цеха поэт А. Порошин. Начиналась она так:

Среда, среда! Девятый час...
Горит фонарик разноцветный.
Спешу на огонек приветный,
Пока огарок не погас.
Тифлис! Твои поэты в сборе
И Кабачок шумит, как море.

Смелей перешагни порог
Приюта ветреного слова.
Сегодня мы собрались снова
Забывать часы пустых тревог.
На незатейливом диване
Замри в мечтательной нирване...

Помимо чтения своих стихов члены общества «Кольчуга» Ю. Деген и Б. Корнеев устроили вечер стихов Вл. Маяковского.

В помещении «Фантастического кабачка» ряд докладов по археологии прочел археолог Д. П. Гордеев, доклад «Теория Фрейда и заумная поэзия» прочел профессор математики доктор Г. А. Харазов. Немного позже там была открыта также «Студия художественной прозы».

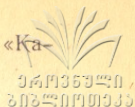
Частыми посетителями «Кабачка» были грузинские поэты. Они выступали с докладами, участвовали в прениях. Паоло Яшвили и В. Гаприндашвили доверяли «Фантастическому кабачку»

¹ Журнал «Феникс», 1919, № 1.

² А. Крученых. «Фантастический кабачок».

³ Там же.

свои тайные стихи. В поэме Н. Н. Васильевой, посвященной «Кабачку», так описывается появление грузинских поэтов:



**Когда ж кончались цеха сроки,
В наш Фантастичный Кабачок
Являлись «Голубые Роги»,
Толпились шумно на пороге,
Бросая символов намеки.**

**Блестяще красочный Паоло
Пел про лягушку и абсент,
Табидзе, взор склонивши долу,
Отставивал французоз школу,
Пленительный явив акцент.**

Члены общества «Кольчуга» издавали два литературно-художественных журнала: «Феникс» под редакцией Ю. Дегена и «Куранты» под редакцией Б. Корнеева. Эти журналы, изданные на высоком полиграфическом уровне, печатали стихи, рассказы и статьи писателей различных направлений, рецензии на новые книги, хронику грузинской литературной жизни. Большое место уделялось пропаганде грузинской культуры.

Так, 2-й номер журнала «Феникс» за 1918 год был посвящен творчеству художника Ладо Гудиашвили, во 2-м номере журнала «Куранты» (январь 1919 г.) была напечатана статья Т. Табидзе «Голубые Роги», сопровождавшаяся набросками портретов Тициана Табидзе и Валериана Гаприндашвили, выполненными Паоло Яшвили. При журналах были издательства, выпускавшие маленькие книжечки стихов молодых поэтов. Футуристы Зданевич, Крученых и Терентьев, составившие группу «41°» по параллели, на которой лежит Тбилиси, опубликовали ряд сборников своих докладов и стихов, прочитанных в «Кабачке». Выпустили они и свою газету «41°».

Наиболее интересным изданием «Фантастического кабачка», давно ставшим библиографической редкостью, стал сборник, посвященный С. Г. Мельниковой, артистке театра миниатюр, часто выступавшей в «Кабачке» с чтением стихов. Вскоре после выхода сборника С. Рафалович в статье «Музы и муза» (газета «Искусство», 1919, № 2, с. 1—2) писал: «Поэт Илья Зданевич, самый убежденный и последовательный из футуристов, приемом истинно футуристическим ославил свою музу, которой мы обязаны не только разными его поэтическими произведениями, но и прекрасной книгой, в которой много произведений, принадлежащих не его перу. Этот сборник, составленный по инициативе Ильи Зданевича, включил произведения почти всех завсегдатаев «подвала». В нем приняли участие и грузинские поэты Т. Табидзе, П. Яшвили и другие, стихотворения которых напечатаны по-грузински. По-армянски было напечатано стихотворение армянского футуриста Кара-Дарвиша. Отпечатанный на великолепной бумаге разнообразнейшими шрифтами с очень высоким качеством репродукций, сборник представлял собой образец искусства полиграфии. В него вошли стихи Н. Васильевой, Т. Вечорки, В. Катаняна, А. Крученых, С. Корона, Г. Шайкевича, Н. Чернявского, драма И. Зданевича «Осел напрокат», статья Д. П.

Гордеева, рисунки К. Зданевича, Ладо Гудиашвили, Баждбек-Меликова, И. Терентьева и других. Выходу сборника был посвящен торжественный вечер в кафе «Интернационал», на котором С. Мельникова подписывала экземпляры сборника». Газета «Искусство» (№ 2) в своей шуточной хронике писала по этому поводу: «Осадное положение. Ввиду наступившего успокоения осадное положение, предполагавшееся к объявлению в кафе «Интернационал», в связи с событиями 6 октября осуществлено не будет». Кроме сборника «С. Г. Мельниковой», членами «Кабачка» подготавливались альманахи «Фантастический кабачок», который был напечатан в типографии, но не был выкуплен из-за отсутствия денег у авторов. Сохранилось лишь несколько экземпляров корректурных листов этого издания. Творческое содружество поэтов различных направлений не могло не оказать влияния на их стихи. Так, в поэзии Юрия Дегена, Б. Корнеева и Н. Семейко, находившихся под сильным влиянием М. Кузмина, становятся заметны футуристические элементы. Тяготее к футуризму и Т. Вечорка в стихах, помещенных в сборнике «С. Г. Мельниковой» и вошедших позднее в книгу «Соблази афиш», столь отличных от ранних сборников «Магнолии» и «Беспомощная нежность». В то же время «футурист-грандиозарь» А. Крученых в стихах, напечатанных в том же сборнике, отходит в основном от заумного языка, уступая его И. Зданевичу. По словам А. Крученых, «группа лучших грузинских поэтов «Голубые Роги» испытала на себе неотразимое влияние работы «Фантастического кабачка», о чем и заявила публично устами Тициана Табидзе». О тяготении «Голубых Рогов» к футуризму Т. Табидзе пишет и в статье «Голубые Роги» («Куранты», № 2). 25 ноября 1918 года была отпразднована годовщина «Фантастического кабачка», на которой присутствовали члены художественного общества «Кольчуга», грузинские поэты, а также многие художники. «Кабачок» просуществовал до середины 1919 года, когда многие русские писатели уехали из Тбилиси.

Деятельность «Фантастического кабачка» — интересная страница из истории литературной жизни Тбилиси, сейчас, к сожалению, почти забытая. Хочется пожелать, чтобы были восстановлены росписи, покрывавшие стены «Кабачка», и был проведен вечер его памяти по типу вечеров памяти «Бродячей собаки», состоявшихся недавно в Ленинграде при музее истории города и театральном музее.



Натия АМИРЭДЖИБИ

«ПАСТОРАЛЬ» ОТАРА ИОСЕЛИАНИ

В последнее время в нашем киноискусстве весьма актуальна тенденция создания фильмов в основном с цельным, положительным героем. На экране демонстрируются высокие человеческие качества: рыцарство, благородство, возвышенная любовь, самоотверженный труд во имя лучшего будущего и др. Так, герои фильма Р. Габриадзе и Э. Шенгелая «Чудаки» — люди с чистыми, благородными мечтами. Лука из фильма С. Жгенти и Р. Чхеидзе — бескорыстен в стремлении принести пользу своему народу. Положительная тенденция этих фильмов направлена против филистерского мировоззрения, обывательской и мещанской ограниченности, хотя на экране мы не видим отрицательных героев, явно нарушающих этические нормы поведения. Творчески осмысленная модель положительного героя — лучший пример для зрителя, и мы понимаем, что авторы этих фильмов, утверждая положительное, разоблачают в то же время отрицательные явления.

Однако и в обществе, на первый взгляд сугубо благополучном, нередко можно встретить людей, а порой и целые группы людей, которые, казалось бы, не представляют опасности, но если не разоблачить их вовремя, они могут превратиться в разрушительную силу, пагубно влияющую на окружающих. Обличительный пафос фильмов оказывает на зрителя то же глубоко эмоциональное воздействие, что и фильмы с положительным героем.

В обоих случаях у авторов кинопроизведений одна цель — отображать современность с позиции гражданственности и благородного служения народу.

Смотря фильмы, отображающие позитивные явления действительности, мы, зрители, нередко склонны отождествлять наши поступки и действия с поступками положительного героя, вернее, мы хотим походить на него, наслаждаться созерцанием собственного приукрашенного портрета. Потому-то и неудивительна благосклонность зрителя к художественным произведениям с положительным героем, чего не скажешь о кинопроизведении, отображающем негативные явления нашей жизни. Мы не хотим находить те или иные отрицательные качества у себя или же у своих знакомых, не хотим заниматься самоанализом, и потому обличительные фильмы нередко раздражают нас. В этом своеобразная «проигрышная» сторона таких фильмов.

Фильмы Отара Иоселиани относятся именно к таким «невыйгрышным» кинопроизведениям.

Фильм «Пастораль», на взгляд некоторых, может проиграть и потому, что в нем нет сложной сюжетной канвы, держащей зрителя в постоянном ожидании кульминации фильма.

Действительно, в фильме нет острых драматических коллизий, но после сеанса зрителя все-таки охватывает печаль, которая долго его не покидает.

В «Пасторали» рассказ идет о, казалось бы, каждодневном, обычном быте одной семьи, быте утилитарном и потребительском, в котором режиссер разглядел филистерскую ограниченность.

Есть фильмы, в которых отчетливо намечен путь преодоления мещанства, но возможно и такое художественное решение фильма, когда окончательная схватка с пережитками прошлого остается за кадром, но зритель уверен, что она неминуема.

Если в фильме Отара Иоселиани «Листопад» герои нарушают государственные законы, воруют, разбазаривают общественное добро, создают фальсифицированную продукцию, то в «Пасторали» отображена иная жизнь — с первого взгляда человек, казалось бы, вовсе не нарушает законов и в то же время в рамках законности утверждает выгодные для себя потребительские взаимоотношения с людьми.

У семьи, о которой идет речь в «Пасторали», добротный двухэтажный дом, и все-таки все свои силы и время здесь тратят на постройку другого помещения, из-за чего даже ссорятся с соседом. Все помыслы их направлены на то, чтобы налаживать с людьми выгодные для себя взаимоотношения, поскольку неуклонно стремящиеся к богатству новые буржуа потребительски смотрят на взаимоотношения людей.

Герои «Пасторали» имеют полное право не быть гостеприимными, но если они используют гостеприимство с утилитарной и потребительской целью, это уже свидетельствует об их обывательской натуре. Они имеют право использовать дары природы, как возможность поднять свое материальное благополучие, но если за мелкими заботами они перестают вообще замечать красоту природы, если они начисто лишены чувства радости, получаемой от этой красоты, то это уже граничит с филистерством.

Одна из особенностей «Пасторали» заключается и в том, что фильм этот разрушает схематическое представление о буржуазных тенденциях в жизни людей, ибо тенденции эти проявляются в основном в рамках законности. И хотя в фильме встречаются порой эпизоды, повествующие о нарушении героями законности, но не они создают «погоду» фильма. Ведущая линия в нем — неторопливый рассказ о тихой, выгодной, потребительской возне, интонация сытости от всего — и еды и предметов быта.

Перед нами — жизнь крестьянской семьи, члены которой завтракают, работают, приобретают продукты питания, обедают, спят, просыпаются, снова завтракают, идут на работу, загружают свой двор сеном, скошенным на колхозном поле, стро-

ительными блоками, двадцатью пачками стирального порошка, выброшенной кем-то лимонадной бутылкой, потом снова обедают, засыпают, просыпаются — и в таком однообразии проходят все их дни.

Дом крестьянина выглядит довольно зажиточным, во всяком случае быт их не говорит о том, что они трудятся ради хлеба насущного. Дом — полная чаша, и несмотря на это, зрителем все-таки овладевает ощущение пустоты — духовной пустоты героев.

Люди эти проходят перед нами в ритме скучного, неэмоционального марша. Зять, приехавший из города, деловито обнимает своих, даже интересуется, как они живут, не дожидаясь ответа, так же деловито направляется к реке глушить динамитом форель (разве есть у него время сидеть на берегу с удочкой!), он поспешно бросает в корзины оглушенную рыбу, возвращаясь домой, по-деловому руководит трапезой, на которую приглашены подобные ему деловые люди, после кутежа его машину в поспешном ритме загружают полными снадью тяжелыми корзинами, вероятно, предназначенными для деловых людей рангом повыше.

Охваченные жаждой наживы и благоустройства собственного быта, они не помнят о других людях, об общественных делах, замыкаются в рамках личных интересов.


Мы не видим в их глазах сочувствия, сопереживания, сопричастности судьбе другого человека, героям «Пасторали» чужды такие человеческие страсти, как безудержная радость, печаль. Они сокрушаются лишь тогда, когда на их пути к богатству встречаются преграды.

Охваченные жаждой материального благополучия, они даже теряют присущую крестьянину колоритность, дети природы, в мышинной своей возне они не замечают ее волшебной красоты.

После работы глава семьи вместо того, чтобы отдохнуть в неторопливой беседе с другом, спешит скосить сено на колхозном поле.

«Покуривает он трубку и все смотрит и смотрит на волны. О чем он думает в эту минуту, кто знает, но одно ясно, ему приятно», — читаем мы о крестьянине-мечтателе в рассказе Важа Пшавела «Осужденная трубка». Для него созерцание волн — это уход от каждодневных забот, в его душе есть место упоению красотой природы. От союза с природой герой рассказа Важа Пшавела получает не только материальную выгоду, он находится в бескорыстной духовной гармонии с ней. Подобный поэтический колорит, присущий крестьянину, утерян героями «Пасторали», которые ничего не видят за пределами личной выгоды, варятся в собственном соку, задыхаются без воздуха. Обо всем этом в фильме повествуется не прямолинейно и схематично, но под тонким, рассеянным покровом традиционных человеческих взаимоотношений. С экрана то и дело слышатся короткие приветствия, вопросы, ответы, даже слова, выражающие заботу о госте, но все это вяло, «бессильно», по инерции, бездушно.

Чувствуется, что деревня теряет характерные черты, в нее смело врываются элементы городского быта, ощущается



ритм городской жизни: шум радио, гул самолета, звуки механизированного транспорта, в буфете идет пир на городской ^{клад} усадьбе. Цивилизованный и механизированный ландшафт ^{похож} на городской, да и деловая возня сельчан похожа на возню горожан. Постепенно стирается грань между селом и городом, что, вероятно, естественный и оправданный процесс, только будет жаль, если это сближение будет происходить за счет полной утери элементов села, будет носить характер односторонней урбанизации. Не говоря уже о большем, исчезнет и погибнет природа. Быть может, необходимо, чтоб все стали городскими и не осталось крестьян? Но ведь тем самым человечество станет однообразным, выродится. Фильм «Пастораль» как раз и указывает на эту сложную и актуальную проблему современности.

В деревню приезжают музыканты для того, чтоб на лоне природы, на чистом воздухе подготовить концертную программу, поселяются в уже описанном нами доме, с хозяевами которого у них завязываются сложные деловые отношения.

С первого взгляда, эти молодые люди — носители положительных тенденций, но если мы заглянем поглубже в их жизнь, увидим совершенно иную картину.

Даже на лоне природы они созерцают окрестность с холодным равнодушием, красота природы не затрагивает их души. И в их взаимоотношениях не ощущается ни особенной любви, ни особенной ненависти. Музыканты проявляют внимание к детям хозяев дома, но опять-таки инертно, словно бы в силу привычки и необходимости. Зритель чувствует, что близость эта — внешняя и продлится лишь до тех пор, пока они нахоятся в деревне.

Музыканты записывают народные песни, слушают новые и старые мегрельские песни, но опять не проявляя при этом никаких эмоций — ни положительных, ни отрицательных, им чужды удивление и восторг. И живут они так, словно заучено, как урок повторяют уже прожитую однажды жизнь, ничему не удивляясь и ничем не огорчаясь.

Исполняя музыкальное произведение, они строго соблюдают отведенное для занятий время. Им вполне достаточно этих двух часов, более находиться в мире музыки они и не хотят, не испытывают в этом потребности. Большой усидчивостью отличается виолончелистка, она, чтобы развить музыкальную технику, часами играет арпеджио. Но и в прилежной виолончелистке не чувствуем мы творческой увлеченности, самоотверженности, присущих истинным музыкантам. Музыка для них скорее сухое, рациональное, повседневное дело, нежели творчество. «Музыка... самое отдаленное от действительности и в то же время самое страстное искусство», — говорил Томас Манн. Музыкантам «Пасторали» не хватает как раз этого волнения страстей. И конечно же, таким людям не под силу изменить жизнь села, приобщить крестьян к великому таинству музыки. Они еще сами не испытали силы и власти музыки, не пережили ее и потому бессильны причастить к ней других.

35320
ЛР1033

Чем вызваны их индифферентность, опустошенность, инертность? Отар Иоселиани ограничивается лишь информацией по этому вопросу, в силу чего образы музыкантов выглядят бледнее, нежели образы крестьян. Рисуя семью крестьянина, режиссер обращается к самым различным ее пластам. Конечно же, общий дух, царивший в семье, — мещанство, страшное и губительное в своей сути. Но в семье этой живет дед-па-стух, страстный любитель книги, есть маленькие дети, непосредственные и прекрасные в своей непосредственности дети, и старшая их сестра Эдуки, олицетворение духовной тонкости и чуткости. Эдуки, несомненно, позитивный идеал, все симпатии авторов фильма на ее стороне. По своему психологическому и эмоциональному складу она отличается от старших представительниц своей семьи, это тонкая, чувствительная натура, ее влечет к музыкантам, она незаметно для других опекает их, бережет их покой. Спокойная и уравновешенная по природе, она больше слушает и приглядывается, нежели говорит. Но от окружающих ее инертных людей она не получает ни интеллектуального, ни эмоционального ответа. На прощание, стоя на пригорке, Эдуки машет рукой уезжающим в город музыкантам и снова на лице ее мы читаем характерное для нее выражение — вопрос и удивление. Эдуки возвращается домой, заходит в комнаты, которые занимали музыканты, напрасно ищет там что-то. В этом эпизоде еще раз проявляется мастерство Отара Иоселиани в использовании художественной детали. По комнате разбросаны бумаги, два-три листочка с зарисовками и пластинка, проиграв которую, Эдуки, вероятно, должна вновь ощутить близость музыкантов. Но неэмоциональная музыка еще более подчеркивает бесцветность музыкантов, банальный марш чужд духовному складу Эдуки, и она его больше не слушает. Опять-таки девочка остается одна — и без ответа, — в чуждом ей окружении, где ее ожидает опасность вырождения. Эдуки и в ее лице человеческого началу в этой деревне необходима помощь. И под конец фильма из глубины вечернего села доносится мычание коровы, такое тревожное, словно кто-то просит о помощи.

Творческая «палитра» Отара Иоселиани, детали, использованные им в создании художественного образа, самая, казалось бы, незначительная бытовая деталь обобщает жизненные явления, позволяет заглянуть в глубь самых скрытых жизненных пластов.

С помощью кинематографических деталей режиссер создает своеобразные художественные образы героев. Обыгрывая в экспозиции фильма лимонадную бутылку, он подчеркивает характерные особенности трех людей. Выйдя из автобуса, Маринэ небрежно швыряет бутылку на землю, прирученная с детства к порядку виолончелистка Лия аккуратно ставит ее под изгородь, а хозяйин дома, даже сгибаясь под тяжестью стога сена, берет эту бутылку и приносит ее домой. Так одна эта деталь позволила режиссеру нарисовать три черты характера: небрежность, аккуратность и жадность.

Зритель, несомненно, запомнит и такую деталь: отец Эдуки мотыгой отводит к себе в огород воду из соседнего ого-



рода. В свою очередь, сосед делает то же самое. В дальнейшем обыгрывание в процессе фильма этой детали, этот пластический штрих позволяет говорить о творческой осмысленности идейной концепции произведения.

Интересную смысловую нагрузку несет и такая деталь, как полная яблок корзина, которую Эдуки приносит музыкантам. Дар, принесенный от всей души девочкой, попадая в город, переключивается в семью нужного человека.

Для кинотворчества Отара Иоселиани характерна документальная стилистика. Информация, осуществленная методом фактического отбора жизненных ситуаций, как и художественная функция детали, обобщает явления и художественные образы. Для более выпуклого изображения сельского быта режиссер воспользовался в основном типажом, хотя в фильме принимают участие и актеры. Заслуга режиссера и в том, что он стирает грань в манере исполнения актера и типажа. К примеру, актриса Л. Тохадзе (мать Эдуки — Тамара) ничем не выделяется, вернее, не отличается от типажа, подобранного для других членов семьи. Задачу, возложенную на них режиссером, все они выполняют на высоком профессиональном уровне. Особенно хочется отметить образы Эдуки (школьница Ч. Иоселиани) и зятя (кинорежиссер Р. Чархалишвили).

Как известно, первоначально в литературном сценарии Р. Инанишвили, О. Мехришвили и О. Иоселиани рассказывалось об одной из деревень Кахети, но из-за ранней зимы киноэкспедиция направилась к теплему западу. Однако художественно-идейная сторона кинопроизведения в основном не изменилась. Стремление режиссера к документализму выразилось в точном указании географического месторасположения, в фильме снята одна из деревень Мегрелии, где некоторые герои произведения говорят на мегрельском диалекте. Этот художественно-документальный прием придал особый колорит и музыкальной стороне фильма, которая четко выражает драматургическую канву фильма и помогает режиссеру в создании образов действующих лиц. Музыка в качестве фона Отар Иоселиани почти не использует, что в какой-то мере тоже следует приписать документализму почерка режиссера. В «Пасторали» музыка доносится лишь из репродуктора и слышится во время репетиции оркестра. Музыканты исполняют произведение, похожее и в то же время не похожее на произведение Брамса или Гайдна. Музыка эта (композитор Т. Бакурадзе) выражает характер музыкантов и их странного состава квартета — две скрипки, виолончель и ксилофон — образ традиционно не существующего ансамбля.

Темпоритмический строй игры актеров, монтажа сцен, шумов, музыки и других художественных компонентов разрешен в тональности той инерции и скуки, в которой пребывают герои фильма.

Фильм «Пастораль» — пламенный призыв уберечься от подобной жизни, не дать заглухнуть в душе тем чувствам и страстям, которые делают каждого из нас Человеком.

ИОСИФ НОНЕШВИЛИ



Иосиф Нонешвили и как человек, и как поэт радовал всех своей личностью, своей прекрасной поэзией, даже тех, кого не особенно чаруют упоительные созвучья стихов, людей угрюмых, утративших надежды юных лет, ушедших всецело в себя, людей, обремененных заботами, обманутых неласковой судьбой...

Его очень любили. Да, это так, но ведь это столь трудно достигается в жизни человека, особенно поэта, к которому так строг и требователен родной народ!

Воистину легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем поэту снискать истинную народную любовь, то есть самое ценное и возвышенное, что доступно человеку в этом мире.

Неожиданной и безвременной была его кончина. Нам, его современникам, его друзьям и товарищам по перу, трудно и, пожалуй, бестактно оценивать его как творческую личность — слишком уж он близок к нам,



чтоб видеть его во весь рост! Мне особенно трудно написать о нем — ведь я так ясно помню его первые, довольно робкие и осторожные шаги на поэтической арене. Это было так недавно! Как трудно и тяжело мне думать, что его уже нет, нет его жизнерадостного смеха, грустной улыбки, мягкого взгляда...

И все-таки я должен сказать несколько слов. Древние римляне говорили, что ораторами становятся, но поэтами рождаются, а потом эта поговорка была уточнена — чтобы быть хорошим поэтом, прежде всего, необходимо быть прекрасным человеком.

Не будем спорить с древними римлянами (это дело мудрых профессоров — докторов по части филологии). Может быть, и здесь (как и во всем) бывают исключения, но, по-моему, весьма и весьма редко! Во всяком случае, И. Нонешвили полностью оправдывал эти слова, и мне с горечью и болью приходится думать, что моя родина понесла бесспорно тяжелую утрату, лишившись в лице его одновременно и прекрасного человека, и прекрасного поэта!

Идя по проспекту Руставели, который с обеих сторон был заполнен молчаливо шагающими за гробом людьми, вернее, морем людей, я вдруг ясно вспомнил похороны Льва Толстого в Ясной Поляне. Кругом бесчисленное множество людей. Выносят гроб с телом «великого писателя земли Русской». Здесь вся передовая русская интеллигенция, весь цвет литературы и профессуры, студенчества, а кругом — гробовое молчание. Гроб медленно опускают в могилу, и слышен лишь глухой стук комьев земли, падающих на гроб. Ни одного звука, нарушающего тишину, будто сама природа затаилась, не дышит... Даже подумать было страшно, что кто-нибудь дерзнет выступить и словом осквернить это молчание, таящее в себе великую скорбь всего русского народа!

Да, истинное горе молчаливо и безгласно!

Поэта Нонешвили нет с нами, но поэзия его жива и ждет суда будущего. Какой приговор оно вынесет ему? Как трудно предвидеть это!

Колау НАДИРАДЗЕ



ПРАЗДНИК НА ГРУЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

ТОРЖЕСТВЕННО отметил грузинский народ 275-летие со дня рождения великого поэта и гуманиста Давида Гурамишвили.

Юбилейный вечер, посвященный этой знаменательной дате, состоялся в Тбилиском академическом театре оперы и балета имени З. Палиашвили.

Вечер вступительным словом открыл заместитель Председателя Совета Министров Грузинской ССР, председатель юбилейной комиссии О. Черкезия, который, в частности, сказал: «Крылатые слова Давида Гурамишвили о дружбе, о человеке, его высоком назначении, пророчески сказанные два века назад, никогда не звучали так убедительно, как в наши дни, когда грузинский народ, руководимый Коммунистической партией, поднялся на небывалые высоты экономического, культурного и духовного развития... Трудно переоценить его заслуги перед родной литературой, перед народом. Подлинный новатор и блестящий **версификатор**, он обогатил грузинский стих особым ритмическим звучанием, новыми **темами** и образами, расширил идейно-тематические рамки грузинской поэзии. Высокая жизненная правда была

возведена Гурамишвили в эстетический принцип, которому он следовал неуклонно, со всем пылом поэтической души, проповедуя его в поэзии.

Творчество Давида Гурамишвили глубоко интернационально. Поэт трогательно воспел дружбу и братство между народами».

Был оглашен текст приветственной телеграммы члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК КП Украины В. Щербинского.

Слово о Давиде Гурамишвили произнес профессор С. Цаишвили.

О непреходящем значении творчества поэта, о глубокой признательности потомков, любви к поэту и мыслителю говорили на вечере председатель правления Союза писателей Грузии Г. Абашидзе, поэт Е. Евтушенко, академик Академии наук Грузии А. Барамидзе, заместитель Председателя Совета Министров Армянской ССР Р. Светлова, народный поэт Кабардино-Балкарии К. Кулиев, украинский поэт В. Коротич и др.

На вечере также выступил первый секретарь правления Союза писателей Украины П. Загребельный, который от имени народа Украины поздравил народ Грузии с большим праздником.

Юбилейный вечер в Тбилиси вылился в яркий праздник бес-
смертия великого поэта.

В праздничном концерте при-
няли участие мастера искусств
Грузии и Украины.

На вечере присутствовали
товарищи Э. Шеварднадзе, П.
Гиладшвили, Г. Енукидзе, Т.
Ментешашвили, Д. Патиашви-
ли, С. Хабеишвили, О. Черке-
зия, Ж. Шартава, замести-
тель Председателя Совета
Министров Армянской ССР Р.
Светлова, заместитель мини-
стра культуры СССР В. Ку-
харский.

РАДУШНО встретили тру-
дящиеся Каспского района
Грузии дорогих гостей — уча-
стников юбилейных торжеств,
посвященных 275-летию со дня
рождения Давида Гурамишви-
ли.

В окрестностях села Ламис-
кана гостей встретил первый
секретарь Каспского райкома
партии В. Квалишвили.

Взволнованным объяснени-
ем в любви к Давиду Гурами-
швили, братскому украинско-
му народу, приютившему его,
к Грузии, ставшей второй роди-
ной для Леси Украинки, про-
звучали выступления поэта-
академика Ираклия Абашидзе
и лауреата премии имени
Тараса Шевченко Виталия Ко-
ротича. -

Перед собравшимися вы-
ступили поэты Дж. Чаркваи-
ни, М. Максимов, Н. Гасан-
заде, М. Ласурия, М. Шев-
ченко, Ф. Халваши и другие.
Они прочли свои стихи о ро-
дине, дружбе, верности и люб-
ви.

В народном празднике при-
няли участие художественные
коллективы района и Тбилиси.

ЮБИЛЕЙНЫЕ заседания и
литературные вечера, посвя-
щенные 275-летию со дня рож-
дения Давида Гурамишвили,
состоялись в Москве, Киеве,
Ереване и других городах на-
шей страны.

0000000000
0000000000

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА

АМИРЭДЖИБИ Натия Ираклиевна. Кандидат искусствоведения. Автор книг «На заре грузинского кино» (1979, изд. «Хеловнеба») и «Александр Цуцунава» (1980, изд. «Хеловнеба»), а также статей по вопросам немого и современного кинематографа.

ГЕГЕЧКОРИ Гиви Ильич. Род. в 1933 г. Первая книга стихов «Солнечный день» вышла в 1963 г. Автор нескольких поэтических сборников, а также статей о литературе и искусстве. Переводит на грузинский язык французских поэтов. В его переводах вышли «Антология французской поэзии» (1967), «Гийом Аполлинер» (1970) и др.

ГОГУА Алексей Ночиевич. Род. в 1932 г. Окончил Московский литературный институт им. А. М. Горького. Печатается с 1948 года. Автор многих прозаических сборников. Переводился на русский, грузинский и многие другие языки народов СССР. Главный редактор абхазского детского журнала «Амцабз».

ГОФМАН Виктор Генрихович. Род. в 1950 г. Закончил литературный институт им. Горького. Поэт, переводчик.

КАЛАНДИА Гено Владимирович. Род. в 1940 г. Поэт, драматург, секретарь правления Союза писателей Абхазии. Автор ряда поэтических сборников.

КУМСИШВИЛИ Дмитрий Иосифович. Род. в 1918 г. Закончил ТГУ. Доцент гос. педагогического института им. А. С. Пушкина. Автор ряда работ литературоведческого характера и монографии «Некоторые вопросы поэтического мастерства Ш. Руставели».

ОСИНСКИЙ Владимир Валерианович. Род. в 1932 г. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Печататься начал в 1952 г. Автор произведений, опубликованных в республиканских и союзных изданиях и сборниках. Переводился на японский и венгерский языки. В 1975 г. вышла его книга фантастических рассказов и повестей «Что там?»

ЦЫБУЛЕВСКИЙ Александр Семенович. 1928—1975 гг. Поэт, прозаик, филолог. Автор книг «Что сторожат ночные сторожа», «Владелец шарманки» и исследования переводов произведений Важа Пшавела «Высокие уроки».

ЦХОВРЕБОВ Нугзар Дмитриевич. Род. в 1935 г. Окончил Тбилисский государственный университет. Кандидат филологических наук. Зав. кафедрой методики преподавания русского языка и литературы ЦИУУ ГССР. Работает над вопросами сравнительного литведения, художественного перевода и русско-грузинских литсвязей.

ფ. 12/12



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

На первой странице обложки: Фрагмент скатерти из Мтиулети, с. Амирни.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურული მხატვრობის“

— უკველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური უფრნალი (რუსულ ენაზე)

პაგოდის 1957 წლის იანვარიდან. № 11, 60088360, 1980 წ.

Сдано в набор 9.X.1980 г. Подписано к печати 1.XII.1980 г. УЭ 01589. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7.0 — усл. печ. л. 11.97. Уч-изд. л. 9.4. Тираж 10.000 экз. Заказ № 2701. Адрес редакции: 380008. Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ГУЛИЯ Г. «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова». Книга-роман. «Сказание об Омаре Хайяме». Роман. Вступительная статья Ю. Барабаша, Москва, 1980, 430 с. 75.000 экз. 1 р. 80 коп.

ДУМБАДЗЕ Н. «Закон вечности». Роман. Перевод с грузинского З. Ахвледиани. Предисловие А. Руденко-Десняка. Москва, 1980, 80 с. (Роман-газета № 17/903) 2.540.000 экз. 54 коп.

«НАУКА»

«ОСЕТИНСКИЕ (дигорские) НАРОДНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ». На осет. (дигорский диалект) и рус. яз. Из собрания Г. А. Дзагурова. Пер. и сост. М. Харитонов. Москва, 1980. 355 с. (Пословицы и поговорки народов Востока). 15.000 экз. 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ГУЛИА Г. «Чашка чая и капля дождя». Рассказы. Предисловие Ф. Чапчахова. Москва, 1980, 335 с. 100.000 экз. 1 р. 40 к.

«МЕРАНИ»

ЧЕЛИДЗЕ О. «Однодневный памятник». Стихи и поэмы. Перевод с груз. Предисл. Е. Винокурова. Тбилиси, 1980, 247 с. 10.000 экз., 1 р. 10 к.

МАЛАЗОНИЯ Н. «Пятая юность». Стихи. Тбилиси, 1980, 62 с. 2.000 экз. 25 к.

«МЕЦНИЕРЕБА»

ДЖАХАЯ Л. «Практическая ценность науковедения». Тбилиси, 1980, 63 с. 1.000 экз. 45 к.

«ГРУЗИНСКАЯ ССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Сборник статей. Отв. ред. Н. И. Стурва. Тбилиси, 1980, 171 с. 1.000 экз. 1 р. 20 к.

«АЛАШАРА»

МИНАСЯН Э. «Истребительные батальоны Абхазии в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.». Сухуми, 1980, 91 с. 1.000 экз. 10 к.

КНИЖНЫЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

КАТАЛОГ РАБОТНИКОВ

В. П. Сидорова, к. ф. н., к. п. н., к. т. н., к. с. н., к. в. н., к. г. н., к. б. н., к. д. н., к. з. н., к. л. н., к. м. н., к. н. н., к. о. н., к. п. н., к. р. н., к. с. н., к. т. н., к. у. н., к. ф. н., к. х. н., к. ц. н., к. ч. н., к. ш. н., к. щ. н., к. э. н., к. ю. н., к. я. н., к. з. н., к. л. н., к. м. н., к. н. н., к. о. н., к. п. н., к. р. н., к. с. н., к. т. н., к. у. н., к. ф. н., к. х. н., к. ц. н., к. ч. н., к. ш. н., к. щ. н., к. э. н., к. ю. н., к. я. н.

Содержание

1. В. П. Сидорова, к. ф. н., к. п. н., к. т. н., к. с. н., к. в. н., к. г. н., к. б. н., к. д. н., к. з. н., к. л. н., к. м. н., к. н. н., к. о. н., к. п. н., к. р. н., к. с. н., к. т. н., к. у. н., к. ф. н., к. х. н., к. ц. н., к. ч. н., к. ш. н., к. щ. н., к. э. н., к. ю. н., к. я. н.

Содержание (продолжение)

2. В. П. Сидорова, к. ф. н., к. п. н., к. т. н., к. с. н., к. в. н., к. г. н., к. б. н., к. д. н., к. з. н., к. л. н., к. м. н., к. н. н., к. о. н., к. п. н., к. р. н., к. с. н., к. т. н., к. у. н., к. ф. н., к. х. н., к. ц. н., к. ч. н., к. ш. н., к. щ. н., к. э. н., к. ю. н., к. я. н.

Содержание (продолжение)

3. В. П. Сидорова, к. ф. н., к. п. н., к. т. н., к. с. н., к. в. н., к. г. н., к. б. н., к. д. н., к. з. н., к. л. н., к. м. н., к. н. н., к. о. н., к. п. н., к. р. н., к. с. н., к. т. н., к. у. н., к. ф. н., к. х. н., к. ц. н., к. ч. н., к. ш. н., к. щ. н., к. э. н., к. ю. н., к. я. н.

Содержание (продолжение)

4. В. П. Сидорова, к. ф. н., к. п. н., к. т. н., к. с. н., к. в. н., к. г. н., к. б. н., к. д. н., к. з. н., к. л. н., к. м. н., к. н. н., к. о. н., к. п. н., к. р. н., к. с. н., к. т. н., к. у. н., к. ф. н., к. х. н., к. ц. н., к. ч. н., к. ш. н., к. щ. н., к. э. н., к. ю. н., к. я. н.



Издательство «Совetskoe Radio»